

№ 4(10). 2015

Берега



Калининград

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Цитата номера

*Спаси меня, Поэзия, спаси!
От суеты, уныния и лени.
Как перед светлым храмом на Руси,
Я пред тобою преклонил колени.*

*Храни меня, Поэзия, храни!
От словоблудья, немоты, запоя...
Я обжигаюсь о твои огни
Душою всей. Но я и жив тобою.*

Сергей Зубарев

**Июль 2015 № 4 (10)
Калининград**

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко
Телефон: +7 9118630467
E-mail: dovidenko_L@mail.ru, <http://www.dovydenko.ru>

Редакционная коллегия:

Григорий Блехман — член Союза писателей России
Дмитрий Воронин — заместитель главного редактора, раздел «Проза»,
E-mail: pimin00@rambler.ru
Виктор Геманов — член Союза писателей России
Игорь Ерофеев — член Союза писателей России
Николай Иванов — член Союза писателей России, сопредседатель Правления
Союза писателей России
Александр Казинцев — член Союза писателей России, заместитель
главного редактора журнала «Наш современник»
Юрий Крупенич — член Союза писателей России
Валентин Курбатов — член Союза писателей России, член Совета
по культуре при Президенте РФ
Александр Николашин — заместитель главного редактора, ответственный
редактор
Андрей Растворцев — член Союза писателей России
Светлана Супрунова — заместитель главного редактора по разделу «Поэзия»,
E-mail: suprunova60@rambler.ru
Владимир Шемшученко — член Союза писателей России

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 39-00302 от 24 сентября 2014
Дата выхода номера в свет: 13 июля 2015 года
Тираж: 1000 экз.
Адрес редакции, издателя: 236010, Калининград, ул. Белинского, 44-58
Учредитель: Довыденко Лидия Владимировна, адрес:
236010, Калининград, ул. Белинского, д. 44, кв. 58
Цена свободная
Издание предназначено для лиц от 12 +
Дизайн обложки — Анна Степанова
Фото на обложке Валентины Архиповской
Вёрстка — Елена Балантаева
Отпечатано в типографии ООО «График Артс»
г. Калининград, проспект Мира, 5, тел. 92-14-90, e-mail: 921490@mail.ru
При перепечатке материалов, в том числе использовании их в электронных СМИ,
ссылка на журнал «Берега» обязательна.
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов,
может не разделять точку зрения опубликованных авторов.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Правила подачи материалов в журнал «Берега»

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Присылаемые рукописи должны быть сохранены документом Word (шрифт — Roman, кегль 14, межстрочный интервал — 1). Текст не форматировать, не подчеркивать, разрешается части текста выделять курсивом. Файл называть своей фамилией, в начале текста — краткие сведения об авторе. Решение о публикации принимается редакционным советом журнала.

СОДЕРЖАНИЕ

Публицистика

Георгий Панкратов. Как мы встретили новое время	4
Лидия Довыденко. Продуктивность мышления	17

Проза

Николай Иванов. Камерный полковник. <i>Главы из романа</i>	24
Юрий Серб. Топот, хохот и тьма. <i>Роман. (Завершение. Начало в номере 3(9)-2015)</i>	41

Поэзия

Марина Шамсутдинова. <i>Стихи</i>	20
Наталья Вареник. <i>Стихи</i>	38

Воронежские берега

Валентина Беляева. Незнакомый ещё, ослепительный свет. <i>Стихи</i>	87
Михаил Фёдоров. Не гоните третью волну превосходства!	90

Проза

Игорь Ерофеев. Рыжий-Рыжий. <i>Рассказ</i>	104
Геннадий Рязанцев. Солнечный город. <i>Повесть</i>	116
Вениамин Никишин. Старокуртанские матадоры. <i>Рассказ</i>	128

Краснодарские берега

Сергей Зубарев. <i>Стихи</i>	94
Сергей Тимшин. <i>Стихи</i>	98

Молодые берега

Алина Серёгина. Над кукушкиным гнездом. <i>Стихи</i>	132
---	-----

Берега литературного краеведения

Наталья Менендес (Тютникова). Пасынок лихолетья. О жизни и творчестве В.З. Никишина.....	137
Александр Николенко. Писатель Анатолий Дарьялов.....	141

Безбрежный Русский мир

Парижские берега. Александр Трубецкой. История Правительства в Крыму в 1920 году	148
Мельбурнские берега. Игорь Филяновский. Две встречи	150
Варшавские берега. Елена Черпакова. Православие в Польше	153
Вильнюсские берега. Георгий Почуев. Родные на войне	159

Критика

Станислав Куняев. Почти античный запах. <i>Отрывок из книги «И бездны мрачной на краю...»</i>	163
Григорий Блехман. «Написать бы о чём-нибудь светлом...» Поэт Сергей Зубарев.....	179
Наши друзья	187

Публицистика

Георгий Панкратов



Писатель, публицист, печатался в литературных журналах: «Нева», «Нижний Новгород», «Север», «Кольцо А» и др. Финалист литературной премии «Дебют» (2014). Участник лонг-листа литературной премии «Ясная поляна» (2015). Третье место на конкурсе «За далью — даль» (2014). В 2015 году публиковался в ряде изданий под псевдонимом Георгий Горький.

Как мы встретили новое время

— Послушайте этого парня, — говорил уважаемый телеведущий, и я замирал перед экраном. Этой программы мы с родителями ждали несколько месяцев — главный канал страны, лучшая телепередача, телепередача-эталон, и в ней через какие-то секунды должны были показать меня. — Который так всё понимает и простым языком говорит с нами...

Нас снимали практически весь день — жильцов специально просили не выходить из дому, в особенности Илью, василеостровского дурачка лет двадцати пяти. Нас снимали на коммунальной кухне, возле сдвинутых столов и расставленных вдоль длинной стены одинаковых газовых плит. Человек с камерой входил на кухню и медленно шёл по ней, снимая всех жителей, — а нас было много, — останавливаясь на каждом. У меня, восьмилетнего ребёнка, брал интервью лучший ведущий страны Владимир Молчанов. Его очень интересовало почему-то, что я думаю о жизни в этой коммуналке, о своей — детской — жизни с родителями и о жизни России в целом. Это совсем не шутка, непонятное интервью длилось долго и снималось в несколько дублей. Говорил он и с остальными жильцами.

Но вот, когда я затаил дыхание и уставился в экран, на нём возник чёрный занавес, за которым открывалась какая-то странная студия, посередине которой на стуле сидел бородатый мужчина в очках с гитарой. Он запел хриплым голосом песню про «Чёрный пёс Петербург», и внутри меня всё упало. Целый съёмочный день в нашей огромной, двадцатипятикомнатной коммунальной квартире на Васильевском острове обернулся тем самым кадром на кухне, где все, застывшие, стоят перед столами, как будто их собираются фотографировать. Кадр длился несколько секунд, и вряд ли представлял не только художественную, но и вообще хоть какую-нибудь ценность.

Шевчука я слушать не стал, ибо мой Петербург никогда не был «чёрным псом». Это сравнение наводило, да и до сих пор — с той самой картинкой из детства — наводит на меня оторопь. Да и вообще, я жил ещё в Ленинграде, как, думаю, и вся наша квартира. Которая так и осталась в Ленинграде — и сейчас, проходя по Большому проспекту, я вижу на окнах пожелтевшие буквы SALE. Квартиру расселили ближе к концу девяностых — заселить её оказалось задачей не из простых.

Программа «До и после полуночи» с тем просмотром закончилась для меня навсегда. А вот другую, «600 секунд» Невзорова, я, наоборот, полюбил. Конечно, никто не хотел увидеть съёмочную бригаду в нашей квартире — в силу специфики передачи — но, едва она начиналась, обычно шумные кухня, длинный коридор и даже вечно занятые туалеты пустели. Мне кажется, так происходило во многих квартирах. Программу «600 секунд» любили — наверное, за то, что она показывала, что где-то есть жизнь ещё страшнее.

Вдохновлённый телепередачей, я рисовал босые ступни ног, выглядывающие с лестничного пролёта: мне казалась ошеломительной операторская съёмка с нижних ступеней, постепенно приближающаяся к ним камера, открывающая, наконец, пытливому взгляду зрителя свежее испечённого мертвеца, павшего в какой-то низшего уровня бандитской разборке. Говорят, Невзоров удивлял всю Европу, делая предсмертные интервью: совал микрофон под нос хрипящему и агонизирующе-

му бандиту с вывороченными кишками, и тот умирал, как бы сейчас сказали, онлайн. Не знаю, не видел. А может, меня уберегли от этой программы заботливые родители, переключавшие телевизор на «Спокойной ночи, малыши» с разрекламированного советского фильма ужасов «Люми». В рекламе воплощался весь страх советского человека, потерявшего Родину, и ориентир в ирреальном пространстве — автомобиль или танк, вываливающийся из телевизора прямо в комнату сидящих перед экраном обывателей. Горящий, по-моему. Реклама фильма хорошо иллюстрировала состояние самих обывателей: в их размеренный, добрый, уютный мир ворвались демоны. За демонов отвечали Невзоров и со своим «Чёрным псом» Шевчук. От добрых Хрюши со Степашкой, как и от интеллигентного ленинградского Хохи с головой-дырявым башмаком, предложенных родителями в качестве альтернативы аду, я уже воротил нос.

Имел, что называется, право. К своим семи несмышлёным годам я и сам уже снялся в подобном «Люми». Советский интеллектуальный фильм «Третья планета» не претендовал на то, чтобы зваться триллером, он отсылал к Тарковскому и Стругацким, а потому так и остался на полках «Ленфильма». Впоследствии режиссёр Рогожкин и сам осознал ошибку, видимо, перестал снимать «интеллектуальщину», и в его карьере сразу началась золотая эра — «Особенности национальной охоты, рыбалки и чего там ещё» принесли ему всероссийскую славу. Мне же оставалось сожалеть, что, приглашённый на съёмки следующего фильма, я отказал режиссёру в категорической форме — всему виной были комары в лесу под Ленинградом, где снимали один из эпизодов фильма. Сколько ни пытался режиссёр Рогожкин убедить меня в том, что кинематограф — это не только комары, я был непреклонен: взяв родителей за руки, гордо отправился домой. Благодаря чему и пишу сейчас свои скромные тексты, а не раздаю интервью журналам для киноманов. Вроде «Сеанса»; валялся у нас дома такой. Внутри него был постер — хотя слова такого ещё не знали — с изображением плачущей Ани (героини фильма) и пытающегося утешить её меня. По сюжету Аня должна была орать нечеловеческим голосом, и, утешая, я ненавидел её и боялся.

Режиссёр потешался над нами, как мог. То не скажет про труп — настоящий, из морга, расчленинный и аккуратно упакованный в пакет, исполнителю главной роли, мужчине за пятьдесят; то скроет от меня, что если кинуть в кусты камень, раздастся неслабый взрыв. Чтобы быстрее бежал. Снимал он и двухголовых уродов, и натуральных психов для массовки, изображающих — осознанно ли? — зомби. Кино начала девяностых — это страх и ненависть, ещё раз страх, и ещё раз ненависть, но не в Лас-Вегасе, а в городе Приморске Ленинградской области, где снимались эпизоды фильма, и где жил огромный паук размером с мою детскую голову, и ходил единственный автобус под номером 18.

Попасть в кино, что интересно, в эти годы было очень просто: мы шли с родителями к станции «Гостиный двор», и нас окликнула женщина. Сказала, что ищет ребёнка для роли в фильме, и предложила проехать до «Ленфильма». Мы думали — шутка, поначалу. Думали, она хочет время спросить.

Кстати, для того, чтобы спросить время, существовал специальный телефон: в Ленинграде, например, 08. Позвонив по нему, можно было услышать механический голос, который говорил, как роботы в фильме «Гостья из будущего»: «Точное время столько-то часов, минут и секунд». Будучи ребёнком (а все дети счастливы и, как известно, часов не наблюдают), я долгое время не подозревал о существовании такой услуги. Пока родители не попросили узнать время, а я, перепутав, прокрутил на дисковом телефоне девятку вместо восьмёрки. Ничего не подозревая, я спросил у поднявшей трубку девушки «Извините, а вы не подскажете, который час?» — я был воспитанным мальчиком. То-то было смеху у родителей!

Но когда на пятки, а затем и на глотку старому времени наступило новое, цифр после нуля стало резко не хватать. Любая захудалая, только вылупившаяся из своего кооперативного антисоветского яйца фирмочка мечтала иметь телефон на 0, но прежде всех появились 009 и 058. Первый принадлежал новой справочной, вроде 09, но только на коммерческой основе, и операторам старой службы стало гораздо проще работать — всё, что от них теперь требовалось, это повторять заученную фразу: «Мы не располагаем такой информацией, но можем переключить на коммерческую службу 009». На 058 девушки были куда разговорчивее, что объяснялось характером оказываемых ими услуг. Это был первый в городе сервис «интим по телефону». Меня и маленького Артёма — кроме нас, детей в огромной коммуналке не было — завораживали обнажённые

красавицы, рекламировавшие эти три цифры: «Позвони мне», «Жду тебя», «Пошалим». Среди соседей ходили слухи, что примерные отцы семейств просаживали целые состояния в разговорах по страшному номеру. О чём говорить с красавицами, мы, дети, совершенно не представляли. Нам просто хотелось их услышать, убедиться в том, что они существуют, узнать, как звучит их голос — только-то и всего. Но в трубке раздавался сухой ответ, как будто мы звонили в 09, или даже, порой, в 08. Даже в 009 голоса были живее, теплее и эротичнее. Мы набирали номер снова и снова, и, услышав голос, бросали трубку, пока однажды не узнали, что оплата насчитывается не за сам «взрослый разговор», а за то время, что ты на линии, начиная с первой секунды. Красавицы из 058 сами позвонили, не выдержав, в нашу квартиру, и объяснили родителям, что больше не стоит их беспокоить. Почему-то они не сказали — кого беспокоить, собственно — и мама единственный раз побывала в самой дальней комнате коммуналки — напротив ванной — где изредка появлялся начинающий постсоветский бизнесмен Лёва.

— Куда они могли звонить? — интересовалась мама (мы, разумеется, не признавались).

— Не знаю, — отвечал тот. — Надеюсь, хоть не в Большой дом.

Помню, мама аж ахнула и отчего-то испугалась. А мне показалось, что под Большим домом они подразумевают публичный — настолько, видимо, боялся, что наш замысел раскроют, и неожиданно понял, как они близки к разгадке. И в этот момент мне стало стыдно.

Услуга 058 рекламировалась в газетах «Калейдоскоп» и «Не скучай» — пионерах ленинградской бульварной прессы — если я не ошибаюсь, они существуют до сих пор. Помимо эротических рубрик (эти статьи почему-то считались главными и часто выносились на обложку), журнал публиковал всё, что могло заинтересовать простого советского обывателя, вырвавшегося из тёмного небытия в мир свободной информации. Здесь и дамские советы, и интервью с популярными музыкантами, и рубрика про «невероятное-очевидное», и дачный уголок, и плотно уже вошедший в жизнь этого самого обывателя криминал. В журнале публиковали просто фантастические материалы, запредельность которых поражала даже меня, ребёнка, не знающего, чем занять себя в туалете и потому взявшему за правило прихватывать с собой «Калейдоскоп». Так, в одной статье рассказывалось, что известный выстрел, который произвела «Аврора», случился по той причине, что матрос, решивший прочистить орудие, случайно сел в лужу муравьиной кислоты. Муравьи разъедают крейсер «Аврора», предупреждали журналисты «Калейдоскопа» ленинградского обывателя, и скоро от него совсем ничего не останется. Однажды я прочитал историю, которая на некоторое время изменила мою жизнь: оказывается, в канализационной системе Ленинграда живут жабы-мутанты. Рассказчик (на условиях анонимности) поделился с «Калейдоскопом», что однажды, когда он присел по естественной надобности, такая жаба выскочила прямо из недр унитаза и схватила его за... Случай нельзя назвать уникальным, утверждали журналисты издания, скорее, он демонстрирует возрастающую тенденцию. Так «Калейдоскоп» потерял одного читателя: я стал ходить в туалет настолько быстро, что о чтении газеты уже не могло быть и речи.

Но, повзрослев, конечно, я забыл ту страшную публикацию и никак не мог предположить, что спустя много лет она напомнит о себе сама. Тем не менее это случилось, причём весьма неожиданно: на занятиях по истории СМИ в университете. Преподаватель, молодящийся мужчина в возрасте, рассказал, что в начале 90-х, когда у интеллигентных людей было плохо с работой, да и вообще плохо, он, как и некоторые его знакомые, коллеги, подрабатывал в дешёвых бульварных изданиях написанием, — причём не простым написанием, а именно выдумыванием, подчеркнул он, — бредовых заметок. За них относительно неплохо платили, а отнимали они совсем мало времени. Ну, и в качестве примера, смеясь, привёл ту публикацию о жабах-мутантах. Я почувствовал себя глупо, хотя, как знать, сколько ещё ленинградцев под впечатлением той публикации ускорили пребывание в туалетах? Скольких ещё он лишил размеренного сортирного чтения? Властитель дум, видите ли...

Хотя и время наступало такое: сидеть в сортире было непозволительно. Чтобы жить, как любили тогда повторять все вокруг, нужно было вертеться. Дед работал на «Ленфильме» и (по совместительству) водителем на маленьком грузовичке, бабушка — на заводе (с приходом нового времени там стали производить кетчуп — она произносила это с горечью, пытаясь сопоставить вроде несопоставимые слова: завод, двигатели, кетчуп — кетчуп, двигатели, завод), отец ходил в моря. А я мечтал стать журналистом, вдохновлённый посещением молчановской команды. Я записал на

магнитофон звук смыва в туалете и сделал заставкой своей авторской радиопередачи. Хотел по квартире и делал интервью, довольно быстро надоев всем жильцам. В квартире оставалось всего две комнаты, репортаж из которых не получился: секретная угловая комната, должно быть, с самым красивым видом из окна, на которой было написано «Виноградовы». В этой комнате никогда не появлялись жильцы. Отказалась идти на контакт и полубезумная старуха, подливавшая продукты испражнений соседям в суп или демонстративно выливающая их в ванную. Но я и не рассчитывал, что она ответит на мои прямые вопросы.

Из кухни был выход по тёмной лестнице в странное помещение, где сушили бельё. Жильцы называли его в шутку «бельэтаж» — огромная комната с бесчисленными верёвками, протянутыми под потолком, которая освещалась тусклой лампочкой и маленьким окном с видом в двор-колодец. Всякий раз, когда я заглядывал в него, мне становилось не по себе. Я спрашивал: а зачем они придуманы, эти двory-колодцы, в которые невозможно попасть — ну, разве что из окна первого этажа, и никто из взрослых не находил ответа. Как, впрочем, на многие детские «Зачем?» Спустя много лет я прочитал где-то статью о том, как вырастают дети в маленьких ленинградских комнатах, ежедневно глядя в чёрное нутро двора-колодца, какой, должно быть, неизгладимый отпечаток на них это накладывает. И понял, что счастлив хотя бы потому, что у меня этого не было.

Огромную комнату с высоченными потолками дед сделал двухэтажной — тут были и прихожая, и маленькая кухня, и деревянная лестница, ведущая в спальню — под потолком. Оттуда было интересно наблюдать за взрослыми, которые привычно сидели возле телевизора по вечерам или занимались обыкновенными делами. На тумбочке возле моей кровати всегда стояли любимые игрушки — и они были, как мне теперь кажется, типично ленинградскими — трамвай, заботливо склеенный из деталей (он продавался в разобранном виде) и метрополитен. Это звучит удивительно, да я и сам удивляюсь сейчас, вспоминая ту игрушку, и сожалею, что она не сохранилась. Она представляла собой круглый механизм с тремя застеклёнными окошками-«станциями». Нажатием кнопки можно было запустить «поезд», им же останавливать его, когда тот прибывал на станцию. Желаящим «беспредельничать» можно было не останавливать поезд, заставляя его проезжать все три станции, а затем — по кругу — снова их же — и так до бесконечности. Игрушка была незатейливой, но чем-то притягивала, не давала оторваться от себя: я проводил за ней много времени, и всякий раз с удовольствием.

Взрослые поднимались на второй этаж только перед сном — для того, чтобы сразу лечь. Лишь однажды его использовали не по прямому назначению, в 93-м году. В один из дней в квартире начался переполох, все кричали, что нужно прятаться, «по Большому проспекту идут танки, и вообще начнётся война». В квартире зашторили все окна, погасили свет, мне говорили, что нужно лечь на пол верхнего этажа и, затаив дыхание, лежать там. Я полежал некоторое время, в обнимку с метрополитеном, пока не надоело. Почему-то я был твёрдо убежден, что никакой войны не будет, что она не может просто взять и начаться, к ней нужны приготовления. И не понимал, что это они и есть. А вечером все о войне забыли. Бабушка рассказывала сон: будто мы на даче, я принёс воды из родника, гуляю, ем клубнику, она накопила картошки и отдыхает возле крыльца, рядом дедушка чем-то занят, вроде как пилит что-то. На этом рассказ прерывался, и, нетерпеливый, я дёргал её: «А дальше? Что дальше? История-то где?» Но бабушка объясняла, что это всё. Истории никакой не будет. В её снах всё было мирно, привычная обстановка и родные люди рядом — вот все составляющие её идиллии. Историй ей было не нужно.

А тем временем вся наша жизнь становилась историей — в том самом привычном виде, который был так дорог. Трамваи ходили редко, и до Садовой приходилось идти пешком — летом это была приятная прогулка. На Садовой находился обменный центр: бабушка хотела распрощаться с комнатой и получить квартиру где-нибудь в новых районах города: она приходила в скучное здание, где были расставлены друг за другом длинные столы, и люди перебирали какие-то карточки, что-то выписывали. Бабушка проводила там долгие часы, а я слонялся от безделья по аудитории и этажам: мне было совершенно непонятно, чем она там занималась, зачем просиживать в этом здании драгоценные дни, когда можно проводить их куда интереснее — гулять, к примеру, в том же Юсуповском парке, сидеть на маленьком островке, окружённом водой, и разговаривать о поэзии — я, например, очень любил стихи тогда, не в пример мне нынешнему, или кормить уток — что могло быть прекрасней на свете кормления уток свежим батоном? Но бабушка упрямылась: она тащила меня за

руку в обменный центр. «Чтобы нам было лучше жить», — коротко объясняла она и погружалась в бумаги. Я брал в руки газету, такую же скучную, как весь этот центр, как бабушкино занятие, как и вся моя жизнь в эти часы, и читал по слогам: «Со - бач - ка - о - бе - ща - ет». Окружающие почему-то смеялись.

— Гражданка, правильно ваш мальчик мыслит, — обращались к бабушке веселые мужчины, и та, наконец, замечала меня.

— Собчак, а никакая не собачка. Где ты увидел собачку? — спрашивала она.

Для меня было труднопроизносимым слово «Собчак», мне не давалось понимание его смысла. Я тут же, рядом, рисовал собственную газету, в которой не писали ни о собачках, ни о «собчаках». Я аккуратно выводил линии, делившие газету на полосу, и рисовал в них непонятные фигуры. «Гражданка», — выводил я странные буквы.

— Бабушка, бабушка, — донимал я. — А что такое гражданка?

— Район такой в городе, — отвечали смеющиеся мужчины.

Я уходил блуждать по коридорам скучного здания. Однажды я заметил на подоконнике трёхлитровую банку, в которой барахталась мышь — настоящая, серая, крупная. Она судорожно перебирала лапами, пытаясь удержаться на плаву. Интересно, помышляла ли она о том, чтобы выбраться? Вокруг странного зрелища собирались люди. Один из собравшихся, словно организатор представления, наклонялся над банкой, заглядывал в неё, крутил, поворачивал банку.

— Мышь поймали, — отвечал он на немые вопросы присутствующих, почему-то со странной гордостью в голосе.

— И что теперь? — кто-то решался озвучить вопрос.

— Ей надоест, и она утонет, — пожимал плечами человек.

— Отпустите её, — сказал я, и народ зашептался. Кто-то поддержал идею, кто-то нет. Мнения разделились.

— Ты смеёшься, что ли? — сказал человек. — У нас и так полон дом мышей. Скоро на голову прыгать будут. Теперь их не травит никто, сами справляемся.

— Ну, а почему таким-то способом? — робко спросил кто-то.

— Так это, — замялся человек. — А каким ещё?

Я отошёл от них: делать среди этой публики было нечего. Они смотрели, как барахтается мышь, и, когда надоедало, расходились. Вода — не сметана, из неё, как в известной сказке, масла не собьёшь. Итог мышиных стараний был предreshён. В каком-то смысле и мы, ленинградцы, оказались в положении той мыши: новое время заключило нас, простых обитателей легендарных василеостровских коммуналок, в банку и наполнило её водой. Новым людям, которые стремительно приобретали всё вокруг, первое время ещё было интересно смотреть за нашими барахтаниями — ведь именно на фоне этой растерянности, немощности особенно стильно и выигрышно смотрелось зная их свободы. Но вскоре их мир окреп и стал замкнутым — в городе, как и по всей стране, рождались высшие касты, и стали они так высоки, что каких-то мышей в банках с их золотых вершин было просто не видно. Мне говорили об этом с горечью, понемногу, давая понять, что нас — и меня — там никогда не будет, а будет только банка, только вода. И я верил. Порой настолько сильно, что родители ужасались сами.

Так случилось и в тот раз. Выйдя на улицу, чтобы провериться и переварить в своём маленьком детском сознании зрелище, я запустил руку в карман кофты и обнаружил горсть монет — это казалось странным: родители в том возрасте мне никогда не давали карманных денег. В голове родились странные предположения: узнают, будут спрашивать, где взял? Откуда? Ответ мог быть только один: украл. У кого? У родителей? У бабушки? Или у кого-то на улице, в общественном транспорте, в этом чёртовом доме скуки и уныния? Но этого не может быть, потому что я знал, что не крал. Тогда откуда они? Я снова вспомнил мышь: точнее, не её саму на этот раз, а людское движение возле неё. Какой-то неопрятный человек возраста моих родителей, проходя мимо меня, подозрительно смотрел и, по-моему, даже слегка толкнул — интересно, кто он? Что ему от меня было нужно? Он так стремительно сбежал по лестнице, хотя до этого вроде никуда не торопился и вместе со всеми разглядывал мышь. «Точно, — понял я. — Это он подкинул мне деньги. Отвлёк, и, пока я стоял растерянный, насыпал мне в карман монет. Зачем? А кто знает? Может, ему необходимо было избавиться от них. Может, как раз он и вор».

— Ну, разве такое бывает, чтобы подсыпали деньги? — смеялась бабушка, правда, смеялась грустно: ей очень долго пришлось упрашивать контролёршу на станции «Площадь Мира», чтобы тапустила нас в метро.

Взрослые научили меня, что деньги — это грязь, зло, что они стоят на пути человека к счастью, а людей — к дружбе и пониманию. «Новые люди» были плохие, значит, с деньгами, или с деньгами — значит, плохие. Все перепуталось, но я точно знал, что связь есть. Я запомнил это. И, увидев у себя в кармане деньги, я мог принять только одно решение — избавиться от них, чтобы не запятнать себя, остаться чистым, остаться честным.

А правы ли были родители — я до сих пор не знаю.

Раз в год мы садились в поезд, чтобы, проведя два унылых дня за поеданием картошки и играми в подкидного дурака, оказаться в городе русской славы и русских же моряков — Севастополе. Для города наступили непростые времена. Вагоны ехали с незакрывающимися, а то и разбитыми окнами, проводники, как водится, пили, никому ни до чего не было дела. Проехав Белгород, поезд надолго останавливался, и начиналось представление, которое многие пассажиры называли цирком: люди в форме, с собаками на поводках, проверяли документы, заставляли открывать сумки, а некоторых — может, сейчас это звучит странно, но именно так тогда было — и раздеваться чуть ли не до нижнего белья. Под нос пассажирам совали какие-то бумажки с мелкими украинскими буквами, в которых необходимо было объяснять, какого чёрта вас принесло в новое независимое государство, и как долго вы собираетесь топтать его землю. Таможенники зверски хотели денег: доллары светились в их каждом глазу, как в мультфильме «Том и Джерри», и они использовали любой шанс, чтобы «трясти» их с пассажира: открытая бутылка пива, провоз домашнего животного, большая тяжёлая сумка, а то и просто недовольство их действиями. Сейчас таможенник, конечно, не заявит прямо, мол, дайте мне столько-то, а хотя бы отведёт человека в тамбур и проведёт с ним индивидуальную беседу. Тогда же было время возможностей — голову пьянили воздух свободы и ветер перемен — стесняться было нечего.

— И вам не стыдно вообще заниматься этим всем, дурни? — журили пассажиры парней с наспех пришитыми к рукавам украинскими флагами. — Мы к себе домой едем.

— Поговорите мне, — отвечали те. — Вы пересекаете границу независимого государства.

— Ох, клоуны, — смеялись люди.

Для того, чтобы представить себе ирреальное ощущение тех лет и событий (а сделать это в середине «десятих» не так уж просто, особенно тем, кто привык ездить в Крым или Киев, и для кого таможенная проверка стала банальностью), представьте, что досмотр происходит, например, на границе Московской области и Тверской: ощущения будут примерно те же, что у пассажиров того поезда. Никто не верил ни в какую независимость, всё это считалось глупостью, дурью; люди ехали из своего города в свой же город и не принимали новых порядков. Кто-то посчитал это унижением и переживал, большинство же смеялось и плевало в сторону «ряженных».

Конечно, в Севастополе тех лет никакой Украины и близко не было. Она и оказалась настоящим захватчиком, подобно пауку впусив яд в действительно «незалежный» тогда Севастополь, и за последующие годы изрядно растворив его, так, чтобы попытаться переваривать, не подавившись. Но мы прекрасно знаем, как легко фальсифицируется история, как подменяются понятия и выворачиваются наизнанку ценности. Тем не менее объективно это было так: Украина захватывала Севастополь. Люди стремительно беднели, занятий в городе становилось всё меньше, «на плаву» оставались лишь моряки — те из них, что были торговыми, отправлялись теперь в рейс «на грека», как говорили, то есть на зарубежного работодателя. Денег, которые они привозили, хватало, чтобы прожить в Севастополе. Как от укуса зомби, вчерашние врачи и университетские профессора обращались в предпринимателей, отправлялись с челночными сумками в Турцию и Сирию, закупали тамошнее шмотьё и продавали на центральном рынке, а также на бывшем автовокзале и бывшем же стадионе. Вообще, в Севастополе, как и в Ленинграде, пожалуй, всё стремительно становилось «бывшим». Люди работали на «бывших» заводах и предприятиях, ходили в «бывшие» магазины и сами понемногу становились «бывшими». Одним из инструментов обезчеловечивания стала зарплата продукцией — по чьей-то бесовской логике все должны были получить маркетинговый навык, укол, прививку этой новой жизни. Официальной причиной, конечно, становилась нехватка денег у новых хозяев на зарплаты. Кому-то выдавали вместо денег флаконы с туалетной водой,

кому-то чайники со свистком, кому-то ещё какую-нибудь ерунду; от безысходности люди менялись друг с другом, и при этом менялись сами, поневоле становясь продавчиками, менеджерами. Несмотря на то, что это была другая работа, и за неё должны были платить отдельно, если говорить начистоту.

Но, например, в школе, где я учился, выдавать зарплату учителям было нечем. Что никого не удивляло: они ведь никакой продукции не производят. Наверное, и платить им было незачем, по этой логике. Но многие из них сохраняли оптимизм, любовь к жизни и детям даже в этих условиях — наверное, это профессиональное: ведь машинист, если его перестать кормить, вряд ли разучится водить поезд? Особенно помню историю города — пухленькая женщина средних лет, в очках, скромно одетая, но как она рассказывала, с каким вдохновением, про бои в Севастопольской бухте, про Нахимова и Синопскую битву, про начало войны на Подгорной улице, про затопленные корабли, про матросов, певших «Варяг» с зашитыми медной проволокой ртами! Однажды мы с отцом и матерью отправились в гости на окраину города и зашли на рынок возле остановки. С огромным изумлением я увидел в продавщице яблок и томатов ту самую учительницу истории города.

— А что вы здесь делаете? — как сейчас помню, спросил я.

Но дальше разговор не заладился. А вечером я уже и забыл об этой нестыковке — учительница героического предмета и торговля помидорами так и не увязались в детском сознании во что-то цельное — потому что был праздник, салют. В Севастополь, пока жители меняли духи на чайники, приехал Жан-Мишель Жарр. Когда об этом заявили по местному телевидению, было трудно поверить. Площадки, достойной выступления знаменитого артиста, в городе не нашлось, поэтому ему установили сцену прямо в море — ей послужила платформа, удерживаемая, по всей видимости, на якорях, а напротив неё была расположена ещё одна платформа — зрительская. Маленькие катерки доставляли к сцене музыкантов, а зрителей — к их местам. Разумеется, тем, кто торговал овощами на рынке, мест не досталось: там собралась «новые сливки» Севастополя, которых никто не знал — люди, появившиеся ниоткуда, жившие вроде бы по соседству, в том же городе, но совершенно непонятно чем занимавшиеся и почему вдруг — за какие заслуги? — ставшие новой элитой.

Всё оказалось проще: никаких заслуг не было. Были деньги. По всему городу висели красочные рекламы ТДК; рубрика ТДК занимала сразу несколько полос в местных газетах, обзаводились вывесками ТДК знакомые с детства каждому севастопольцу магазины. ТДК ассоциировался у меня с популярной маркой видеокассет, которые мы ежевечерне брали в прокате. Эта ассоциация меня всегда веселила. На самом деле аббревиатура ТДК расшифровывалась как Торговый дом Кондратовского, который был для Севастополя новым богом. Именно он привозил в город Жана-Мишеля Жарра, он устраивал салюты «круче, чем в Москве», он сносил в центре города лестницы, мешавшие расширяться его магазинам и кафе. С удивлением узнал, что сейчас этот человек занимается поддержкой русскоязычного населения и защитой Крыма от исламского ваххабизма. Это достойно уважения. Признаться, в те годы простые севастопольцы его не любили. Быть может, потому что любой навязчивый бизнесмен на фоне тысяч сломанных жизней и оставленных надежд выглядел бандитом: можно ли было в те годы «вырваться» иначе? Сложный вопрос для ребёнка; я верил, я не разбирался.

Однажды, возвращаясь из школы привычной дорогой, поворачивая на улицу Адмирала Октябрьского к остановке «пятёрки» возле Водоканала, я увидел — впервые в жизни — похоронную процессию. Несколько здоровых парней с траурными лицами несли гроб, а за ними... За ними, казалось, шёл весь Севастополь. Люди сворачивали с обеих сторон Большой Морской, спускались с Центрального холма, вливаясь в общий поток, всё прибывали и прибывали — творилось что-то невероятное. От кого-то из людей я узнал, что хоронят Владимира Иванова, главного редактора газеты «Слава Севастополя». Его взорвали возле собственного дома. Гроб несли от самой редакции на кладбище Коммунаров — предстоял долгий и непростой подъём в гору, но никто не оставался. В те годы, руководствуясь ещё не изжитой советской привычкой, многие горожане выписывали газеты. Однако не думаю, что все знали имя-фамилию главреда — читали статьи, узнавали новости; в выпускные данные, может, и не заглядывали. И вот что мне кажется: большинство людей пришли в тот день не провожать Иванова, а выразить солидарность со старым миром, уходящим в небытие, в котором человека ещё нельзя было просто так взять и убить за то, что он что-то там пишет, публикует. Каждый хотел подойти к могиле и насыпать землицы, как

будто прощаясь со своими надеждами на то, что это, пришедшее на смену их открытой, логичной и честной жизни мракобесие — временно, что оно уйдёт. Но это было не так, наступала долгая тяжёлая ночь. Иванов был мёртв, а за месяц до этого в Москве не стало Листьева. Словно, повинувшись старым установкам, дали разнарядку из Москвы: с журналистами так теперь можно. Теперь можно так с людьми. Убийства этих журналистов были показательными: новая жизнь утверждала себя в старых декорациях: советской редакции Останкина, уютных улочках Севастополя с балконами, увитыми плющом.

Казалось, я, ребёнок, должен был стремиться к новой жизни, как стремятся к ней — естественным образом — все младшие поколения, хотя бы из чувства протеста по отношению к взрослым, хотя бы от желания обладать всеми этими «баунти», райскими наслаждениями. Но, как ловушка в «Охотниках за привидениями» — мультфильме, который я обожал смотреть в те годы — она «засасывала» в другое измерение, которое только казалось свободой, а на самом деле было загерметизированным отсеком для тех, кому не нашлось места в реальности. Я до сих пор считаю, что тогда, в 90-е, не началась, а закончилась свобода. Я бы купился на неё, но что-то мешало. Может быть, то, что я ходил хоронить Иванова — младший школьник, зачем, Господи, какое тебе дело? — и понял, что хороших людей убивают за правду. Те, у кого много денег. Может быть, потому, что однажды пошёл в ветеринарную клинику, где на руках у отчаянной старушки умирал котёнок, но ворвался крепкий парень с раненым «питбулем» на руках — видимо, на собачьих боях — и прорвался, кинув деньги, без всякой очереди: ему необходимо было сохранить инструмент добычи своей прибыли, отремонтировать его. Мой выбор — с кем я? — был сделан тогда. Новому времени оставалось только увидеть его во мне — и отвернуться. Всё произошло само собой.

Поражённый незавидной судьбой журналистов, я всё же не оставлял мечты стать одним из них. Для нашего маленького дома я делал газету на тетрадных листах — она называлась «Дом 13 и другие...», впоследствии «Добрая газета». Я не придерживался принципа «Не вижу зла», но на нашей маленькой, двухэтажной улице в центре города не происходило ничего плохого, а значит, и в рубриках «Криминал», «Происшествия» смысла не было. Созрела вишня, начали падать на землю спелые абрикосы, у Людмилы Петровны из соседней квартиры был день рождения, кот Петроний из восьмого дома победил на престижной международной кошачьей выставке в Турции — всем этим событиям находилось место на страницах моих газет. Сопровождались незатейливые тексты рисунками, стихами собственного сочинения, конкурсами для немногочисленных, но верных читателей — соседей нашего маленького дома. Соседи относились к газете с пониманием, и даже порой с интересом — я старался публиковать в ней ценную информацию вроде расписания автобусов или анонсов телепередач. Обменивались мнениями, делились впечатлениями со мной, благодарили за поздравление. Не любили газету только родители, называя это словом «писанина», как называют мою деятельность и сейчас. Сейчас я и сам её так называю.

В «газете» я публиковал и свои первые опыты написания текстов на загадочном и красивом украинском языке. Нам начали преподавать украинский в школе, к чему родители, да и я сам, относились скептически. Но как только начались уроки, я проникся языком, и мне захотелось учить его, понимать, говорить на нём — не забывая, естественно, о том, что родной мой — русский. Я пытался переводить на украинский простые стихотворения и даже фрагменты из книги Брэма «Жизнь насекомых», которая мне оказалась «не по зубам». Спустя несколько уроков нас посвятили в «жовтента» — октябрюта в переводе с украинского. Эта традиция не умирала в школах ещё много лет после обретения «незалежности»: она лишилась идеологической начинки, но как-то отмечать маленьких школьников, вносить в их учебные будни разнообразие учителя считали нужным, однако ничего нового придумать не могли. После одного из уроков, расчувствовавшись, я подошёл к учительнице и сказал:

— Красивый язык.

Она тоже была молодая, красивая. Как и многие украинки, если не все. Может быть, потому и расчувствовался.

Когда бы я мог подумать, что кто-то из тех, кто учил украинский вместе со мной, может быть, в том самом кабинете, может, в соседней школе, может, на год старше или младше, спустя много лет выйдет на площади их столицы против Крыма, против Севастополя, кто будет стоять плечом к плечу, локоть к локтю с теми, кто жаждет ворваться в Крым, разворотить жилища, надругаться над

семьями, унижить, избить, уничтожить людей за то только, что они с детства живут в этом крае, за то, что они родились там. Что эти вчерашние «жовтенята» и выйдут, и будут кричать там, потрясая булыжниками, в уродских своих масках, и кричать проклятия в адрес России. Никто в Севастополе не выбирал Украину, никто не приветствовал её. Глаза ребёнка, видевшие всё сами, не дадут сокрушить. А украинский язык, литература, история — всё это, прекрасное само по себе, вне контекстов, конечно, стало лишь орудием в руках расчётливых людей, строивших «с нуля» государство без цели, без идеологии, без смысла. Мы нищие, мы свободные, мы самостийные — вот, пожалуй, и всё, на чём держалось то государство. Они воспитывали новое поколение, которое с ранних классов учит украинский, которое никогда не жило вместе с Россией. Это поколение, в глазах которого нет ничего, кроме ненависти и агрессии, строит сейчас свои баррикады, врывается в офисы, унижает женщин и избивает случайных прохожих. Это свободные люди свободной страны. Это первое поколение независимой Украины. Старики, которые стояли тогда, в начале 90-х, у истоков, качают головами: они это затеяли, но хотели ли они этого? Время стирает всё — и боль, и обиду, и страх тех лет, — и даже те, кого ты считал мерзавцами, с расстояния двух десятилетий выглядят лишь милыми наивными людьми. Конечно, они заблуждались, конечно, они хотели не этого. Они родили ребёнка и нянчились с ним; ребёнок вырос, поставил их на колени и плюнул в их седины. «Слава Украине, слава героям».

В Севастополе построили мечеть. Она находилась недалеко от центра, и все живущие там, включая нашу семью, теперь имели счастье просыпаться под зазывающие песнопения мусульман. Никого не раздражали сами мусульмане, может, потому что их в городе никто и не видел, но уже тогда стали появляться первые угрозы в адрес русскоязычного населения Крыма со стороны крымских татар. Угроза была «призрачной»: жили они в каких-то местах Крыма, куда мы никогда не ездили, в Севастополь не приезжали, но время от времени делали какие-то свои заявления: о ненависти к русским, о том, что Крым будет их. Это пугало, конечно. Все понимали, что после подписания исторических соглашений, по которым Крым бросали на произвол судьбы, на арену истории выпущены демоны, и если они по какой-то причине ещё не действуют всюду, так это только потому, что сами не осознают своих возможностей. В Узбекистане, на Кавказе это осознали быстро. Крымские же «демоны» оказались нерасторопными. К тому же объективно их было меньше.

Людей постепенно приучали к тому, что за всё нужно платить, причём не просто, а отдавать последние деньги. Две трети троллейбусов в городе перешли на «коммерческий» режим — к привычным номерам маршрутов добавились буквы «т» и «к», на табличках появились — как в такси — «шашечки». Стариков в троллейбусы больше не пускали, да и для школьников было дороговато. Я с детства ходил пешком, бабушке, когда она приезжала в Севастополь, становилось обидно. Довольные кондукторы, презрительно глядя на проездные, указывали на дверь: «Ничего не знаю. Мы бесплатно не возим». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» — любимое выражение тех лет. Его повторяли все, на каждом углу — «успешные» (хотя в русском языке тех лет человек ещё не мог быть успешным, могло быть только начинание, проект) с наслаждением и восторгом, остальные — с мазохистским удовольствием.

В противовес нарастающей «капитализации» и монетизации всего и вся последним особенно остро хотелось чего-то нематериального, спасительного, во что можно уткнуться носом, как в подушку, или всей головой, как в песок, и забыться, отдохнуть. Сейчас это назвали бы духовностью. Но это была странная духовность. Запросу на неё отвечали порой совершенно неожиданные, мутировавшие предложения вроде Марии Дэви Христос в том же Ленинграде или начинающих свидетелей Иеговы, которые в комиксах изображали человека после смерти просматривающим в компании Бога всю свою жизнь по «видику». — Вот же, я в церкви, — говорит человек. — Да нет, — отвечает Бог. — В церкви-то ты в церкви, а думаешь о футболе. Духовным чаяниям севастопольцев отвечал Щека Асахара, выступавший по одной из трёх кнопок стационарного радио. Впоследствии его называли Сёку — есть вообще сумасшедшие люди, которые с пеной у рта готовы спорить о произношении японских слов и имён, я не из них: мне наплевать — но тогда, из радиоточки, с нами говорил Щека. Его вкрадчивый голос действительно зачаровывал — советский народ, не привыкший к проповедникам, выключал кран с водой, прекращал варить суп и присаживался на стул ближе к приёмнику, готовый внимать. Переводчик доносил до людей смысл чарующих слов.

— Щека за то, чтобы в мире были любовь и справедливость, — вкратце пересказывала его идеи бабушка.

Это было хорошо. Мне это тоже нравилось. К тому же Щека Асахара привносил немного любви и в наш дом. В порыве нежности бабушка могла потрепать меня ласково за щёку (пухлые щёчки «в маму» вызывали предсказуемое умиление у родителей), приговаривая:

— Ух, Щека! Щека так щека. Щека Асахара!

Щека Асахара напомнил о себе, когда я уже и позабыл о его существовании. Возглавляемое им «Аум Синрикё», которое я называл по ошибке АО, потому что в те годы всё вокруг было АО, отметились одним из крупнейших терактов в истории человечества. Чего добивался Щека, я так до сих пор и не знаю — он же не мусульманский фанатик. Есть Google, но я не хочу знать.

Неизведанное и потустороннее становилось нормой жизни. Из окружавшей — в наиболее точном значении: бравшей в кольцо — действительности с коммерческими троллейбусами, АО, челноками, «бесплатным сыром в мышеловке» и убийствами вокруг бежали куда угодно — в любую открывшуюся дверь. К услугам тех, до кого не мог достучаться Асахара, были плодившиеся с невероятной скоростью представители «Гербалайфа», передачи об инопланетянах среди нас, книги о Шамбале в каждом почтовом ларьке, откуда стремительно исчезали газеты, а также бесконечные маги, экстрасенсы, колдуны. В Ленинграде ещё была водка «Чёрная смерть» в алюминиевых банках 0,33 с костями и черепом. Отец, приезжая в город, выбирал её. Мама предпочитала всё остальное.

Однажды, возвращаясь из гостей (довольно поздно), на конечной 12-го троллейбуса мы обнаружили в небе какой-то странный предмет.

— НЛО, — говорила мама. — Нет, точно НЛО. Видите?

— НЛО, не НЛО, какая разница, — скептически отвечал отец.

Предмет был настолько мал, что и разглядеть-то его было невозможно. Однако действительно казалось, что в небе есть что-то, непохожее на звёзды, и оно вращается и даже меняет цвета. Придя домой, я забыл об объекте, но самое интересное началось потом. На следующий день я встретил на улице знакомую женщину в возрасте, выгуливавшую пекинесов. Как правило, мы здоровались с ней и даже перекидывались парой слов. Но на этот раз она начала разговор неожиданно:

— Ты не видел вчера НЛО? — спросила она.

— Видел, — ответил я, не понимая, откуда ей это известно. Но ведь ей не было известно, она просто спрашивала.

— Приходи сюда вечером, — сказала женщина, оттаскивая от меня своих пекинесов.

— Вот тебе конверт, — произнесла она вечером. Как правило, свободное время я проводил на улице, гуляя, и мог не появляться дома хоть целый день. Женщина протянула обыкновенный, непримечательный конверт. Запечатанный. — Там заклинание.

— Заклинание? — машинально переспросил я.

— Да, — подтвердила женщина. — Когда в следующий раз увидишь НЛО, достань этот конверт, вскрой и прочитай его. Тогда они придут к тебе, — она улыбнулась.

Я молчал.

— Но помни, что конверт ни в коем случае нельзя открывать просто так. Спрячь его от самого себя — наверняка ты захочешь открыть его уже вечером, но не вздумай делать этого. Иначе заклинание потеряет силу.

— Хорошо, — сказал я. — Большое спасибо.

— И вот ещё, — добавила она. — Не говори об этом родителям.

— Да, это само собой, — ответил я. — Можете быть спокойны.

Родителям в последнее время я вообще ничего не говорил, да им было и не до каких-то моих тайн. Я, конечно, фантазировал на тему, как меня заберёт НЛО, как зависнет над улицей Володарского в городе Севастополе и проведёт световой луч-трап прямо к моему окну. И как я, счастливый, улечу. На этом моя фантазия заканчивалась, но было понятно, что я всё равно останусь довольным, при любых дальнейших раскладах, ведь главное во всей этой истории — улететь. Мне кажется, и мои родители хотели того же втайне, и много кто ещё — в Севастополе ли, в Ленинграде: по всей огромной стране. Конечно, НЛО я больше не видел. Конверт берёг, не открывал. До тех пор, пока он не затерялся. И женщину с пекинесами я тоже не видел. Может быть, воспользовалась?

Зато я видел экстрасенсов, гадалок и «бабок». Первые жили в обычных квартирах, в многоэтажках и производили на меня, ребёнка, впечатление сумасшедших. В обыкновенной квартире, нажав *mute* на пульте телека, среди советской мебели и сирийских ковров, они проводили «сеансы». Возможно, их неискренность чувствовалась за версту, поэтому мама ходила больше к «бабкам». Те жили в частном секторе Севастополя, брали «маленькой денюжкой» или «картошечкой», помогали людям, но выглядели при этом всё равно очень сурово. К ним выстраивались огромные очереди — порой из таких же бабок и женщин предпенсионного возраста. Не знаю, зачем моей матери, молодой и красивой, это было нужно? Зачем она гадала? О чём она их просила? Наверное, просить стоило только об одном: как понять это новое время, как встроиться в него, принять сердцем, научиться в нём плавать, дышать, научиться в нём жить. Но экстрасенсы ухмылялись: они и были этим новым временем, так они и скажут, как его понять. А бабки, может, и сами не понимали ничего.

Родители были нервные. Они всё чаще ссорились. Не хватало денег, постоянно не хватало денег...

— Тебе никто не поможет, если у тебя нет денег, — говорили они, и были правы. Не понимали они одного: тебе никто не поможет, и если у тебя *есть* деньги.

Однажды я убежал из дома. Не потому, что хотел что-то кому-то доказать. Потому что всё достало. Я ездил по Крыму — на попутках, обманывая водителей, что еду домой, на автобусах, на электричках. К тому же мне было интересно, где что происходит. Как ещё живут люди, и как вообще можно жить ещё — кроме того, что я видел вокруг. Мне хотелось найти что-то счастливое, что-то интересное. Я любил своих родителей, нет, я бежал не от них, конечно.

В ночной Ялте я познакомился с парнем. Сколько ему было лет, не помню: от двадцати до тридцати — мне, совсем маленькому, было не различить. Ночью я шёл с ним по Ялтинской трассе, он обещал довести меня до Ливадии — там я никогда не был, а оттуда рукой подать до Мисхора, где жили друзья нашей семьи — всё-таки ночью, без денег, план побега уже не выглядел столь привлекательным. Где-то вдаль сверкали огни, но на трассе было темно, мы шли вдоль кипарисов, вдыхая тёплый ночной крымский воздух. Парень рассказывал о своей жизни, шутил, говорил, что до Ливадии осталось каких-то полчаса. И вдруг повернулся ко мне, резко схватил за горло и злобно произнёс страшную и — что было главным — совершенно неожиданную фразу:

— А что, если я тебя сейчас убью?

Конечно, мне стало страшно. Я вспомнил рассказы матери о маньяках — их стало очень много — и психопатах, и понял, что передо мной один из них. Но спустя какие-то секунды страх отступил — это было удивительно, это было нелогично: я сам не понимал, почему не боюсь. Это было приключение — я на трассе, ночью, незнакомый провожатый, крымский «сталкер», и даже если сейчас случится убийство — оно станет лишь частью приключения. Завершающей, правда, частью. Но оно станет более живым, чем то, от чего я бежал. То, от чего я бежал, было мёртвым.

— Да шучу я, шучу, — рассмеялся парень. — Я сейчас пойду вниз, а вернусь через час.

— Почему? — спросил я, всё пытаюсь отдышаться.

— Ну, так надо, — коротко ответил парень.

— Надо так надо, — согласился я. — А ты точно вернёшься? Я не найду в Ливадию дороги один.

— Точно, — кивнул он и скрылся в кипарисах, а я остался на трассе один. Изредка мглу рассекал свет автомобильных фар, но он так же быстро исчезал, как появлялся — никто из автолюбителей не замечал одинокого ребёнка, стоящего на обочине глубокой чёрной крымской ночью. Устав ждать нового приятеля, я побрёл на остановку междугородного автобуса, где и уснул, свернувшись калачиком на деревянном сидении.

Меня обнаружили служители порядка и доставили на служебном автомобиле в Севастополь. Они угощали меня бутербродами с салом и всячески подбадривали: мол, скоро будешь дома. С кем не бывает, все, мол, дети бегают. Но больше так не делай, конечно. Одного не отпустили, передали севастопольской милиции, а уж они обещались вызвать родителей.

Так я оказался в отделении на вокзале города Севастополя. Крепкие парни в форме непрерывно матерились, разговаривали между собой, с задержанными и посетителями только на повышенных тонах. Казалось, вот-вот, они начнут драться — если не с кем-то, так между собой. Мат в их речи присутствовал через каждое слово, и это не преувеличение. Я никогда и нигде в жизни больше не слышал такой матерщины, как в этом отделении. Вдохновлённый поведением мужественных и до-

блестных людей, я перенял их манеру общения и ещё долго пытался воспроизвести в школе — в особенности на уроках физкультуры и в общении с девочками. Физрук ещё понимал, но девочки вставали и уходили. Мне предстояло мучительно долго понимать, что завоёвывать их расположение нужно иными способами. Севастопольские милиционеры мне в этом деле не помогли.

А добрые родители простили: ну, убежал и убежал. У них были проблемы серьёзнее, и если бы в те годы я был способен понять весь масштаб их, я бы, конечно, сидел дома тихо. И ждал, когда мы вновь поедem в Ленинград.

Мы провожали отца — ехали в порт, что на конечной 10-го троллейбуса, остановка «Бухта Камышовая», снимали на зарубежную видеокамеру моряков, садящихся в автобус. Они улыбались и махали руками, ибо были жизнерадостны и любили свои семьи, ведь без этого в море не выйдешь, без этого не выживешь, наверное, там. Ну, а мы с матерью были простые обыватели, мы садились в коммерческий троллейбус и ехали в центр, домой. Где мама молилась, чтобы всё было хорошо.

Ну, а потом мы снова уезжали в Ленинград. Мы ездили туда летом; получалось странное обратное движение: я учился в Севастополе вплоть до самого лета, а потом учёба заканчивалась, и когда все ехали в Крым отдыхать и купаться, мы с матерью отправлялись в пустом поезде в Ленинград.

Но я не расстраивался. Мы с дедом брали корзинки, садились на трамвай-шестёрку и ехали на Финляндский вокзал. Там привычно покупали «Сникерс» или «Баунти», газетёнку «Не скучай» или какое-нибудь дешёвое чтиво в дорогу, сенсационно разоблачающее коммунизм. Им были завалены все прилавки, а что не умещалось на них, разносилось активными и нацеленными на успешные продажи менеджерами по вагонам: «Вниманию уважаемых пассажиров!»... Мы ехали под Выборг, на дачу. Впереди были прогулки за грибами в лес, купание в озере, уютные вечера вдали от большого города.

У деда в электричке я спрашивал, что такое коммунизм. Уже все вокруг смеялись, плевали в него. Так человек, резко «поднявшийся» в жизни, отрицает прежних друзей — ещё вчера он пил пиво с сухариками и слушал Виктора Цоя, а сегодня кричит о том, что это «забавы нищесбродов». Эльдар Рязанов на ТВ в программе, посвящённой его дню рождения, сражается с человеком, держащим в руках красный флаг, и благородно побеждает его, хотя все зрители Рязанова — советские люди, именно они любили Рязанова, и никто не любил его, кроме них. Дед говорил, смеясь, что коммунизм — «это от каждого по способностям, каждому по потребностям», но оговаривал, что это примитивное объяснение коммунизма. В окружавшем нас мире люди соглашались на то, чтобы множество утонуло, для того, чтобы кто-то один всплыл. Потому что есть шанс, что всплывёт — он. А прежде никому было не всплыть, но и никто не мог утонуть. И вообще, человечество делится на тех, кто уверен в том, что в жизни есть «первые» и «последние», и тех, кто считает, что не должно быть первых, лишь бы не было последних. Я кивал головой. Мне было всё-всё понятно.

Вспоминая те смешные разговоры, думаю: так что же я, коммунист? Нет. Коммунист из меня не получился. Но новое время я так и не принял, оно как было, так и остаётся для меня временем обмана. Но поскольку других вариантов нет, приходится жить в нём. В мою память врезалась финальная сцена из фильма, который любил и даже периодически пересматривал дед — «Жизнь Клима Самгина». Там две противоборствующие группы людей движутся навстречу по улице, готовые сразиться в смертельной схватке, каждый со своими речами и флагами. А герой жмётся к стенам, пытается открыть двери — но все в страхе заперли их, и ему просто некуда деться. Его сметают.

Фильм заканчивался, и шла обязательная реклама, без которой теперь невозможно было представить жизнь. Мы шли в кладовку — в огромной коммуналке, где всё уже изучено, и от всего порядочно тошнит, это было настоящим приключением. Ходили туда редко. В кладовке хранились вещи всех жильцов квартиры — пыльные старые книги, удивительные лампы, шкафы, казалось, заставшее прошлое (по отношению к 1990-м) столетие, чьи-то тетради с записями, наборы старинной посуды, потрёпанная одежда и просто откровенный хлам. Пока дед копался в своём шкафу, я от нечего делать пересматривал большие красочные журналы — назывались «Огонёк». Вот серия рисунков, на которых изображено бесформенное красное существо с глазами рядом с разными людьми. Называлось оно даблоид: солдат и даблоид, ещё кто-то и даблоид. Картинки меня веселили. Вот чёрно-красная страница со стихами Гумилёва:

«И умру я не на постели, при нотариусе и враче,

А в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще».

Почему-то мне казалось, что он имел в виду что-то вроде нашей коммуналки.

На одной из страниц я увидел чёрно-белую картинку: на трибуне с микрофоном выступал какой-то отвратительного вида человек, урод, и плевался в окружавших его — внизу на картинке виднелись какие-то лысые, не менее отвратительного вида головы. Плевки были прорисованы старательно, и у читателя не должно было оставаться сомнений: их хватит на всех. Юмор же заключался в подписи к картинке: «Плюрализм мнений». На момент выхода журнала это было, видимо, новое, популярное слово. Было очевидно, что высмеивались какие-то определённые люди, на определённом историческом отрезке — те люди уже ушли, и отрезок кончился. А я стоял в пыльной кладовке, куда едва пробивался свет, и смотрел. До сих пор помню это ощущение: я осознал, что именно этот рисунок определил для меня, какое оно — новое время. Я *понял* его тогда. Плюрализм мнений — в этих двух словах и плевках с трибуны для меня было всё.

Это время до сих пор не закончилось. Когда я смотрю современные СМИ, когда читаю споры в «Фэйсбуке» и даже порой, не сумев сдержаться, сам принимаю в них участие, когда слушаю «авторитетные мнения» и «экспертные комментарии», читаю колонки «публицистов» и «общественных деятелей», глухих, слепых, безразличных и бессердечных, но «талантливых» и говорливых, мне одно помогает не чокнуться и не впасть в безграничное отчаяние. Это та картинка: никто никого никогда не услышит! Никто ни до кого не достигнется! Никто никого не поймёт! Плюрализм мнений! Подходите ближе, подставляйте лысые головы! Плевков хватит на всех!



Публицистика

Лидия Довыденко

Продуктивность мышления

Генеральный директор Группы компаний «Томас-Бетон» Игорь Плешков о внутренней и гражданской ответственности за происходящее в стране, форме сопротивления и умении принимать решения.

Встречаясь со знакомыми предпринимателями или читая интервью у незнакомых лично деловых людей в печатных СМИ и в интернете, я пытаюсь всегда почувствовать, ощутить, узнать по неуловимым интонациям нравственное чувство, сохраняемое, несмотря на труднопреодолимые проблемы, которые создают власти, политики, жизненные обстоятельства. Это чувство проявляется не только в отношении к членам своего коллектива, к семье, друзьям, но оно выражается в волевом слове человека-созидателя, человека с огромным опытом реализации правильно принятых решений. Оно может стать отрезвляющим, обновляющим, просвещающим в подлинном смысле этого слова. И слово это звучит в сферах экономики, государственного устройства, которому пришло время основываться не на безжизненных коррупционных схемах, а на поддержке именно тех, кто реально что-то создаёт.

— При этом, — говорит Игорь Плешков, — человеку свойственно постоянно учиться, попевать за временем, пересматривать свои взгляды на какие-то устаревшие подходы. Помню, как висел всюду в советской стране плакат со словами Л.И. Брежнева «Экономика должна быть экономной!» А на самом деле экономика просто должна быть!!! Сегодня всё пронизано политикой, а экономика ведь первичнее по отношению к политике. К сожалению, в политику, во власть, как правило, попадают люди, которые ничего в своей жизни не создали, ничего не сделали, без опыта принятия решений. У них никогда не было даже небольшой группы людей в подчинении, они не понимают ничего в добавленной стоимости. А ведь что такое опыт руководства даже небольшим коллективом? Он очень много даёт человеку! Этот опыт — проверка руководителя на человечность при стремлении к развитию своего дела. Я никогда не увольнял людей, даже если обнаруживал отсутствие профессионализма, увольнял только в одном случае — доказанного воровства.

— **В Калининграде состоялось первое Гражданское собрание на тему «Общественный контроль — объединение и поддержка». Как и почему возникла эта идея Гражданского собрания? — спрашиваю я Игоря Владимировича.**

— Время пришло. На разных этапах своей жизни я пытался участвовать в выборах и столкнулся с беспределом узкого круга лиц. Избирательное право контролируется властью, нет свободного волеизъявления. Многие просто не ходят на выборы, лишь бы только не принимать условия власти, далёкой от того, чтобы служить народу. Люди хотят изменить это, и путь к изменениям лежит через активную гражданскую позицию человека.

— **Первоначальная цель форума, который состоялся в Калининграде в конце мая, сформировать открытый конструктивный диалог между органами власти и представителями гражданского общества. Как Вы видите построение такого диалога?**

— Это участие представителей Гражданского собрания во всех открытых мероприятиях, которые проводит правительство области, в совещаниях, касающихся различных областей и сфер жизни региона. Представители Гражданского собрания должны иметь возможность задать вопросы и получить живые ответы, донести их людям правдиво, а не так, как преподносят проплаченные СМИ. Чтобы экономика развивалась, она должна быть свободна от вмешательства чиновников, от попытки командовать: например, указывать парикмахеру, как ему стричь клиента. Ничего хорошего из этого, разумеется, не выйдет. Сегодня сильнейшее давление на бизнес оказывают контролирующие органы. Они не помогают, а пытаются что-то снять с предпринимателя для личного обогащения чиновника. Несогласным выкатывают неподъёмные штрафы. А когда предприниматель идёт в суд, то убеждается, что судебная система должна быть реформирована, должно быть аннулировано телефонное право, и создано право, единое для всех.

— **Вы сказали: «Я хочу стать координатором и собрать вокруг себя инициативных людей, которые готовы вносить свои идеи и претворять их в жизнь». Что Вы для этого делаете?**

— Достойных людей вокруг очень много. Речка начинается с ручейка, а потом в неё вливаются те, кто не хочет двойных стандартов, кто утверждает справедливость. Местное сообщество само ищет возможности для объединения. Сейчас инициативная группа работает над Уставом, формулировкой единой цели, которая и будет сердцевинной «ромашки», стеблем, вокруг которого сформируются направления. Я приверженец системного подхода к любому делу.

— **«Разношёрстная публика»... Так несколько раз презрительно написал журналист одного из калининградских новостных сайтов о тех, кто принял участие в первой встрече Гражданского собрания. Есть ли у Вас единомышленники или соратники, такие же социально ориентированные бизнесмены, как Вы?**

— Не стоит скрещивать ежа с ужом, но и ёж, и уж должны и могут жить в одном лесу, в котором всем хорошо. Да, у каждого своя философия, своё мировосприятие, но надо создавать условия, чтобы каждый выполнял свою задачу, понимая, что все мы в одной лодке. Чтобы двигаться вперёд, надо выработать единый курс.

— **Вы сказали: «Собрание не преследует политических целей и не будет бороться за власть». Но мы видим, что кругом политика — в культуре, в спорте... Что Вы об этом думаете?**

— Я думаю, что в стране сложился отрицательный имидж предпринимателя. Его выставляют, морально уничтожая, как хапугу, который обворовывает людей. И нам нужен бренд — социально ответственный человек дела.



Игорь Владимирович Плешков

Государство лишь плодит количество чиновников. Это те штыки, которые дают на выборах необходимое количество голосов: армия, полиция, МЧС, таможня. А ведь задача не в тошнотворном прислуживании, не в обогащении, не в имитации бурной деятельности, а в едином намерении, в процветании государства как дружной семьи. А экономический кризис, как бы странно это ни звучало, служит своего рода ускорителем развития гражданской инициативы.

Подводя итоги, заметим, что Гражданское собрание намерено сыграть значимую роль в объединении здоровых созидательных сил общества, собрать единомышленников, искренне заинтересованных в духовном, культурном, социальном и экономическом возрождении нашего края, нашей страны, в укреплении российской государственности. Проблемы конкретных людей нужно объединить в общую задачу преодоления и направить в рациональное русло устойчивого развития. Потребность в институтах гражданского общества, в позитивных межличностных отношениях, в совокупности общественных отношений велика...

Прощаясь с Игорем Плешковым, ещё раз бросаю взгляд на окно его офиса на двенадцатом этаже, за которым открывается великолепная, восхитительная панорама города, освещённого летним солнцем. Среди зданий, жилых комплексов, мостов, набережных, пирсов, площадей, фонтанов, торговых центров — огромное число тех, что построены с участием группы компаний «Томас-Бетон». Это часть лучшего, нового, современного градостроительства, в котором нашли себя качество, вкус и стиль. Я это говорю не в рекламных целях, а для того, чтобы кто-то из читателей поднял глаза, посмотрел вокруг, подумал и осознал, что и от него может что-то зависеть, если присоединиться к тем, кто понял, что «поэтом можешь ты не быть, но гражданином, достойным сыном своего Отечества, ты быть обязан». А это означает работу с местным сообществом для обмена опытом и идеями в сфере инноваций в общественной среде, создание дискуссионной зоны с широкими возможностями для профессионального общения, обсуждения самых актуальных тем, создание площадки для теории и практики работы с местным сообществом, проведение форумов с молодёжью по исследованию, формату общественного института публичности, открытости как стратегии работы с сообществами, властью, бизнесом на территории области.

Не «разношёрстная публика» приняла участие в Первом Гражданском собрании, а те, кто осознал важность момента — или сейчас, или никогда, — понял, что мы делаем принципиальные шаги в направлении развития гражданской активности как приоритетного направления деятельности, напрямую связанного с такой характеристикой, как «нравственный поступок», наряду с пониманием национальных ценностей и высоких идеалов, то есть духовного, человеческого начала.

Или мы окончательно и бесповоротно «теряем» в себе способность действовать, отстраняемся от процесса осмысления себя в окружающей жизни, становясь «толпой», или включаемся в созидательные гражданские процессы, в создание концепции непрерывного социального образования и самообразования, чтобы говорить с властью о самых острых проблемах современности.



Поэзия

Марина Шамсутдинова

Родилась в 1975 году в Иркутске. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор четырёх книг стихов: «Солнце веры» (2003), «Нарисованный голос» (2007), «Дань за 12 лет» (2010), «Стихи» (2011). Печаталась в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Созвездие дружбы», «Первоцвет», «Огни Кузбасса», «Московский вестник», «Викинг», «Литературная Вена» и во многих других. Лауреат поэтической премии им. Юрия Кузнецова за 2010 год (журнал «Наш современник»). Победитель фестиваля «Славянские традиции» 2011, 2013, 2014 годов. Победитель конкурса Союза писателей России им. Н.А. Некрасова. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века, Академии поэзии.

РУССКАЯ СКАЗКА

Стихи

БОГАТЫРША МАРЬЯ МОРЕВНА

Голос старцев почти не слышен,
Спят в младенцах богатыри,
Собирают в поход богатыршу,
Дав клубочек в поводыри.
Богатырша Марья Моревна,
Ты воительница Руси,
И добытчица, и царевна,
А хазар хоть косою коси...

* * *

А пока апокалипсис апоплексично-тактичен,
Жар от казни египетской гасит ливийской водой.
Как его ни крути — шар земной ограничен,
Неглубок и горяч, сколько бункер ни рой.

А пока апокалипсис вскормлен недаром
На картошке израильской, на аргентинском
зерне.
И привиделась мне моя Русь в превентивных
ударах,
Уходящая в лес с малышом на горбатой спине.

ПЛАЧ ПО ЛИВИИ

О, Ливия, оливаю
Склонилась над песками,
Тебя сжигает милую
Космический дискавери.
Войну раздует звёздную,
Почти религиозную...
Кровь Ливии оливаю...
Кровавой нефтью стелется

Пустыня златогривая
Ракетами ощерится,
В песок уйдёшь — товар ещё,
Как золото в песочницу,
О, Ливия, ты кладбище,
А умирать не хочется!

* * *

Спасёт нас вечная зима!
Больницы, школы ледяные,
А дураков своих нема,
Все дураки переводные.

Сельскохозяйственной страны,
По брови занесённой снегом,
Проблемы, в общем, решены
Одним навязчивым соседом.

Мороз-подрядчик хоть куда,
Бордюры, домики-яранги.
Всё смое талая вода,
Дорогу одолеем в танке.

Иван, не помнящий родства,
Очистит поле родовое,
Распашет — раз, засеет — два,
На три оно совсем живое!

Сосед порядочная гнида —
Антанта или Атлантида...
Игрушки смое ледяные,
Дома отстроим лубяные.

РУССКАЯ СКАЗКА

На каждой опушке ждут нега и ласка —
 В лесочке берёзовом русская сказка.
 Присел на пенёк пожевать пирожок —
 Ежонком у ног проскочил колобок.
 Малины у мишки в бору набирай,
 В палатке съедай вот такой каравай!
 А ночью притопаёт мышка-норушка
 И сказку ночную нашепчет на ушко,
 И лунную пряжу сквозь щёлку спрядёт,
 Навяжет перчаток и прочных колгот,
 Чтоб больше в лесу не царапать колени, —
 С полян собирать земляничные пенки.
 Проснёшься, а сосны в лесу налитые,
 Стволы, как бока у бычка, смоляные.
 К любому прилипнешь, застрянешь в лесу,
 Но в город пора: есть сыры, колбасу,
 Сосиски, паштеты из сала и сои,
 А лето в лесу на Руси золотое.
 А в городе что? — Беспросветная осень,
 Но как колбасу и сосиски нам бросить?

* * *

Я звезду не надену, не нужно,
 Нету красной звезды под рукою.
 Кто-то скорчится и натужно
 Пол-Европы запишет в герои.

У России хребет железный,
 Костяная нога, руки-крюки,
 Убивать её бесполезно,
 Её душу отмолят старухи.

Бессеребренницы, бесприданницы,
 Беззамужницы и молчальницы,
 Столбовые и верстовые,
 Стержневые согбенные выи...

СЧАСТЬЕ

Счастье — это крем-брюле,
 Полная тарелка вишни,
 Снег липучий во дворе,
 На концерт билетик лишний.

Счастье — с сыром колбаса,
 Выходные в воскресенье,
 Счастье — летняя гроза,
 Солнечный денёк осенний.

Счастье — бабушкин пирог,
 С земляникой и корицей,
 Счастье — свадебный чертог
 И любимой покориться.

Счастье — чистая вода,
 И букет цветов на сдачу,
 Не промокнуть без зонта,
 Самому решить задачу.

Счастье — это в мире жить,
 На просвет не знать калибры,
 Платье выпускное шить,
 Наблюдать в саду колибри.

Счастье — в зверя не попасть,
 На охоте промахнуться,
 Сунуть тигру руку в пасть,
 Испугаться и проснуться.

Счастье — слов не хватит для,
 Пусть бы вечно список длился...
 Не пугай меня Земля,
 Я для радости родился!

* * *

Они приходят в каждом поколении,
 Герои, что за Родину горой.
 За рюмкой прозябают в праздной лени,
 Пока не грянет их последний бой.

Глянь, буйствуют, куражась, в увольнении,
 Кто больше выпьет водки из ковша,
 Матросова, Космодемьянской тенью,
 В них колобродит русская душа.

Беспутники, балбесы, уголовники,
 Что на спор мнут засаленный пятак,
 Из рядовых пробьются в подполковники,
 За Родину полягут просто так...

ОСТРОВИТЯНИН

Как суша, окружённая водой,
 Есть оппонент и вечный недруг мой:
 Еврей? Американец? Англичанин?
 Есть нация одна — Островитянин...
 До острова плыви, не доплывёшь,
 Любой в бинокль человек — вошь,
 Змеёй в руках удавочка-петля,
 Там в мареве ничейная Земля.

Ничья земля? — Моя, Островитянин!
Ты на моей лишь инопланетянин.
Твой остров — межпланетная тарелка,
Тебе слышалось, мы не кричали «вэлком!»
Здесь на краю России, в Тёплом стане,
Где и москвич давно островитянин,
Тебя встречали с дыркой в кармане.
— «А где же мани?»
Достал скорее почерней фломастер,
Аборигену сочинил блокбастер,
Чтобы поверил русский папуас,
Что ты опять нас от вторженья спас.
Арендодатель покупной земли,
На срок аренды дни свои продлил.

Что может нация, когда она без крови?
Бензином насосаться, как «Лэндровер»,
Вампир киношный в кетчупе томатном
Пьёт нашу кровь из ящичков квадратных,
А зомби и живые мертвецы —
То в стельку пьяные и братья, и отцы.
Мысль иностранца очень материальна:
По четверо орально и анально
Имеют в порно наших матерей,
А заодно сынов и дочерей.
Солдат российских превратив в зверей,
Кликухи вешают: Толстой, Тургенев, Пушкин,
Макаренко-убийца, гей-Слепушкин,
А Гоголь — злой маньяк боевика.
Не больше туалетного листка —
Литература, что читать века...
А папуас забыл и рад стараться,
Инопланетным дивом нахлебаться...

Моя земля, песчинка в море лжи,
Стихами, книгами над бездною кружи,
Дай разглядеть народу моему
Среди тумана — лагерную тьму:
Островитяне — суррогаты наций —
Готовят папуасам резервации.
Арабы, африканцы и индейцы
Для них всего лишь недоевропейцы;
Какой вокруг межзвёздный перекося,
Их истребление совсем не холокост?..
Мы русские, в нас совесть через край,
Мы сделали победным месяц май,
В своей стране живём, как в оккупации,
Пора нам выходить из резервации.
Долой инопланетное вторжение!
Я первой выхожу из окружения.

* * *

Мы за Господом, вы под госдепом.
Украина кровит от маков.
Украшает венки чёрным крепом
Генерал-косметолог Аваков.

Можно руки пришить в фотошопе,
Город лихо отстроить в программе...
Вы до Нюрнберга доживёте —
Приговор, перерыв на рекламе.

Вам бы в морг простым санитаром,
Вам бессмертие сотни раз,
От асфальта немощным, старым
Отдирать разорванных нас.

Пусть живёт в веках Украина —
Мясо, сало, гречиха, кровянка.
Человека там нет, только глина
Перемолота траками танка.

Славься в песнях страна согласных,
Дезертиров и армий частных,
СМС приравнявших к штыку.
Прыгай выше. Три раза КУ.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Говори со мной на английском —
Его я не понимаю.
Голоском хоть высоким, хоть низким,
Что подобен брехливому лаю.
Интонация — не семантика,
Лишь вербальная энергетика.
Зелень в лапах дешевле фантика.
Растолкует потом герменевтика...

Говори со мной на английском,
Жёлто-гнионом, кроваво склизком.
Лишь на русском не говори,
Понимаю его изнутри.
Каждой клеточкой того тела,
Что досталось чудом от деда.
Довоенный ещё замес.
Он — на фронт, партизанка — в лес...

Генетически преданный русский,
Мой язык для любой нагрузки.
Он заточен острее бритвы...
На английском лопочут бритты.
Извиваются с робким «битте».
А потом кровавые биты,
И живые жалеют убитых.

И меня матерят на русском
Эмиссары любых кровей,
Что вместили в свой лобик узкий
Ширь лесов моих и полей.
Словарь Элочки-людоедки.
Словеса, словоблудки, объедки.

Русский — зона свободного мата –
Отрабатывает зарплату.
Так на нём говорит наёмник –
Эхо зла, радиоприёмник.
Поднатасканный кем-то темник.
Папироска да вшивый тельник.

Слово русское слаще мёда,
Срежет чище, чем пулемётом.

Мой язык — он корнями врос
В мою душу, достал до звёзд
С древним пращуром солнечный мост.
Я прошла по нему босиком,
С берестяным тугим туеском.
Собрала все слова-рубины,
Книгой ведая Голубиной.
Все отметины и находки...

Драя палубу атомной лодки,
Говори со мной на английском
С непонятным акцентом арийским.
Только русский язык забывай.
Русский мой — это пропуск в рай.

Он — молитва, что дошла до Бога.
Господа воздушная тревога...

СИБИРЬ

Кровью белых берёз перелески залиты зимою.
Пар молочный туманом взлетает под самый восход.
Изваляюсь в снегу, этой липкой измажусь смолою.
Без добычи вернусь, как домашний зажавшийся кот.

Наше Небо для сильных, для гордых наш Лес, наше Поле,
Где, кричи — не кричи, только леший ответит: «Ау».
Как цепная собака, Москва замерла на приколе,
А Сибирь не загонишь в бетонную конуру.

Горы здесь достают до десятой звезды. Небоскрёбом
До такой высоты не взлететь даже в тяжком прыжке.
Горловым своим криком, прокуренным, спившимся нёбом
Не обляять такую махину, не слямзить в мешке.

Переждём, отстранимся, уйдём от греха и от смрада
По медвежьим углам да в сибирской дремотной тайге.
Здесь пройдёт оборона последней страды Сталинграда.
По сибирской, по русской, как Божия вена, реке!



Проза

Николай Иванов



Николай Фёдорович Иванов родился в 1956 году в селе Страчево Брянской области. Закончил Московское суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Службу начал в Воздушно-десантных войсках. В 1981 году направлен в Афганистан. Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин», через семь лет стал его главным редактором. В октябре 1993 года, отказавшись публиковать материалы в поддержку обстрела Белого дома, снят с должности «за низкие моральные

качества» и уволен из Вооружённых сил. Продолжил службу в органах налоговой полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен в плен боевиками; освобождён через четыре месяца в результате спецоперации. Полковник налоговой полиции. Секретарь правления Союза писателей России. Автор 20 книг прозы и драматургии. В их числе: «Чёрные береты». «Гроза над Гиндукушем», «Наружка», «Женский пляж», «Спецназ, который не вернётся». В Уссурийске и Брянске идут театральные спектакли. Лауреат литературных премий имени Н. Островского, М. Булгакова, «Сталинград». Живёт в Москве.

КАМЕРНЫЙ ПОЛКОВНИК

(Главы из романа)

1.

Лето пришло в Журиничи уже измождённым майской жарой.

— Вера Сергеевна, а правда, что дождь обходит наше село потому, что колокол не уберegli?

— Дядя Егор обещал новый достать. Или отлить. Не отставай. Глянь, как Оксанка с Зойкой пятками сверкают.

Степенно поправив платок на голове, Аня возвела к белёсому небу глаза: это надо до «Кукушкиных слёзок» дожить, уже грудки выпирают, как «здравствуйте вам», а всё ещё прыгают по оврагам козочками.

— Сама все причитания выучила?

— Не споткнусь на ровной ямке. Главное, чтобы Женька мою куклу не нашёл. А то придётся целоваться, — от возможного ужаса Анька мечтательно расплылась в улыбке и с тайной надеждой оглянулась.

За деревьями прошмыгнули ребята, желающие подсмотреть за девичьим таинством прощания с детством. Интерес, конечно, понятный, но баба Маня учила: близко никого не подпускать, праздник не на их улице. Авось глазастые...

— А правда, что и из соседних сёл приедут на нас смотреть?

— Пусть смотрят, не жалко. Не жалко ведь?

— После нас, первых — все не Гагарины!

Шли к озеру. Там, на поросшем муравой Рымкином берегу, уже собирались со своими куклами те из девчат, кому исполнилось двенадцать лет или приближалось к тому. Вера Сергеевна несла пучок кукушкиных слёзок — тоненьких длинных стебельков с дрожащими наверху бусинками-слёзками. Из них и требовалось сплести фигурку девушки, обрядить её в лоскутки и ленты, чтобы затем под ритуальное пение и захоронить. После этого приходит черёд прятать любимые домашние

куклы — то ли от ребят, то ли для ребят. Потому что кто чью ухоронку усмотрит и найдёт, у того появляется право победителя подарить хозяйке первый поцелуй.

Сладко и страшно представить — чтобы прилюдно, законно тебя целовали...

От озера им уже махали собравшиеся на берегу девочки, наряженные в длинные платья. На следующий год можно пошить с орнаментом, под русскую старину. Только кто и где будет в следующее лето?..

Вера встрепелулась, отгоняя грустные мысли. Оксана бежит впереди, деньги спрятаны под матрацем. Сегодня опять придут две машины. Всё наладится. А к озеру и впрямь собираются взрослые, пожелавшие посмотреть на обряд. Между ними главным распорядителем ходила баба Маня, дед Степан что-то наговаривал инженеровой Татьяне. Вот кого бы не хотелось видеть...

К Ане подбежала Зойка Алалыхина, схватила за руки. И хотя Аньке не очень хотелось вступить с ней в родство, первенство в игре решила не уступать никому. Запела вместе с ней:

— Кукушечка, рябушечка,
Пойдём в лес —
Сплетём венец.
Покукуемся, помилуемся,
Покумуемся, поцелуемся.

Лес был далеко, и баба Маня предусмотрительно заняла место около двух берёзок, связав их ветви. К ним и подошли с двух сторон Аня и Зойка. Положили своих кукол на связанные качели и, баюкая их, как в колыбели, запросили:

— Покумимся, подружка, с тобой, покумимся.

— Чтобы век нам с тобой не браниться, не ссориться.

Протянули друг другу ленты, под улыбки взрослых расцеловались трижды: каждая из девчонок ещё вчера сидела в коляске, а сегодня крёстных для своих будущих детей выбирает. Жизнь — колесо. Да и по обрядовым правилам раскумиться, то есть вернуть с небес припевку, можно в течение месяца, до Троицы...

Улыбалась игре Вера, выплетая общую куклу. Да забыла, что трава-то — из «слёзок»...

В какой-то миг по нервным разворотам Татьяны поняла, что та видит Егора. Говорят же, если мужчина по запаху найдёт лишь кухню, то женщина — соперницу.

Не обманулась.

Егор сидел на другом берегу озера, около заброшенной кузни. Даже не сидел — полулежал, издали глядя на праздник. Или после больницы ещё испытывает боль? Выписали или сбежал? К отцу, на могилку, сходил? Автобус прошёл давно, значит, был. Надо бы подойти, спросить про здоровье...

Словно угадав чужие намерения, Татьяна оторвалась от деда Степана и, не оставляя никому надежд, всё убыстряющей походкой пошла вдоль берега к кузне. Около Веры вдруг напела:

— На горе растёт лопух.
Чтоб ты, миленький, опух.
Чтоб ты руки обломал
Когда другую обнимал...

Егор словно тоже услышал частушку, намерился уйти, но со стороны это выглядело бы смешным бегством, и остался на месте. Татьяна присела рядом, бесполезно попыталась натянуть юбку на колени. А скорее, лишь делала вид. Оставила их выпирать белыми игривыми колобками, даже погладила мимоходом: выручайте, соблазняйте.

— Прощай, наша милая кукушечка, прощай...

Девочки, уложив сплетённую куклу на покрывало, понесли хоронить её под ракиты. Торопились, потому что после предстояло разбегаться в стороны и прятать по кустам уже домашние куклы. Но пришли ли те, желанные, кто бросится на их поиск? Выпячивать захоронку, конечно, нечестно и некрасиво для девушки, но и не прятать же любимицу так, чтобы никто не нашёл!

А Вера, как ни сопротивлялась, не смогла не повернуться к своей «захоронке», уже найденной, к сожалению, другой. И улыбнулась: рядом с Егором сидел Пятак. Наверняка просит денег на выпивку, но спасибо ему, спасибо, что заставил Татьяну встать и отойти к воде. Пробуй, пробуй теперь ногой воду, строй из себя тонкую натуру...

— Вера Сергеевна, огонь разводить? — отвлекла от ревности баба Маня.

Щепочки и полешки были заготовлены заранее, кирпичи под большую сковороду выставлены. Задача для деревенских девчат пустяковая, но знаковая: в конце игры приготовить яичницу и накормить всех присутствующих, показывая, что они уже умеют вести хозяйство и никого не оставят голодными.

Вера присела к костру, подсунула газету. А что на другом берегу? Пятак вроде хочет подняться, но Егор осаживает его, и Татьяна от досады бьёт ногой по воде. Брызгам сложиться бы, как и положено, в радугу, но разве можно нарисовать её чёрным карандашом? А других красок у злости нет. Хотя какое, собственно, Вере дело до отношений двух возлюбленных? Хочется им гулять — и пусть гуляют!

Подула легонько на уже вцепившийся в палочки своими лапками огонёк. Вот точно так же пусть разгорается и пылает синим пламенем всё, что не касается её и Оксанки. А они уедут, сразу уедут, как только соберутся деньги. И не убеждает она себя в этом, а лишь констатирует факт.

— Пошёл отсель, бесстыдник, — раздался незлобивый голос бабы Мани.

К костру пробирался Васька. Ему, скорее всего, нужны была Вера, он и кивнул ей, но прибежавшие на помощь бабе Мане девчата завизжали на чужака, как на коршуна. Вера успела лишь вопрошающе вскинуть ему голову в ответ: что-то с машинами и грузом? Нет-нет, только не сейчас!

— Я нашёл, нашёл, — раздался на весь берег голос Женьки.

Он прыгал с высоко поднятой куклой, и девчата сбились в стайку, похихикивая и тайно высматривая, кому выходить из круга на прилюдный поцелуй. Уже одёргивала сарафан Анька, но, гордо оглядев подруг, пошла навстречу замершему победителю Зойка Алалыхина. Женька отпрянул, недоверчиво посмотрел на куклу. Зойке, возможно, тоже хотелось бы поцеловаться с кем-нибудь из ребят повзрослее, с тем же Васькой, но первенство сегодня шло к ней само и уступать его она не собиралась никому. Подмяла пацана, и голову подняла уже королевой, ставшей в один миг повзрослевшей девицей. Усмехнулась Ваське: ждёшь свою городскую тихоню? Смотри, пропустишь вообще всё, пока с малявками милуюсь!

Анька плюхнула в сковородку несколько яиц, бросила веером соль. На чужом пиру можно и не усердствовать, хотя оценивать, конечно, её саму будут именно за приготовление яичницы. Вот судьба бабья: разрывайся между умением вкусно готовить и желанием выбросить еду рыбам.

Первым к сковородке подскочил Васька. Может, это был лишь повод вновь оказаться рядом с учительницей, но он торопливо отчекрыжил хлебом кусок яичницы, отправил, обжигаясь, бутерброд в рот. Закатил глаза то ли от блаженства, то ли от ожога, но неожиданно для Аньки и остальных перевернул всю приготовленную сестрой порцию себе в руку. Запрыгал от боли, но тем не менее принялся жадно, уткой глотать пищу. И только тут Анька дала волю чувствам — заревела, замахнулась опустошённой сковородкой на брата. За нелюбимую куму, за перехваченного Женьку, испорченный праздник. Не стесняясь слёз, бросилась к дороге. Увернулась от Веры Сергеевны, попытавшейся поймать её в распахнутые сетью руки. Вот тебе и похороны детства, расставание с куклами. Никуда ничего ещё не ушло у девочек. Детьми были и пока остаются...

— Ты чего сестру родную на люди выставляешь? — замахнулась на внука берёзовыми веточками баба Маня. — Она же для всех готовила, не для одного тебя, чурбана неотёсанного.

Васька согласно закивал, но оглянулся: нет ли чужих ушей?

— А она пусть сначала научится готовить. Пересолила так, что нутро горит, — постучал себя по груди. — Что, было бы лучше, если б чужие попробовали и плевались?

Ветка в поднятой руке бабы Мани замерла, потом стала разгонять комаров. А Васька боком-боком, но переместился, наконец, к учительнице.

— Что там? — встревоженно спросила она.

— Менты что-то заподозрили.

Огляделись одновременно, словно машины с мигалками уже окружали озеро. Хуже ментов оказалась Танька, выжившая Пятака и подсевшая всё ж таки к Егору. Но не это сейчас главное. Сейчас нет ничего важнее и страшнее Васькиной новости.

— Откуда знаешь?

— Они одну нашу машину, что развозила товар, задержали.

— И? — Вера обмякла.

— Надо прятать оставшиеся тюки.

— Так надо бежать... — Вера, несмотря на белое платье, обессиленно опустила прямо на тра-

ву. А Егор, оставив Татьяну, направляется в их сторону. Только бы он ничего не узнал, стыдоба-то какая.

Нашла силы встать. Стараясь не оглядываться, поспешила к дому. В сарае тюков двадцать, под кровать не спрячешь. Беда. Говорят, не бери чужое! Но ведь ради Оксанки... Неужели тюрьма? Если с Егором в милиции обошлись так, что попал в больницу, то с ней вообще церемониться не станут. Что же она наделала!

Всё же оглянулась: почему не идёт следом Васька? Что-то объясняет Егору. Даже если и про контрабанду, тут уже не до стеснения. Вдруг что-то придумает, выручит. Если не её, то хотя бы племянника. Всё закрыть и забыть! Уехать. Отсюда давно надо было бежать. Счастье, если оно и есть где-то для неё на земле, находится где угодно, только не в Журиничах. Название села как будто все века береглось специально для неё...

Сзади раздался топот. Что, Вася, что, милый?

— Сказал дяде Егору. Он сейчас подойдёт.

— Ругался?

— По шее дал. Я боюсь, что это крёстный...

— Что крёстный? — хваталась, пугаясь, за каждую новость Вера.

— Я ему сказал, что мы... возим.

— Зачем-е-ем?

— Чтобы помог нам.

Знает крёстный — знает Сергованцев. Знает тот — рядом Околелов. Васька, Васька...

Снова шаги. А вот теперь Егор. Как же стыдно поднимать голову!

— Тележка какая-нибудь есть? — взял Егор под локоть племянника. Конечно, не она хозяйка...

— Какая-то стоит в дровянике без колеса.

— Бегом к нам за велосипедом.

Нет! Она не хочет оставаться наедине с Егором. Лучше она за велосипедом...

Васька услышал не её мольбы, а приказ Егора. Хотя бы ещё пару шагов к дому. Ещё! В турпоходах считаются именно пары-шаги.

— Как Оксанка?

— Женихается.

Дом уже выглядывает крыльцом из-за колодца. Сруб над ним недавно новый поставили, покрасить лишь не успели... Ещё пара. Не надо расспросов. А лучше самой начать спрашивать:

— Как у тебя здоровье?

— Победим!

Решительный шаг, сжатые губы, твёрдость в голосе — это было всё сразу, на что втайне надеялась Вера. И что чья-то кошка перебежала вдали дорогу — то глупости, потому что рядом Егор. Ей ничего от него не надо, только помочь избежать милиции...

Во дворе Егор сразу прошёл в сарай, потрогал тюки и взвалил один себе на плечи.

— Пусть Васька грузит на велосипед и везёт за кладбище, к силосным ямам.

Вера чем могла помочь — так это распахнуть калитку в огород. Только ночью таскали вещи оттуда, а вон как жизнь повернулась задом.

— Я здесь, — услышала шёпот Васьки.

Он, поняв замысел Егора, пытался устроить на раме и багажнике сразу два тюка. Вера суетливо поискала верёвку, прихватила, как могла, груз. Еле протиснули велосипед в калитку, и Васька, упираясь, покатило его за горбатившимся между картофельных грядок Егором. Только вчера ходили этой тропкой к отцу и деду на могилку...

«Пронеси», — подняла глаза к небу, боясь молиться, Вера.

Но беду требовалось отводить на земле, и она принялась волоком подтаскивать баулы к калитке. Зацепилась подолом за торчавший в стене сарая гвоздь, надорвала клок, заставив затрепетать его белым флажком. Нет-нет, она не сдаётся! Вот только сбросить каблучки...

— Не таскай, тяжело, — остановил её вернувшийся Егор.

Она осмелилась поднять на него глаза. Небрит, круги под глазами. Ему бы отлежаться в санатории...

— Здравствуй, — вдруг неожиданно сказал Егор и коснулся пальцами её щеки.

Как хотелось податься навстречу, но по улице, пугая, промчался мотоцикл без глушителя. По-

том, всё потом. Сначала надо избавиться от тюков. И нужно ли вообще это «потом»? Оборвать всё и сразу!

— Извини, — прошептала в придавленную тюком спину Егора.

Милицейский «уазик» подъехал, едва за Васькой закрылась калитка с последней поклажей. Давая ему время пробежать огород, Вера закрыла собой вход в палисад.

— Лейтенант Околелов. Мне необходимо осмотреть ваш дом, — с улыбкой козырнул милиционер: светила, катилась на погон ещё одна звездочка, так что как тут скрыть радость. Да и перед кем!

Чтобы не оказаться непричастным к успеху, торопливо оббежал пыльную морду «уазика» водитель. Поддёрнул брюки, кивнул Вере: то ли здравствуйте, то ли воистину «необходимо осмотреть».

Как там Васька? Страх за него дал Вере силы стать наглой.

— А что случилось? — хотя и вытирая потные ладони о платье, поинтересовалась у милиционера, не тронувшись с места.

Только кто же остановит падающую звезду?

— Пройдёмте и узнаете, — надвинулся лейтенант.

Только и у Веры грудь не только для мужских рук. Ещё немного, ещё хотя бы малость выстоять. Грядки в огороде по тридцать метров. Потом уже можно Ваське свернуть и скрыться за ракетами...

— На каком основании?

Нет счастливее улыбки, чем у человека, чувствующего своё превосходство. И не перед угрозами — перед ней отступила Вера. Лихорадочно соображая, что надо гостей пригласить сначала в дом. Окошко на огороды в нём только в кухне, и если не пускать туда...

Но не пожелал Околелов идти в дом, сразу направился в сарай. Но ведь вывезли всё, вывезли! Успели же! Только всё равно почему-то подкашиваются ноги!

Лейтенант перешагнул через валявшиеся посреди двора туфли, скрылся в темноте сарая. Водитель юркнул следом. Нет, не должно ничего затеряться. Сама выталкивала последний тюк. Пусто там!

— Вера Сергеевна, что тут у нас? — ворвалась во двор Аня.

Вместо распахнутых объятий учительницы попала в руки вынырнувшего из сарая Околелова. Ласково, еле сдерживая себя, он улыбнулся.

— Здравствуй, девочка. Ты здесь живёшь? А что тут у вас в сарае хранилось сегодня ночью?

— В сарае? — Аня подёргала рукой, вырываясь. Да только от Околелова ещё никто не уходил. По крайней мере, далеко. Да и те на прицеле...

— Да, в сарае. Что привозили сюда в последнее время? Ты ведь пионерка? Или ещё октябрёнок? Взрослым надо говорить правду, да? Ну?

— В сарае у нас всегда куры. Знаете, их если не пугать, то буйные яйца несут, хорошие.

Ох, как легко, хворостинкой, мог бы переломить детскую ручку Околелов.

— Я никого не величала так за свою жизнь, как своих курей, — продолжала Аня. — Не яйца, а битки. Нынче на Пасху даже в церковь носила: мне не жалко, а Богу в подарок.

Вера подалась к девочке: после такой наивной язвительности хрустнуть могли не только ручки, но и ножки. Наседкой укрыла Анечку, только что не клонув лейтенанта. А теперь ищите, что хотите.

Искали. Околелов в доме, сержант вызвал Веру в чулан.

— Как полицаи, — прошептала из сенец Анечка.

— Они скоро уедут.

Первым закончил греметь банками водитель. Стараясь не смотреть по сторонам, поддёргивая брюки, просучил ножками к машине. Лейтенант на ходу вытащил из сумки листок. Ткнул в бумагу пальцем, изогнув его так, что вздыбились волоски. Посмотрел на Веру:

— Пиши, что претензий не имеешь. Или имеешь?

Смотрел исподлобья, но по Вере — лишь бы побыстрее уехали. Вот-вот зайдут с огорода Васька с Егором...

Расписалась одной закорючкой, как в школьном дневнике: домашнее задание выполнили, а теперь катитесь прочь.

Катиться лейтенант не пожелал. Дошёл до «уазика» вальяжно, на сиденье усаживался долго, не

закрывая дверцу и не спуская глаз с Веры. И лишь когда Аня, нырнув в сарай, вынесла оттуда яйцо и понесла в подарок, махнул сержанту рукой — вперёд!

Вера бессильно опустила на ступени крыльца. Это конец. Позор на все Журинич, на весь район. Ведь никого другого — её обыскивали как последнюю воровку. Кому какое дело, что ради Оксаны, ради... В ужасе подхватилась, бросилась в дом. Деньги!

Матрац на кровати был сдвинут, и она, холодея, просунула под него руку. Заранее начиная голосить, не желая верить в свершившееся, стащила, перевернула все подстилки. Свёрток с деньгами исчез...

— Вера Сергеевна, Вера Сергеевна, — подскочила Анечка, но куда ей было удержать оседающее тело учительницы.

Даже вбежавший Егор не успел подхватить её. Прислонилась к железной ножке кровати, безучастно посмотрела на Егора, заглядывающего в комнату Ваську.

— Что?

— Деньги пропали.

Первым движением Егора было рвануться вслед за «уазиком», но Вера покачала головой:

— Они же тогда спросят, откуда столько...

Анечка, не до конца понимая намеки, требовательно заглядывала в глаза взрослым, но Вера просто прижала её к себе. Прильнувший ласковый комочек не давал потеряться, остаться одной в этом страшном, злом мире. Вот тебе и кукушкины слёзки...

С улицы коротко посигналили, Васька выскочил из хаты, и Егор проследил за ним в окно. Белая обшарпанная «буханка», некогда служившая автолавкой, прижалась к самой калитке, водитель не выходя из кабины выслушивал объяснения Василия. Дело явно касалось товара, и Егор, тронув за плечо Варю, вышел на улицу. Заговорщики умолкли, но он властно указал шустренькому, с бегающими глазками водителю:

— Чтобы духу твоего больше здесь не было.

— Могу и так, — кивнул тот, но выставил условие: — Только сначала надо вернуть товар. За него уплотчено.

Васька кивнул — вернуть надо. «Уплочено». Иначе хату спалят или на нож возьмут. Это же деньги...

— Милицейский уазик навстречу прошёл? — стал подчищать ситуацию Егор.

— Н...нет, — замялся водитель.

А для Егора будто мигнула красная лампочка: на месте Околелова он бы сам запустил «буханку» в виде живца.

— Не видел, — поторопился более надёжно заверить автолащик. — Может, он куда свернул?

«Свернул», — согласился Егор. Значит, Околелов ждёт в засаде. При этом и товар отдать надо, и не позволить лейтенанту взять водителя с поличным. А дорога в район одна. Хотя, если по буеракам...

— У нас товара не было и нет, — словно продиктовал для будущих показаний наученный собственным опытом отношения с милицией Егор. — Но я видел, где его сгрузили.

Кивнул Василию — в хату, ты вообще в этой ситуации ни при чём. Сам сдвинул водителя на место пассажира, а когда тот попытался возразить, сцепил пальцами его худое колено так, что тому показалось — сдавили горло. Замер. Но когда начал оглядываться в окно, не понимая, куда везут, Егор утвердился в своих опасениях окончательно. Дорога на кладбище, конечно, просматривается издалека, «буханка» слишком приметна, так что времени на раздумья нет. И то ли во благо, то ли на беду, где-то в отдалении пророкотал гром. В дождь по буеракам на «буханке» особо не поездишь, но и «уазик» — не бронетранспортёр...

— Выпрыгивай, — приказал Егор, затормозив рядом со рвом, в котором вместо силоса связанными скотчем пленными валялись тюки.

Дважды повторять не пришлось: вновь замершие над коленом тиски-пальцы сказали всё за себя, и водитель выскользнул наружу. Может, даже огляделся с намерением сбежать, но понял бессмысленность затеи и остался стоять у машины. Егор же торопливо раскрутил проволоку на ручках задней дверной распашонки. Пыли внутри салона легло на два пальца, но ломать веники и выметать, гонять её по кладбищу времени не имелось.

— Первый пошёл, — отдал команду Егор.

Сам замер. В разведке сначала видишь, потом слышишь, в конечном итоге — ощущаешь. Пока отметил поющих на кладбище соловьёв. Вчера у могилы отца не слышал. Значит, возвращается к жизни? Значит, и они, оставшиеся жить, ещё не в аду? Вдвоём управиться, конечно, быстрее, но до груза при свидетеле он касаться не станет. Дверцу придержит, но не более. А вот и на суземской дороге показалась ожидаемая зелёная блошка «уазика». Второй всё же пошёл! Значит, первому работать ещё быстрее!

Едва водитель вбросил последний тюк внутрь салона, Егор подтолкнул его следом, захлопнул дверцы, обернул проволоку вокруг ручек, впрыгнул в кабину.

— Держись! — крикнул через окошко в салон.

Врубил передачу, дал газ. Пыль не даст скрыть направление бегства, но лес скроет, не даст пропасть. Вот вляпались, дети неразумные...

Мчался вдоль кромки только-только проросшего кукурузного поля. Где там занятия по «наружке» с их требованием не оставлять ни одной зацепки, ни одной приметы? В городе — да, серым неприметным мышкам в толпе раздолье. Но останься серой мышкой в чистом поле... Только за пыльной завесой.

Пылил нещадно, вилея для этого колёсами. Терял, конечно, скорость, но зато и слепил идущий следом «уазик». Смирившийся со своей участью водитель болтался среди тюков, а Егор выстреливал взглядом опушку леса: куда уходить дальше? Вглубь, к чернобыльскому пятну? Но осталась ли туда дорога, не упруешься ли в тупик? Правее есть колея на Украину, скорее всего от контрабандистов, но там могут перехватить или даже расстрелять за неповиновение пограничники. Остаётся мчаться вдоль опушки в сторону Неруссы и партизанского аэродрома. Там уж точно вариантов много, запетляют...

Ударили первые капли дождя. Вот тебе и кукушкины слёзки. Вот и повернулась жизнь так, что его, разведзверя ГРУ, гоняют как зайца по родным просторам. Неужели теперь это его доля? Грустно и смешно. Вязкий, не заканчивающийся никак сон...

Лес стремительно приближался. Не имея возможности отбежать в сторону от мчавшейся на него «буханки», мог только дрожать каждым листочком. Егор, не увидев рва, отделявшего поле от леса, едва удержал руль. От удара в груди всё заныло, напомнив о больнице, но пережить ахи и вздохи времени не имелось. Помчался вдоль опушки, сметая ветвями орешника пыль с кузова. И если до этого дорогу милиции обозначал пыльный столб, то теперь следом за «буханкой» катилась примятая колея в траве. Легче было бросить машину, но зачем же давать в руки Околелову такой козырь, такие вещественные доказательства! Пусть потрудится, попрыгает по буеракам. Мелькнул в зеркальце и «уазик»: никуда не делся, особо не отстал.

— Прикройся тюками, — крикнул в салон на случай стрельбы.

Водитель опасность понял, принялся втискивать себя меж тюков с лопнувшими кое-где от тряски животами. Дождь уже барабанил по крыше, мутнил стекло. Скорость пришлось сбросить, чтобы не перелететь на очередной рытвине через собственную голову. Благо, ровно такие же условия ложились и на милицию.

К Неруссе подъехали при сплошном ливне. Старое русло, скрывая его неровности и торчавшие коряги, наполнялось водой, а потому казалось более удобным для движения. Что и требовалось доказать.

Выбрав более пологий спуск, Егор спустил машину вниз. Дно наполнялось течением, и на изгибе русла Егор остановился. Высунулся под ливень, высматривая преследователя. Околелов, умница, не отставал, спускался по его следам. А вот теперь, милая Нерусса, вспомни свои берега. Вернись в них окончательно, родная. Ты уже показала при прошлой грозе, что умеешь это делать. Но прежде дай вырваться самому.

— Держись, — опять не забыл про несчастного пассажира.

Вода прибывала, и, заставив задрожать «буханку» от вгоняемой в её душу мощи, он начал плавно отпускать сцепление. Разогнаться уже не получалось, но скорости всё же хватило вцепиться колёсами в берег, вскарабкаться на него прежде, чем захлебнуться непереваренной горючкой. Сзади сквозь шум грозы слышался не менее надсадный рёв «уазика», но не внятыг, а с завыванием: так пытаются вырваться из трясины. Да. Да! Пробуйте, голубчики. Ещё. Сильнее! Ведь каждый ваш нервный рывок — это закапывание в песок. Что и требовалось доказать.

Егор спрыгнул в мокрую траву. Вода в русле уже шумела, пенилась, набирая силу. Слышались

голоса милиционеров, но такие не утонут, такие ценой собственной жизни технику спасти не станут. Поэтому выберутся.

Развязал проволоку на дверце, отворил темницу. Она была сухой, водитель возлежал на мягких тюках — на такой плен грех обижаться.

— Едешь по берегу старого аэродрома. Оттуда выберешься.

— Понял, — кивнул пленник.

Под дождь ему, ясное дело, не хотелось, но непогода давала свободу. Не терпелось и оглядеться по сторонам, но сдержал любопытство. А Егор вышел на берег. Не без злорадства, но с усмешкой вслушался сквозь шум грозы к крикам посреди реки. Выплывай, Околелов. Но если ещё раз окажешься на пути...

Намерился зашагать прочь, но увидел в волнах разливающейся Неруссы клочки бумаги. Не сразу дошло, что это деньги. Пока раздумывал броситься за ними в воду, показался Околелов. Падая, захлёбываясь вместо того, чтобы спастись самому, он ненасытно хватал и хватал бумажки. Падал и хватал, падал и хватал...

День уже клонился к закату, когда Егор подошёл к селу. Земля после дождя парила. Подсыхала на плечах и одежда. Шутники-психологи учили не замёрзнуть в такую погоду: всего-то и надо представить, что плывёшь в Баренцевом море, толкая перед собой огромное бревно. Вспотеешь раньше, чем околеешь...

Около дома Веры увидел машину Васькиного крёстного.

Никита, увидев его, открыл дверцу.

— Привет! К тебе гости, — кивнул на дом, в который не пригласили.

Околелов не мог так быстро добраться до Суземки...

— Около станции тормознули, спросили Журиничи и тебя, — опять кивнул на дом Никита.

В окне кто-то мелькнул, но на крыльцо выходить никто не торопился. Но он тоже никуда не спешит. Только и в замкнутое пространство, как в ловушку, заходить не собирается.

Сел на лавку у крыльца. Красить бы надо, от покраски одни коричневые пятнышки остались. И почему-то начали зудеть шрамы от колумбийских кандалов. Чуют уже российские наручники?

В сенцах грянула щеколда, за спиной распахнулась входная дверь. Как всё же неприятно встречать неизвестность спиной...

2.

Внутри тюрем конвой ходит без оружия — у эзков не должно возникать не то что малейшей возможности, а даже соблазна завладеть им. Однако и резиновой дубинки охране достаточно, чтобы чувствовать безраздельную власть над человеком с заведёнными за спину руками.

— Сюда.

Егора палкой втолкнули в камеру с белым кафелем. Нос засвербило от запаха хлорки. В узкое толстое оконце воткнуты штыри, сваренные в решётку. Посреди потолка доживающая свой век без суда и следствия, приговоров и какого-либо права на амнистию тусклая от горя лампочка в 60 Ватт. В углу над столиком, заставляя его распознаться прутиками-ножками по полу, высилась лысая гора в медицинском халате. Медбрат равнодушно, словно снимая мерку для гроба, обвёл новичка взглядом, и лишь потом кивнул на длиннющую, сплюснутую, словно такса, лавочку — раздевайся.

— Алексей Новгородец? — неожиданно тонким голоском уточнил для порядка. Хотя чего спрашивать, случайные люди сюда не забредают. Но вот с голосом — воистину гора родила мышь...

— Я, — подтвердил Егор, снимая спортивный костюм.

— Догола. Ноги на ширину плеч, руки поднять.

Не сомневаясь, что даже писклявая его команда выполнена безоговорочно, медбрат взял в углу палку с намотанной, словно для факела, тряпкой. Сунул её в таз с белым раствором. Хлорка ударила в нос сильнее, и Егор, насколько мог, задержал дыхание. Отработанным движением медбрат ткнул мокрую швабру-факел Егору сначала под мышки, затем в пах.

— Свободен, — посчитав обязанности по дезинфекции выполненными, гора-кастрат поставила в списке напротив фамилии нового обитателя СИЗО жирный крест.

Это верно — каждый несёт по жизни свой...

— С собой и вперёд! — дубинка указала Егору на скрученные в углу постельные принадлежности.

В тюрьму, если кто не знает, надо приходиться со всем своим. Из казённого — только матрац с подушкой.

— Шевели лапами, — конвоир то ли отбивал дубинкой на спине Егора морзянку, то ли такт звучавшей у него в голове музыки. И явно не русской раздольной. И лишь за второй решёткой, разделяющей коридор на зоны, поставил точку: — Лицом к стене!

Егор упёрся лбом в тёмно-зелёную, пропахшую кислыми щами стену. Сколько же на ней шершавых слоёв краски!

Заскрежетал ключ. В камерах они не язычки квартирных замочков придавливают — двигают засовы. Задвигают, к сожалению, тоже.

— Первый пошёл!

Егор замер на пороге будущего жилища. Тупой резиновый конец дубинки вновь воткнулся в спину и стал вкручиваться, давить под лопатку. Интересно, если отобрать у конвоиров и её, на сколько этажей вниз они рухнут в собственных глазах? Или помочь это сделать? Тогда дави, ещё, ещё немного... А вот и точка Кадочникова — легендарного рукопашника, мизинцем валившего противника именно в миг, когда теряется равновесие...

Егор резко повернулся. Конвоир, потеряв опору, едва не влетел в камеру. Но Егор шагнул туда сам, заполняя собой теперь уже личную территорию. Развернулся и не без усмешки посмотрел на охранника: попробуешь зайти в гости?

Заходить запрещалось, но дверь захлопнулась так, что сомнений не оставалось: новой встречи долго ждать не придётся! И уже на другой территории.

— С прибытием, — поднялся с дальней угловой кровати невзрачный худой кренделёк, мышкой под венником ожидавший развязки. — Милости прошу до нашей до хаты.

Егор огляделся. За синенькой занавесочкой параша, вдоль стен три свободные кровати. Стол. Высоко над потолком узкая прорубь для оконца, пытавшегося дотянуться до неба. Однако свет в камеру большей частью просачивается сквозь мутное, неразбиваемое оконце из коридора.

Не глядя на соседа, Егор бросил поклажу на кровать в противоположном углу. Раскатав комковатый от старости матрац, лёг, забросив руки за голову. Конвоир прав — первый пошёл! Кстати, так говорят и во время парашютных прыжков...

— И что шьют-то? — не отставал сосед, бдительно оставаясь на своей территории,

— То дело следователя, — не стал вдаваться в объяснения Егор. Демонстративно отвернулся к стене. Сейчас бы и в самом деле поспать, сон лучше любых лекарств и психологов снимает напряжение...

— А вертухай чего пристебался?

В тюрьме ты ещё, оказывается, не принадлежишь и себе.

Кренделька болтало около кровати, оттуда же он и поглядывал на новичка. Вздёрнутый носик, потащивший за собой к переносице и верхнюю губу. В таких случаях обычно блестят, как у хомячка, зубы, но свои сиделец съел, видимо, вместе с тюремной баландой. Но тогда с его опытом отсидок можно понять, что Егору не до разговоров.

Однако натура у того брала верх:

— А статья-то какая?

— Ты мне что — прокурор в суде? — резко встал Егор. Сосед, наоборот, плюхнулся на кровать от неожиданного рыка. Вот и сиди! В этих стенах не исповедуются, а кто и с чем заходит, нужным людям известно заранее.

Неловкость снял шум в соседней камере и крики охранников.

— Выходить!.. Вдоль стены!.. Не смотреть!

Задвигались засовы, по решётке, как по клавишам, прошлись для устрашения дубинками. Повернулся ключ и в двери камеры Егора. Она тяжело распахнулась, а внутрь втокнули мужчину лет сорока. Тот посчитал нужным сначала стукнуть по ней ногой, и только после этого оглядел сокамерников. На его лице в первую очередь выделялся грубо обточенный орлиный нос с хищными крыльями-ноздрями. Мочки ушей не имели закруглений, и они долго переходили в щёки — едва ли не у самой шеи. Глаза смотрели властно, под лоб осталось всего три-четыре узких, словно

из-под тетради по чистописанию, линейки-морщины. Ученик наверняка был троечником, потому что сверху линеек висела клякса чёрной чёлки.

— Что там? — не без тревоги поинтересовался кренделёк. Оправдывая любопытство, тут же попытался и сам угадать: — Побуянили, небось?

Расселять камеры, в которых пошёл мордобой — задача что в СИЗО, что на зоне первоочередная. И мельтешить с этим знанием...

Новый сосед и Егор одновременно посмотрели на беззубого хомячка: там, где трое, уже невольно начинают распределяться симпатии. Кренделёк её явно не вызывал, и новичок, усевшись за стол, уставился на Егора. Тот хотя и не стал вновь демонстративно разваливаться на койке, но и не поспешил подсаживаться к столу. Лишь кивнули друг другу, здороваясь:

— Жора.

— Алексей, — приподнял руку Егор.

— Я — Вася. Вася я, — вклинился остающийся за бортом хомячок, в своей торопливости наверняка тут же забыв имена соседей. Но ведь важнее, чтобы знали и помнили тебя...

Жора прошёл к свободной койке, стукнул по ней ногой, проверяя на устойчивость. Егор молча бросил ему свою подушку. Подарок принял как должное, подушку взбили, устроили под голову. Вася суетился, не зная, как проявить и свою учтивость, но Жора отвернулся к стене. Повторяя его, то же сделал и Егор. Вдруг удивился ещё одной страничке в познаваемой тюремной азбуке: подумать о том, что с ним случилось в последние дни, оказалось возможным лишь в затхлом каменном мешке...

3.

А вспоминалось с момента, когда на своём деревенском крыльце рядом с разбитыми, искорёженными на Неруссе туфлями Егора замерли незнакомые остроносые и лакированные. Справа. Слева, чиркнув ступеньку, сошли на землю армейские туфли со сбитым носком. Военком! Но почему он? Хотя всё правильно, человека военного если искать, то только через военкомат. Попробовать угадать, кто? А надо? Через секунду всё равно сами проявятся. А лично он никуда не спешит.

Выдержку оценили, и тогда на плечи легли руки. Одна женская, другая мужская. Ещё более интересный расклад. Что дальше? Прозвучал бисерный топоток босых пяток племянницы. Анютке не до таинственности, сразу уселась у колен. В руке шоколадка. Недруги детям их не принесут. Хотя могут те, кто желает войти в доверие под чужим флагом. Через детей в том числе. Так учил «капраз», начальник их направления в ГРУ...

Невероятная догадка подхватила Егора, и «Крокодил» едва успел отпрыгнуть от него в своих лакированных туфлях. Сзади навалились Черёмухин и Оля! Откуда? Братцы, ведь вы остались в прошлой жизни!..

— Проходите к столу, — позвала из сенец Вера.

В радостном возбуждении первых минут Егор не заметил её слишком усердного, подчёркнуто уважительного ухаживания за Ольгой. И в красный угол за столом усадила, и первой борща — хоть и половину половника, чтобы на всех хватило, — налила, и ложку лишний раз о полотенце вытерла.

— Не понимаю, — продолжал теревить друзей Егор, однако те упорно отмалчивались за общим столом.

Ну, и ладно. Даже если и приехали не проведать, не поинтересоваться здоровьем, а попросить лишь совета для каких-то неведомых своих нужд — это всё равно счастье...

Со скорым обедом, не рассчитанным на ораву, расквитались быстро. Аннушка, ошастливленная целой сумкой подарков, одной рукой на ощупь пыталась узнать в ней лакомства, другой пригласивала причёску перед кавалерами. Женька с Оксаной загуляли где-то после «Кукушкиных слёзок», Василий же, демонстрируя хозяйственность, загремел ведрами и ушёл к колодцу. Вера, уже понимая, что гости приехали за Егором, и почти не сомневаясь, что тот поскачет за ними обратно в Москву, закрутилась с уборкой стола. Оля принялась помогать, и только в этот момент капитан первого ранга хлопнул Егора по плечу — пойдём покурим. Не забыл захватить с собой кожаную папку, с которой не расставался даже за обеденным столом. Значит, все предложения и просьбы в ней. Странно, что она не из кожи крокодила — любил командир бывать в экзотических странах...

Облокотились на штакетник, на который Вера вывесила для просушки стеклянные банки.

— Красиво тут у вас.

— Николай Семёнович, можно конкретнее, — разрешил Егор приступить к делу без дальних подступов.

«Кап-раз» упрямитесь не стал:

— На данный момент я назначен начальником специального оперативного подразделения МВД России. Практически заново создаются два направления: ШГС — штатных гласных сотрудников, и НГС — негласников. Особое внимание, конечно же, «внедренцам».

— Это... — Егор невольно выпрямился. Слово из оперативного лексикона приятно обласкало слух. Так гончая «становится на хвост», когда начинает брать верхний след...

— Внедрение агентов ко всяким плохим дядькам. Под чужими именами-легендами. Но под конкретные задачи. Через тюрьмы в том числе. Ты нам нужен. Под фальшь, — буднично сообщил «кап-раз», проверяя на прочность попавшую под локоть штaketину. Ещё постоит...

— Это... — вновь попросил расшифровать термин Егор. Что для профессионала обыденность, человеку стороннему режет слух.

— В Россию хлынули миллионы фальшивых долларов. Выходим на канал поставки...

Егор кивнул, останавливая командира. Тот и так раскрылся более, чем возможно перед человеком, который ещё не сказал «да» на службу. А он и не скажет, потому что не сможет оставить племянников. Не говоря уже о Вере с больной Оксанкой.

— Я не просто уволен, Николай Семёнович, с меня сорвали погоны, — отгородился первым же частоколом из прошлого Егор. Но и не без тайного ожидания: «кап-раз» наверняка об этом знал и, тем не менее, приехал. Почему? Что изменилось?

Дошла, наконец, очередь и до заветной папки, столь непривычно смотревшейся в руках «Крокодила». Вжикнул замок. Бумаги внутри были сложены в нужной последовательности, потому что «кап-раз» стал подавать их, не глядя.

— Это твой рапорт с просьбой восстановить на службе. По суду. Да-да. И не смотри так — восстановят. Вот признание юридического департамента налоговой полиции о том, что по твоему делу допущены нарушения. Оно ляжет на стол судьи и будет удовлетворено.

Листочки были отпечатаны, не имелось только подписей и печатей...

— Это — проект приказа о переводе тебя в мой отдел. Служба — день за три.

День за шесть идёт в плену. День за полтора — при службе в ВДВ и на оперативной работе, сопряжённой с риском. День за три остаются на войну...

— Это, — продолжал истончать стопку командир, — о присвоении тебе очередного воинского звания «майор», поскольку сроки вышли месяц назад. Эти три бумаги — выписки финансового отдела. Первая — о выплате двадцати окладов, которые ты должен был получить, если бы с тобой не разрывали контракт. Вторая — зарплата за вынужденные прогулы, вместе с премиями, между прочим. Ну, и в дополнение — небольшая, но приятная компенсация за моральный ущерб по суду. Сейчас это модно. Ты чего? Не нужны деньги? — «Крокодил» остановился перед последним листком, увидев, как стала выворачиваться пропеллером штaketина в руках собеседника.

— Как сказать... Где вы были хотя бы вчера?

— Рассказать, сколько согласований прошли твои бумаги?

— Могу представить. Просто... туфли остались бы целы.

— Здесь на тысячу новых. Тебе и всем твоим родным и близким.

На крыльце грянула дверь Вера, понесла в оставшееся без дел поросёныче корыто остатки со стола для курей: после смерти отца Егор сам перенёс сюда половину выводка. Фартук сбит на бок, волосы, словно специально, растрёпаны. В противовес ухоженной Оле демонстрирует золушку-простушку? Ещё взбрыкнёт и деньги не возьмёт, даже если он согласится на условия командира.

— Подумай. Поброжу тут, — «Крокодил» показал на двор, но ушёл на крыльцо, к вышедшим вслед за Верой попутчикам.

Военком прошёл к машине, по пути ободряюще хлопнув Егора по плечу — нормальные мужики к тебе приехали, доверяй им. Оля хотела податься к налетевшим на еду курам, но «кап-раз» остепенил её, почуяв женскую ревность. Занялись Анной, которая хозяйкой вывела из дома Черёмухина.

— А после «Кукушкиных слёзок» из сильных праздников идёт Казанская. Она не вредная, потому что после обеда уже можно работать.

— Где ж про такое рассказывают? В школе?

— Не, в школе уроки. Бабушка. А в классе мне перед каникулами учительница дала задание: продолжите, Анна Буерашина, пословицу: «У кого что болит, тот...» Я, конечно, ответила, что «...тот от того и лечится». А в классе засмеялись и сказали, что неправильно...

Всё правильно, Аннушка. У тебя-то как раз всё нормально с логикой. А тут...

Егор огляделся, словно выискивая ответ на деревенской улочке. Катил тележку, опираясь на неё, Сеня Шанечкин. В детстве потешались над ним, пугая неожиданным криком и смеясь, когда тот падал. Хотя знали, что в войну контузило его близким взрывом и потому он так пуглив. Бессердечные всё же были. Навстречу Сене прожигала пространство Алалылиха. Здоровается с ним, а глаза — на военкомовскую «Волгу». Зато на пруду соревнуются в многоголосице лягушки с соловьями. Где-то вдали-вдали, может, даже на украинской стороне, обозначилась кукушка. Вспомнилась деревенская примета: при первой кукушке обязательно в кармане должна быть денежка, иначе весь год прокукуешь нищим.

Вернулся к листкам. Ещё вчера он мог спокойно сделать из них бумажные кораблики и запустить по Неруссе. Сегодня в них была судьба Оксаны, которой предстояла операция. И кукушка продолжает куковать... Конечно же, Журиничи продолжают жить своей жизнью независимо от того, останется он здесь или снова на долгие годы исчезнет.

Оглянулся на крыльцо. Там сделали вид, что считают ворон в небе. Из хлева вышла Вера. Намекалась прошмыгнуть в дом через задние двери, отрезая себя окончательно от московских проблем, но Егор окликнул:

— Вера. Поддай, пожалуйста, ручку.

Юрка Черёмухин в карман, Оля в сумочку — друзья поторопились оказать личную услугу. Но мудрый «Крокодил», у которого ручка лежала на крокодиле-папке, не дёрнулся, и подчинённые вернулись к журиничским воронам. И впрямь: никто из них не знал, чем жил все эти месяцы после увольнения со службы Егор, какие у него отношения с учительницей, снимавшей угол в доме брата. А Оле, конечно, не следовало приезжать в любом случае...

Вера не выходила из дома долго, хотя авторучка у учительницы всегда под рукой. И даже появившись на крыльцо, попробовала передать её через Черёмухина. Тот, однако, стал усиленно протирать очки, не замечая просьбы.

— Спасибо, — поблагодарил Егор. Зацепил руку Веры мизинцем, задерживая рядом. — Вот, предлагают... здесь всё хорошо.

Расписался длинным росчерком на первом листке. И расправил плечи. Вскинул голову. Улыбнулся пусть и закатному, но солнцу. Решилась проблема, которую он не мог осилить для любимой женщины с платной операцией на сердце младшей сестрёнке. Подобрал голос, чтобы даже единственную просьбу озвучить командиру так, словно сам отдавал распоряжения:

— Мне нужно три дня. В четверг я в Москве.

Московская тройка не сдержала улыбок, Аннушка забыла закрыть рот. У Веры задрожали руки, которые она поторопилась спрятать под передник. Ничего, всё наладится. Теперь всё наладится! Он никуда не исчезает.

Никуда не исчез и Околелов!

Три милицейских «уазика» — возможно, все имевшиеся в наличии в Суземке, расшвыривая с дороги грязь и курей, угорело неслись к дому Веры. Едва не расшибив друг о друга решётчатые лбы, баранами упёрлись в единственную калитку в палисаднике. Из распахнутых дверок выскочили экипажи, проткнули стволы автоматов между штакетин.

Какая всё же красота в правильной военной тактике!

И только после этого настал черёд явить себя миру Околелову. И не беда, что в разнокалиберной одежде — короткой куртке, длинных брюках, фуражке старого образца, рубашке без галстука. Скорее всего, что нашли по шкапам во всём отделении, то и наделось после купания в Неруссе. Но ведь у человека при власти важны права, а не обязанности! А своё безраздельное господство над миром и Журиничами участковый Околелов нёс на мушке взведённого пистолета.

Незнакомый народ на крыльце смутил лейтенанта мало. Лишь для придания решительности распахнул калитку так, что зазвенели нанизанные на штакетник стеклянные банки.

— Гражданин Буерашин, — с ходу направился он к первопричине своих несчастий.

С крыльца вдруг пронзительно свистнул «кап-раз». И если это стало неожиданностью даже для Егора, то что говорить об Околелове, словно споткнувшемся на десятилетиями утоптанном хозяевами и скотиной дворе. Но всё верно, в ступор противник вводится именно неожиданными поступками. И «Крокодил», выхватив у Анютки леденец на палочке, уже протягивал его разнокалиберному гостю:

— Будешь?

Он переключал внимание на себя, тупил острие милицейского гнева со взведённым курком пистолета о свою улыбку. Вера, как ни отнимались ноги от происходящего, пятилась к хлеву — запереться там и не выходить ни под каким предлогом: лучше сжечь себя в нём, чем сгореть от позора за контрабанду на людях. Но ведь деньги на операцию нужны были... Со страхом наблюдала и Аня, но за испарившейся из рук сосалкой: неужели она и впрямь уйдёт к другому?

— А ты почему ещё не младший лейтенант? — продолжал вязать ноги Околелову дурацкими вопросами «Крокодил», возвращая малышке конфету.

Лейтенант мог предположить, что у дома Буерашина собрались, скорее всего, его братки по контрабанде, и теперь в голове вертелось, как повязать всех и получить-таки очередную звёздочку. Капитана, а не младшего лейтенанта. Какие бы покровители ни были у «контрабасистов», но они ему незнакомы, а значит, пришлые и не в доле. За его же спиной целый взвод. И он сам неприкосновенен, потому как при исполнении...

— Ваши документы, — поднял пистолет Околелов на говорливого щёголя.

«Кап-раз» охотно вытащил чёрное в коже удостоверение с блямбой герба России. Распахнул его на манер американских шерифов, являя ламинированную, всю в печатях и переливающихся голограммах, внутренность. Черёмухин и Оля, повторяя командира, также распахнули свои корочки, и все трое пошли на маленький пистолетик, на ошетилившийся автоматами штaketник, на три упёршихся баранами «уазика».

Глаза Околелова перебегали с одного удостоверения на другое, в глаза бросались слова «Москва», «центральный аппарат», полковничьи звания, фотографии в форме тех, кто надвигался сейчас на него. Топорщившиеся на пальцах волоски, только что не виляя хвостами, податливо улеглись на толстые колбаски, обнимавшие рукоять пистолета. Почему-то начали спадать брюки, и лейтенанту пришлось поддерживать их локтями. Сослуживцы, не понимая ситуации, нервничали за оградой, и, успокаивая их, Егор присел на чурбак, приспособленный под таз для постирушек. Устало размял спину. Вроде тоже для отвлечения внимания, а на деле подбирая мышцы: пантера всегда прыгает за секунду до выстрела...

— Документы! — вдруг заревел на Околелова «кап-раз».

Тот, забыв про пистолет, полез вместе с ним в карман. В ту же минуту поняв, что в чужих одеждах ничего удостоверяющего его личность нет, повернулся за подтверждением к подчинённым. Однако было поздно.

— Вы! — зарычал на них «Крокодил». Отодвинув с дороги лейтенанта, как щит, выставил непонятное удостоверение перед сошедшимися на нём стволами автоматов. — Слушать меня! Я, как ваш старший начальник, очень бы хотел, чтобы подобное рвение в службе вы проявляли по отношению к реальным бандитам. А теперь хочу, чтобы вы посмотрели и запомнили на всю жизнь вот этого доброго человека, который просто пожалел вас, никого не угробив, — «кап-раз» ткнул пальцем в Егора.

Милиционеры недоверчиво перевели взгляды на сгорбленного, замызганного деревенского мужичка, перед этим загнавшего в реку машину вместе с участковым. Егор приподнял взгляд на командира, и тот действительно кивнул: да! Не знаю, что и как, но покажи-ка, сынку, чему обучен. Кусочек. Не подведи командира. И закрой раз и навсегда тему с районными защитниками, чтобы воистину навсегда перестали смотреть в твою сторону. Да и самому пора вспомнить, какой ты есть на самом деле. И что не твоё дело протирать штаны на деревенских завалинках.

Первый пошёл!

С каким наслаждением, в какую охотку Егор, выхватив из-под себя чурбак, с разворота вбил в верхний край лаги. Та вырвалась из стояка вместе с ржавыми гвоздями, и Егор дёрнул изгородь на себя. Сложившиеся штaketины придавили стволы автоматов, и пока милиционеры в замешательстве дёргали попавшее в плен оружие, Егор, по пути сорвав посаженные на кол банки, хлопнул

ими над головами милиционеров, заставив тех укрываться от мельчайших осколков. Этих секунд хватило сбросить разбитые туфли и взвиться в высоком прыжке. Так работают в Главном разведывательном управлении по головам противника «верхолазы».

Околелову досталось пяткой в лоб. Фуражка, пистолет и участковый полетели в разные стороны, и хотя оружие эффектно поймать не удалось, всё равно через секунду оно, подхваченное с земли, уже упиралось в затылок лейтенанту, распластавшемуся рядом с корытом для свиней.

Хлопали крыльями взлетевшие на забор перепуганные куры. Звякнул леденец, упавший на ступени из открывшегося от изумления рта Аннушки. Крестилась Алалылиха, высматривая с бугра побоище. И бежал от колодца, расплёскивая воду, пропустивший самое интересное Васька.

Равнодушным остался лишь «Крокодил». Даже не оглянувшись на Егора, воспринимая его молниеносный рейд по штакетнику и головам суземцев хотя и как показную, но скучную, сто раз виденную тренировку, он подошёл к замершим милиционерам и тихо-тихо, устало-устало, но непрекословно-непререкаемо прошептал:

— Становись!

О, будьте благословенны, армейские команды! Убирающие разброд и шатания, сомнения и тревоги. Подчиняющие единому командиру волю и оружие. Делающие из толпы строй, из мужика — солдата. Даже военком, прихрамывая, вылез из машины и, как бы не со всеми, но рядом, стал в общую шеренгу.

— Смирно! — более грозно рявкнул Черёмухин, показывая бойцам, что перед ними начальник такого уровня, который может позволить себе лишь принимать рапорты. И едва милиционеры, стараясь не смотреть на всё ещё распластанного лейтенанта, подравнялись, доложил: — Товарищ полковник, личный состав подразделения милиции по вашему приказанию построен.

Команды «вольно» не последовало — следовало держать строй в напряжении, чтобы быстрее выветрились дурные мысли из голов. Зато Егор отпустил, наконец, лейтенанта. Однако тот не спешил вставать, не зная, занимать ли ему тоже место в строю или подальше от греха и «верхолаза» вообще не двигаться.

Зато бросилась к брату Аня, прошмыгнув мимо строя и залепетав тому на ухо о только что происшедшем на её глазах. Время от времени даже пыталась дрыгать ногой, повторяя приёмы. И только Вера в оцепенении смотрела на Егора, вытаскивающего из рукоятки пистолета магазин с патронами.

— Я доложу вашему руководству обо всём, что произошло здесь, лично, — то ли пригрозил, то ли снял с милиционеров ответственность «Крокодил». — По машинам!

Только служивый люд знает, с каким наслаждением можно сбежать из шеренги в тесноту и свалку под тентом. Как желанно самим «уазикам» пятиться от сломанного штакетника. Дёрнулся, наконец, и Околелов, боясь отстать от команды. Извиняющее закивал всем сразу и засеменял в спадающих брюках к машине.

— Как-то так! — извинился перед Егором и командир за цирк с милицией. Посмотрел на часы: — У нас поезд через три часа. Проводишь?

«Да!» — попросила Оля.

«Как хочешь», — отвернулась Вера.

— Через три дня я в Москве, — Егор повёл руками на хозяйство: мне бы теперь успеть справиться с домашними делами.

— Тогда...

Командир подозвал Олю, кивнул ей на сумочку. Та распахнула её охотно, словно желая быстрее освободиться от выпирающего из неё груза.

— Тогда вот. Брали под расчёт, — Николай Семёнович кивнул на пачки денег, теснившиеся в сумочке. Значит, Оля ехала кассиром... — Это чтобы тебе сто раз не мотаться. Но расписаться надо, — извлёк из своей папки последний листок. Вот тут пригодилась и его личная авторучка.

День, начавшийся с грозы и с погони Околелова, засверкал радугой...

— Дядя Егорка, а твои друзья ещё приедут к нам? — дёрнув за рукав, вывела Егора из оцепенения Аня, когда «Волга» военкома, вальяжно прокачав широкими бёдрами, исчезла за околицей вместе с гостями.

— Обязательно. Но сначала мне надо будет съездить к ним самому...

Поэзия

Наталья Вареник

Окончила Литературный Институт им. А.М. Горького, факультет поэзии. С 1989 года член Национального Союза писателей Украины. Автор четырёх книг, вышедших в Украине и России: «Мальчишка с моими глазами», «Душе нельзя одной», «Стихи о любви», «Эмигранты» (избранное, проза). В разные годы публиковалась в «Литературной газете», «Комсомольской правде», журналах «Юность», «Радуга», «Смена», «Студенческий меридиан», «Москва», «Молодая гвардия» и многих других. Работает в центральной прессе. Руководитель литературной студии «Писатель в интернет-пространстве». Администратор сайта <http://www.pisateli.co.ua>.

Лауреат литературных премий им. В. Сосюры, Т. Снежиной, «Славянские Традиции», «Золотое перо Руси» — 2013 и 2014. Удостоена первой премии конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии» — 2012 в номинации ООН и почётного знака «Писательское Братство». Член Президиума Всемирного форума духовной культуры (Астана, Казахстан). Произведения автора переводятся на французский, белорусский, английский, арабский и другие языки.

«Эхо войны»

* * *

Как страшно жить в стране, где «Ураганом»
Сметают память, жизни, города...
Весь мир застыл, припав к телеэкранам...
К нам на порог опять пришла беда.

О, Господи, за что мне видеть это –
Как дети умирают на войне,
И фосфорные бомбы, как кометы
Летят не в Украину — в сердце мне.

Бесмысленно, жестоко и нелепо
За гранью доброты, за гранью зла
Война пронзила мой оазис лета,
Мой хрупкий мир с лица земли снесла.

Вхожу в эфир, и веря и не веря,
И то ли брежу, то ли наяву
Смотрю в глаза невиданному Зверю,
В его Геенне Огненной плыву...

А он идёт, прицельно церкви руша,
Порвав меж нами родственную нить,
Раствив народ, повергнув в хаос души...
И как его блицкриг остановить?

В руинах, в толпах беженцев кричащих,
В воронках бомб, сквозь стелющийся дым,
Мне сорок первый видится всё чаще,
В сердца стучащий воинам седым.

И чудится мне в каждом горьком слове,
В раскатах обгоревшей тишины:
«У нас одна и та же группа крови,
Проливой на алтарь Святой войны...»

Обросли фронтовые воронки травой,
Ветераны — работой, детьми, тишиной.
Словно лунным пейзажем окопов и рвов
Поколение целое окружено.
Их всё меньше, всё ближе друг другу они.
В сновидениях вспышки ракет — как сигнал...
И уносят от нас парашютики-дни
Их слова, их глаза — в никуда, навсегда.
В сорок пятом они, как из космоса, шли.
Шли седые, как пена, с горящих высот,
Отсыпаясь в провалах попутных машин
За последний, победный, безумный бросок.
Обжигали родных солнцепёками губ,
Застывали под дверью, не смея звонить...
Были старше они уцелевших в тылу
На четыре столетия прошедшей войны.
Обжигая пространство, пульсирует Век.
Снова выстрел, ракета готова рвануть...
И не ведая зла, побежит по траве,
Как по минному полю, доверчивый внук.

* * *

В ромашках — скрипка. Рядом, на траве
Лежит беловолосый человек...
В руке — смычок, натянута струна...
Июньский полдень замер. Тишина
Ещё звучит мелодией его.
Ещё звенит, но больше ничего –
Ни песен, ни стихов, ни слов, ни нот...
Июньский полдень, сорок первый год.

* * *

Мальчишка, тоненький, как прутик,
 Уже который раз на дню
 Дотошно деду руку крутит
 И тянет к вечному Огню.
 И дед, огромный и сутулый,
 Телохранитель малыша
 Встаёт с расшатанного стула
 И надевает тёплый шарф...
 Так, по знакомому маршруту,
 Едва касаясь белых плит,
 В берете больше парашюта
 Мальчишка тоненький летит,
 Игрой забавной увлечённый,
 Слога читая нараспев
 На мраморной, иссиня-чёрной,
 Цветами убранной доске:
 Ка-лад-зе, Сан-ни-ков, Е-го-ров,
 А-ли-ев, Рад-чен-ко, Бра-тунь...
 Районный центр. Старинный город.
 Сорок четвёртый год, июнь.
 Мир озарён Девятым Мая,
 А мальчик с радугой в глазах
 Читает вслух, не понимая,
 Что рядом — дедушка в слезах...

* * *

Не все известны имена
 Планете густонаселённой.
 С собою унесла война
 Не только двадцать миллионов.
 По лестнице гранитных плит
 Шагнули к мраморным солдатам
 Не только те, кто был убит –
 Кто не рождён был в сорок пятом.
 Источник боли не иссяк
 На заживающей планете –
 Как обелиск, дверной косяк
 Без детских, лесенкой, отметин.
 Дом, не обжитый малышом,
 Не знавший запаха пелёнок...
 До Дня Победы не дошёл
 Не появившийся ребёнок.
 Земной не ведая беды,
 Он «Мама!» радостно лепечет,
 В объятья к женщинам седым
 Все семьдесят бежит навстречу!

* * *

Кинохроника. Память.
 Телевизор. Война.
 Надо выбежать в поле
 И упасть на колени...
 Надо чутко застыть,
 Попытавшись поймать
 В лепестках тишины
 Голоса поколений.
 Это сила Земли.
 Наконечник стрелы.
 Проржавевшая каска.
 Пустая обойма...
 Это губы, зажавшие
 Крепко полынь
 И молчание вечера,
 Полное боли.

* * *

Тихо-тихо шёл снег по городу,
 Тихо шёл человек по снегу,
 Тихо — словно сдавило горло.
 Тихо — словно во сне было.
 Он сошёл по ступенькам белым,
 Весь седой, весь большой, заснеженный...
 Это было или же не было –
 В нашем мире такая нежность?
 И кричал белый свет без памяти,
 И врывался снег под ресницы...
 Он споткнулся, взмахнул руками,
 Как большая белая птица.
 Сорок первый. Тыл. О войне
 Говорили, как о безумии...
 Старый доктор вышел под снег.
 Ночью первый раненый умер.

* * *

Вы слышите? Орган из голосов
 Вернувшихся, дождавшихся, доживших...
 Он словно гул далёкий, еле слышен,
 И как весенний воздух, невесом.
 Вы слышите? Всплывая из груди,
 Рождаясь где-то в колоколе горла,
 Встаёт, звенящий он, над головою,
 И ширится, и бьётся, и гудит...
 И вспыхивая, огненный салют
 Прочерчивает над Планетой криво,
 И захлебнувшись в молчаливом крике
 Живые и погибшие встают.

* * *

Я не верю, что он рукотворен:
Обожжешься — попробуй, тронь!
Из земли, словно жизни корень,
Вырастает Вечный Огонь.
Видно, облик земной утратив,
Негасимые даже днём,
Наши деды, отцы и братья
Светят людям живым огнём!

* * *

Называть ветеранами их не с руки,
Ну, какие они ветераны?
У Большого театра стоят пареньки
В орденах, поседевшие рано...
Словно два поколения вместе свела
Их судьба, их звезда фронтовая.
В сорок пятом здесь площадь вот так же цвела,
Захлебнувшись букетами мая.
Пусть ребята прожили всего только треть
Тех годов, что седые мужчины,
Но они-то приходят сюда не смотреть —
Есть у них посерьёзней причина.
Молодые приходят с невестой, женой,
А со старшими — внук или правнук.
Здесь отсчёт человеческой жизни иной,
И они в разговоре — на равных.
Здесь Рейхстаг и безвестный афганский киш-
лак,
И друзей незабытые смерти...
Скажут — время другое, но это не так,
Не во времени дело, поверьте!

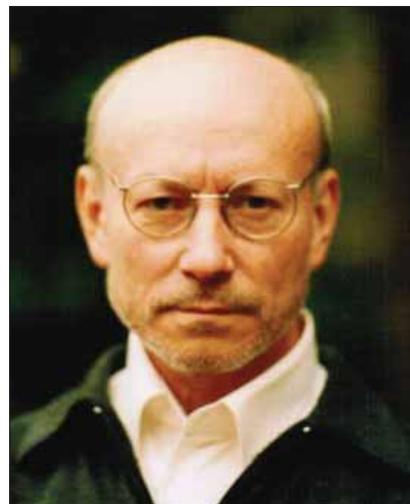
* * *

Мы бежали и падали
Знойным солнечным днём,
Наши первые ссадины
Прижигая огнём...
Кто-то плакал, а кто-то
Неумело ругнулся...
Мы делились на роты
Прямо с первого курса.
Мы тянули билеты
И сдавали зачёты,
Но географы где-то
Перепутали что-то:
Мы на картах умели
Отыскать параллели,
Но окоп под Можайском
Отыскать не сумели...
Мы искали на картах
Страстно белые пятна.
Нас тянули вокзалы
И швыряли обратно,
С книжной полкой венчали
И с учебником мудрым...
Нам не спится ночами
Где-то рядом друг с другом.
И нескладно всё вышло
В нашей маленькой жизни —
На расстрелянных вишнях
Пули подписи выжгли,
Прозвенели тревожно
По мальчишеской коже,
Подписав аттестаты
Нашей зрелости сложной...



Юрий СЕРБ

Лебедев Георгий Александрович (Юрий Серб) родился в Ровенской области (УССР) в 1944 году. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Публикует прозу с 1989 года, стихи — с 2013 года. На XIV съезде СП России утверждён членом Высшего творческого совета. Живёт в Санкт-Петербурге.



ТОПОТ, ХОХОТ И ТЬМА

Роман.

(Окончание. Начало в № 3(9)-15)

24.

Уэйн Брэдшоу предложил Вершману пойти на встречу с заезжей звездой — модным писателем-иллюзионистом Каку Жервезу.

— А кто он, откуда? — спросил озадаченный Вершман.

— Он бразилец, но у него миллионы последователей в мире, как у вашего Толстого сто лет назад.

— Начнём с того, что нет у меня никакого Толстого. Я американец.

— Прости! Конечно, ты американец. А мой предок, Уэйн Брэдшоу Третий, был поклонником Толстого.

— Постой, так ты... теперь Уэйн Брэдшоу...

— ...Шестой, но я не придаю особого значения...

— Всё-таки снимаю шляпу, сэр! — не без фиглярства приветствовал его Вершман. — И ваше любезное приглашение принимаю.

— Жди, подвалю на тачке — где-то полчаса, с поправкой на «пробки»!

— Дружище, метро надёжнее!

— Метро — это единственное, что я не люблю в России! Жди!

Вершман подумал, что американскому аристократу не пристало столь бурно изъясняться в любви к России — за вычетом одного лишь метро, но отложил это соображение в свой записник.

— Однако ты быстро! — сказал он Уэйну, посмотрев на часы.

— У меня, помимо дипномеров, ещё и «мигалка»! Совсем недорогая услуга. Ну, и повезло в дороге, само собой...

— Будь добр, Уэйн, объясни подробнее твой интерес к этому писателю, — попросил Вершман приятеля уже в лифте.

— Мне он интересен как пример харизматического лидерства.

«Тогда и мне он интересен, — подумал Вершман. — Но харизма — такая вещь, которую нигде не купишь...»

С этой невесёлой констатацией он сделал хорошую мину и спросил Уэйна, входит ли подобный интерес в его круг обязанностей.

Уэйн ответил, уже сев за руль своей машины.

— Я, дружище, веру ищу! А этот Каку предлагает какую-то веру. И потому хочу понять, надолго ли он в списках бестселлеров.

— А ты не читал его, что ли?

- Но много разного слышал. А тут такая возможность — оценить парня вживую.
- Куда мы едем? — спросил Вершман.
- В клуб-магазин «Белые облака». Это на Покровке.
- Я не знаю, что такое Покровка, — признался Вершман.
- Это поправимо. Покровка, Маросейка и Солянка — ты вслушайся!.. Магазин эзотерической литературы и духовных практик, если я слова не перепутал.
- А... — сказал Вершман, и акции всего мероприятия полетели вниз.
- Этот Каку уже повидался с президентом России... Собственно, по его приглашению он тут.
- Оу! — сказал Вершман, и акции подскочили вверх.
- «Если Уэйн занят поисками веры, то ему опасно оставаться в России, — подумал он. — Сказать ему, не сказать?»
- Тогда скажи мне, Уэйн, этот Каку основал религию?.. Как Рон Хаббард?
- Хороший вопрос. Оба, кстати, писатели. Но Каку остаётся на уровне Толстого, он ничего формально не регистрировал. Хотя образ поддерживает демонический... Имеет больше дюжины всяких наград, одну даже Клинтон ему вручал.
- Хиллари? Или Билл?
- Лично Билл, уже будучи отставным.
- Тогда это не ахти что. Он Монике вручал, будучи вполне при должности!
- Вдвоём с удовольствием поржали. И приехали...

Проповедник новой веры и автор дюжины бестселлеров прибыл в «Белые облака» с часовым опозданием, вынуждая толпу своих адептов, собравшихся внутри магазина, делать не всегда осмысленные покупки. Не попавшие внутрь поклонники теснились у входа, зажимая под мышкой ту или иную книгу чародея.

Вершман использовал это время, почитывая разные места из книг маэстро, штабелированных во внутреннем дворике.

Клуб эзотерики был битком набит хиппиобразными и человекообразными, кришнаитами и буддистами, иллюминатами и «воинами света» (так назывался один из бестселлеров). Вершман чувствовал себя обязанным радоваться и восхищаться президентом «страны Эс» (кодовое название в переписке с Топэмэксом).

- Ты чему радуешься? — спросил его Брэдшоу.
- Я думаю, что в России это надолго!
- Эзотерику имеешь в виду?
- Так точно.
- Вот я и хочу убедиться. Не ради России, а для себя. Как тебе его тексты?
- Возможно, автор сумеет меня разубедить, но пока что... нарочито скромная самонадеянность, нормальный синтаксис и фантазийное «многознание».
- Тогда надо выпить, чтобы вечер не пропал. Блэк лейбл!
- Согласен! — ответил Вершман. — И да откроется у нас третий глаз!

Едва оказались перед ними два «хайболла», как раздался шум, восторженный ропот, качнулась толпа — и сам ожидаемый светоч, с неподражаемой улыбкой, в сопровождении свиты, приветствуя толпу рукой, воздетой в облака, прошёл к беседке, заполненной его литературой. Он был в чёрной рубашке, чёрных джинсах, чёрной кожаной куртке и в чёрных коротких сапожках, с серебряной бородкой и светоносным взглядом.

Вершман узнал Воланда и понял, что клуб духовных практик — место очень подходящее.

Несколько десятков человек, стискивая книжки в ожидании автографа, сломали условный коридор, по которому только что прошли светоносный автор, переводчик, литературные агенты из ряда стран, партнёры, компаньоны и литературные критики.

Каку Жервезу снова грустно улыбнулся, сел за столик (свита уселась неподалёку на расставленные стулья), обвёл поклонников лучистым взором и сделал признание, что с утра ничего не ел. Хозяева клуба переполошились, а светоч решил воспользоваться суматохой и посетить туалетную комнату.

Вершман решил, что его престижа не убудет, если он, как настоящий журналист, подкараулит светило на выходе.

— Мистер Жервезу, я Алекс Вершман из «Атлантик Мансли»: говорили ли вы с президентом России о Боге?

— Нет! — отрезал Жервезу и проследовал к столу с дымящимся рагу из небесных зайцев в чесночном соусе.

Свита и поклонники лицезрели сеанс духовной практики. Вершман подозвал человека в эзотерической шапочке и заказал на их с Уэйном столик два «хайболла», ответных от себя. Только они двое не бросились к беседке вместе с приливом фанатов. Благодаря динамикам с их места всё было тоже слышно. А видеть мефистофельскую улыбку было не обязательно. Впрочем, это мысли Вершмана, а не Брэдшоу.

Ведущий вечера стал оглашать вопросы читателей.

— Что такое свобода выбора? Существует ли судьба, предопределённость?

— Я полагаю, что девяносто процентов наших проблем, а то и больше, создаются нами самими. Я бы сравнил судьбу с этой столешницей, состоящей из семи досок. Это семь вариантов пути от рождения к смерти, но только один из них — судьба. Когда мы делаем ошибки, то отвлекаемся от судьбы. Вы можете ходить зигзагом, но направление всегда одно — к смерти. В какой угодно момент вашего пути вы можете вернуться к основной линии, или доске, то есть к судьбе. Но по разным причинам — чувство вины или страх — вы зачастую отвлекаетесь от своей судьбы. Тем не менее сделать выбор вы всегда в состоянии.

Вершман взял салфетку, ручкой надписал, подвинул её к Брэдшоу: PLATITUDES!!! (Благглупости!)

Брэдшоу прочёл — и кивнул. Впрочем, это могло означать лишь то, что он понял отношение Вершмана.

— Ваше право на выбор — оно, тем не менее, не бесконечно, — продолжал вещать оракул. — После смерти вы уже не можете воспользоваться свободой выбора.

— Пишет он лучше, чем говорит, — пробормотал Вершман, — но, по сути, то же самое.

— Может ли любовь быть судьбой и мечтой одновременно? — огласил вопрос ведущий. — Или она — помеха на пути к мечте?

Брэдшоу наклонился в Вершману:

— Такое впечатление, что в этой секте все имбецилы!

— В сектах ими становятся! — пояснил Вершман.

— Суть любви, по-моему, это свобода, абсолютная свобода, — сказал оракул.

— Я не хочу, я очень не хочу быть неполиткорректным, — сказал Брэдшоу, — но его нос не кажется мне латиноамериканским!

«Антисемит!» — отложил в запасник своё замечание Вершман.

— Вы женаты? — огласил ведущий следующий вопрос.

— Четвёртым браком.

Недавние адепты, этого не зная, восхищённо заплодировали.

— Вы написали, что когда человек чего-то захочет, то вся вселенная объединяется, чтобы ему помочь. Как это понимать?

— Это очень сложно. Однако я отвечу. Вселенная абсолютно аморальна. Но мы сами — функция того, что сами себе желаем. Никакой вселенский разум не будет за вас делать выбор. Поэтому осторожнее с вашими желаниями!

Вершман и Брэдшоу с улыбкой переглянулись, хотя Брэдшоу, будь он повнимательнее, мог бы в усмешке Вершмана прочесть упрёк.

— Каковы ваши впечатления от России?

— Сибирь, Сибирь! Я не знал, что она настолько красива! Когда я окунулся в воды Байкала — я погрузился в воды России. Оказалось, что вода в Байкале — ледяная! Президент России сказал мне, что не всякий русский обладает смелостью для этого. Но русские могут это откладывать из года в год — у них он есть, Байкал! — а я не имел возможности откладывать!.. Но главное, что меня интересовало, — это русский характер, щедрая русская душа. Мы имели остановки в Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге и в малых городах по пути следования — впечатления незабываемы! А один большой город — мы его проехали, к сожалению, без остановки — Великий Корецк?.. Так там местные власти не обиделись, что мы едем дальше, напротив — даже выставили на перроне военный караул. Когда я рассказал президенту — он очень удивился!..

— Ваши книги очень легко читаются. Как много времени уходит у вас на книгу?

«Что за вопрос? — возмутился Вершман. — Вся хронология на его обложках: по книге в год!»

— С моей точки зрения, когда вы творите, вы с жизнью совокупляетесь. И, в конце концов, по-занимавшись любовью, вы становитесь беременны какой-то книгой — при этом даже не зная, кто её отец. (Сдержанный смешок пробежал по толпе.) Творчество — это женский процесс. Идея из меня появляется, я её родил, но кто отец — не знаю... На книгу уходит примерно два года.

— Сколько у вас детей, мистер Жервезу?

— У меня нет детей.

Брэдшоу знаками показал: не пора ли нам?..

Они встали и на выходе Брэдшоу дал выход своему разочарованию:

— Не думаю, что это надолго!

Вершман издал неопределённый звук, видя, что Уэйн собирается садиться за руль. «Тебе тоже здесь осталось недолго! Русофилия! Плюс вождение в нетрезвом виде! Но стоп! Ты мне ещё нужен как оппонент!»

Он удержал Уэйна, а тот внезапно предложил разбавить их разочарование двумя новыми раундами виски. Вершман это предложение принял — при условии, что бравый воин оставит машину на стоянке.

* * *

— Давай подумаем, Уэйн... — сказал он майору, когда, наконец, они нашли «точку», где продавали виски. — Что это было? И зачем это их президенту?

— Это ненадолго, Алекс, вот увидишь!

— Допустим, я вижу. Меня не это интересует... Мне просто интересен их президент. Сейчас мы видели, как один ловкач обводит толпу вокруг пальца... Я не думаю, что этот ловкач охмурил самого президента. Тогда зачем это нужно президенту? Какую задачу он решает?

Вершман с любопытством смотрел на потомственного американца: покажи, мол, на что способен!

— Во-первых, Алекс, давай не забывать, что в этой стране продано четыре миллиона экземпляров книг этого Жервезу...

— Так много? — удивился Вершман.

— ...поэтому, приглашая этого писателя, он хочет повысить свой рейтинг...

— Всего-то? — разочарованно произнёс Вершман. — А говорит ли это что-нибудь о самом президенте, как ты думаешь?

— Ты хочешь знать, не видит ли президент в этом шарлатане родственную душу?

— В десятку попал, майор!

— Я сомневаюсь, что президент читал его книги.

— Ладно, спасибо. Итак, я ещё дальше от решения своей задачи.

— В чём твоя задача, Алекс?

— Если помнишь, последний царь был идеалист и человек церкви. Поэтому он, не раздумывая, принял вызов кайзера...

— Оу!.. — воскликнул Уэйн.

— ...несмотря на неготовность его империи к войне.

— Но он подготовил её к победе, хотя победу расстроили большевики! — воскликнул Уэйн. — Уж это-то я изучал!

— Верно. А в 1989 году — дата, конечно, условная — люди в Кремле не были идеалистами, зато были атеистами, и наш вызов не приняли. Вот почему мне, журналисту, любопытно: что собой представляет нынешний президент?

Брэдшоу впервые посмотрел на Вершмана не просто как на журналиста, а с уважением: парень задаёт себе серьёзные вопросы. И он решил поделиться с Алексом своим личным, давно затаённым открытием...

— Знаешь, Алекс, я в позапрошлом году летел через Вену и устроил себе целый день в городе... Случайно увидел афишу хора «Don Kozaken», взял билет и пошёл. Так вот...

Брэдшоу на секунду закрыл глаза и замолк.

— Даже не знаю, как тебе сказать... Это что-то совершенно необычное. Это русский казачий хор, эмигранты, но... А почему я сказал «но»? Я возьму на себя смелость дать тебе совет: обязательно этот хор услышать!.. Но не в записи! В первый раз нельзя слушать их в записи...

Опять Брэдшоу прикрыл глаза веками и добавил:

— Иначе, боюсь, не поймёшь.

— А что я должен понять? — не совсем дружелюбно спросил Вершман.

— Я сам был готов обвинить себя в мистицизме, но с концерта выходил с ясным пониманием, что русских победить нельзя.

— Хм! — произнёс Вершман.

Брэдшоу пытливо присмотрелся к нему: как его тот понимает?

Вершман напустил на себя рассеянный вид.

— А мы их разве не победили?

— Да! — согласился Уэйн. — Но у меня на душе неспокойно. Такое чувство, что обманули не мы, а нас. И, можешь смеяться, — что они поют, а их слышит... Бог.

— Бедняга Уэйн! — Алекс хлопнул приятеля по плечу. — Расскажи это русским, они это любят, но помалкивай среди своих. По крайней мере, пока в отставку не уйдёшь. Ты солдат свободы, помни это!

— Спасибо, Алекс, — Брэдшоу осторожно развернулся и вышел из-под руки Вершмана. — Теперь и я стану наблюдать, размышлять, насколько в вере крепок их президент. Приду к выводам — сообщу.

Тем самым Уэйн Брэдшоу VI, не подозревая об этом, обеспечил себе дальнейшее пребывание в России.

Результатом этого дня стало решение Вершмана ехать не в Казань, а сначала в Сибирь — в тот самый «Велий Корецк», который чествовал Каку Жервезу почётным караулом. «С Сибирью надо знакомиться летом! — решил Вершман. — А Казань от нас не убежит!»

Ведь ещё Якутия в программе. Её мы держим в уме и относим на следующее лето.

* * *

Брэдшоу стал частенько, по выходным, вытаскивать Вершмана из гостиницы на солнечную сторону действительности: в Серебряный Бор, в Кусково, в Архангельское... Вершману стало казаться, что с ним нянчатся военные дипломаты и что это неспроста. Странной казалась ему эта забота Уэйна о культурном досуге приятеля. Это можно было объяснить только желанием Брэдшоу иметь рядом русскоязычного спутника.

Самого же Уэйна удивляло безразличие Вершмана, раз или два даже отказавшегося ехать с ним, к ландшафту, архитектуре и даже к девушкам! Уэйн на многих красавиц оглядывался и был не прочь заговорить с ними хоть по-американски, когда иначе влезть в чужую компанию ему не удавалось.

— Что ты вообще в России делаешь? — притворно или непритворно удивлялся Брэдшоу. — Ты только посмотри!..

— Уэйн!.. — сказал ему Вершман. — Ты — американец! Они слишком лёгкая добыча для тебя. Они избыточно мотивированы.

— Я начинаю тебя бояться, Алекс! — расхохотался Брэдшоу.

— Интуитивные решения — самые верные!

«Придётся тебя отправить в Айдахо, — решил Вершман, — пока ты не попал в Сергиев Посад!» И на этот раз его решение стало окончательным.

Через две недели Уэйн Брэдшоу VI получил предписание срочно готовить отчёт о командировке, чтобы отправиться на Ближний Восток подполковником. Это повышение они достойно отметили в «Калине» — а непросто было найти ресторан с русским названием!

Если в 1968 году Совертинскому было только двадцать лет, то сейчас ему может быть всего пятьдесят семь, но седая грива и борода, лицо аскета придавали ему облик старца.

Его однокомнатная квартира выходила окнами на север — на обсаженный деревьями двор и детскую площадку, — поэтому он не нуждался в тяжёлых шторах и не страдал от летнего зноя.

Сын его жил в Железногорске, а дочка — поближе, на левом берегу; сын поздравлял отца раз в год смс-текстом в день рождения — ради этого Совертинский держал телефон заряженным и включённым на полке, но с собой никуда не брал. Дочь в этот день приезжала к нему на час-другой аж из Зелёной Роши. Но и в этот день, и во все остальные дни дети считали себя чужими отцу — как, впрочем, и жившей где-то матери. Совертинский считал это расплатой за распад семьи, за свой развод, и вообще — за тот грех, в котором признался Ивану Колобродько.

К себе Совертинский никого никогда не приглашал, с соседями и прохожими общался, лишь когда выходил из кельи подышать воздухом. Вероятно, он был неплохим физиогномистом: читал по лицам, кого стоит остановить и с кем надо заговорить.

С тех пор, как он принял отчуждение детей в качестве возмездия, он научился дорожить своим одиночеством. У него не было телевизора, но был Интернет, была, естественно, электронная почта и выбор каналов Сети. Он вполне мог отнести к себе слова одного поэта-грека: «И в одиночестве моём я никогда не одинок». Только грек имел в виду, что с ним постоянно рядом образ любимой, а Совертинский был занят делом: рассылал публицистические отклики и комментарии кругу своих подписчиков, иногда публикуя статьи в широкой прессе, постоянно воюя с неграмотностью журналистов за исконно русские склонения и предлоги, против засилья англицизмов, слэнга и латиницы.

Естественно, к нему пришла некая известность, а в определённых кругах он стал считаться одиозным.

Помимо этих кругов, у Совертинского были враги и в среде патриотов, которым Николай Фёдорович не давал ни спуска, ни проходу за искажение падежей и глаголов. «Может ли в языке быть свободен писатель, не знающий глагола *надевать*, а только *одевать*; вместо *дотоле* пишущий *доселе*, не различающий *чтобы* и *что бы* — и не слышавший о глаголах переходных и непереходных?» — но этот вопрос Совертинского повисал без ответа, потому что даже те редакторы, которые порой публиковали Николая Фёдоровича, сами путали *пишете* и *пишете*, а про переходные глаголы сказать ничего не могли.

В то же самое время, огорчая Николая Фёдоровича и соперничая друг с другом, союзы писателей набирали в свои ряды всё новых и новых членов, а в школах сокращались часы преподавания родного языка ради усиления английского.

В одну из редких вылазок Совертинского в местное писательское сборище (их объявление он прочёл на сайте) Николай Фёдорович обратился к залу с риторическим вопросом: «Нуждались ли в редакторах Пушкин, поручик Лермонтов, доктор Чехов, инженер Достоевский?» Молодой литератор у стенки неожиданно сверкнул бритым черепом и громко ответил: «Конечно, нуждались!» Сначала Совертинский опешил, а затем, не без сарказма, возразил: «Это говорит эпоха, когда доктора филологических наук не различают слов «щекотливая» и «щепетильная», а писатели говорят «согласно Устава, согласно приказа!» Поколебавшись, он всё же вернулся на своё место в зале, хотя испытывал большое желание уйти.

Наконец, у Совертинского была спасительница-молитва. Засиживаясь допоздна за компьютером, он вставал с какой-то ломотой и напряжением в голове, говоря себе: «Как же я засну теперь?»

Но по прочтении вечернего правила ломка в голове и давление куда-то уходило, голова свежела и появлялась надежда дожить до утра. Когда он рассказал об этом университетскому однокашнику, борцу за общечеловеческие ценности, тот прицокнул языком и сказал, что дело не в молитве, а в поясных поклонах, которые Николай Фёдорович отвешивает перед образами. «Православная гимнастика такая! — ухмыльнулся он. — Нет?»

Это отрывистое «нет?» впервые резануло слух Совертинского как чуждое человеческому синтаксису. Сам он так никогда не говорил. Он мог сказать «разве не так?», но никогда «разве нет?»

В еде Совертинский был неприхотлив. Мог покрошить луковницу, залить её льняным маслом и

завалить томатной пастой — всё перемешав, он получал отменный деликатес к чёрному хлебу. После этого — крепкий чай с чёрными сухариками. И работать целых полдня.

Будучи филологом и отчасти полиглотом, Совертинский, на первый взгляд, парадоксально, восставал против переполненности книжных магазинов переводами Каку Жервезу, Бруно Вишневецкого, Анны Баабда, Фредерика Бегбедера, Пабло Реверте и Патрика Зюскинда, владевших — поочередно или скопом — стеллажами бук-сторгов, эфиром экранов и полосами газет. Это нашествие орды переводчиков он сравнивал с чумой, но эта чума была давней политикой картеля издателей, переводчиков и книготорговцев. Не забудем, что Россия была первой страной, которую этот картель осчастливил переводом «Капитала».

Что у него есть враги, и в немалом количестве, Совертинский признавал: «Ну, и слава Богу!» Тем не менее, выходя из дому, он не брал с собой телефон и травматическими средствами защиты не обзаводился. Слава Богу, слава Богу за всё!

Всё это здесь написано не для того, чтобы читатель стал ожидать какого-то происшествия с Николаем Фёдоровичем. Нет, в нашем повествовании с ним ничего не случится. А вот о тех вещах, которые тревожат Совертинского, нам подумать стоит.

Если вам, уважаемый читатель, где-нибудь на даче попадётся в руки учебник русского языка, желательный изданный до 1956 года или задолго до этого, сохраните его.

А может, вам даже станет интересно, что такое переходные и непереходные глаголы.

26.

Колобродько издали узнал силуэт Николая Фёдоровича возле детской площадки и направился к нему. Если бы тот стоял на тротуаре у подъезда, то был бы не один, но сейчас он предавался размышлениям.

Когда Колобродько приблизился, Совертинский, отдавая дань своим странностям, обернулся к нему и продолжил мыслить вслух:

— В России, как в Советском Союзе, каждый новый правитель должен быть противоположностью своего предшественника, чтобы народу мог понравиться! И так будет, пока не заслужим Царя!

Колобродько покачал головой:

— Откуда ж ему взяться?

— Откуда? — переспросил Совертинский. Подняв плечо и как бы юродствуя, он поскрёб где-то за ухом голову и вдруг изменился в лице, прячась в надвигавшиеся сумерки, торжественно и молодо прокричал:

— Откуда мне знать?

«Будет Царь!» — вдруг подумал Колобродько.

Они прошли к подъезду и стали подниматься на девятый этаж — по лестнице; Совертинский только в крайних случаях пользовался лифтом.

В кухне Совертинский спросил:

— Ты будешь кофе, сынок?

— Можно и кофе. Я сплю одинаково...

Понаблюдав, как хозяин управляет с чайником и с кофейником (он ещё не настолько был «своим», чтобы взять эти хлопоты на себя), Колобродько неожиданно для Николая Фёдоровича сказал:

— Нет, ну разве справедливо, что мальчишки погибли, родители с горядохнут, а убийца или убийцы — на свободе?.. Скажи мне, Николай Фёдорович, как верующий человек! Что-то в мире не так!..

Совертинский терпеливо выслушал этого странного милиционера.

— Сейчас возьму тебя за руку — поведу по ступенькам... Мы с тобой, сынок, этих мальчиков знали? Не знали. Что они в свободное время делали? Ходили на брошенный завод. Зачем? Может, кошек мучили?.. И раскаяния — не знали... И тогда — справедливо?.. Мы не знаем.

А родители знали, чем дети занимались? Нет, не знали. Они их воспитывали? Почти не воспитывали: после работы, беготни, суеты брали бутылку пива и садились перед телевизором... Это я про отцов. Матерей трогать не буду, но там, вероятно, тоже есть, за что... Только ты пойми: я не

судья, я просто в жизни наблюдал — и размышляю в ответ на твои слова. Я вовсе не мудрец, как ты считаешь... И память у меня плохая. Вот у кого-то я читал, а у кого — не помню, что есть три вида человеческих: масса отдельных особей, где каждый за себя; есть объединённые зрелищем — как телевизором; и есть народ — это люди, объединённые верой. А это значит — способностью различать добро и зло. Это какой-то мировой учёный сказал...

Дети искуплены, родители наказаны, а о преступниках ничего не известно. Кажется, преступники стали бичом Божьим, но говорит ли это в их пользу? Ни вот на столько не говорит!

Совертинский свёл ногти двух пальцев и показал, что между ними нет зазора.

— Что будет с убийцами, если их не найдёт наша доблестная милиция, мы не узнаем, но... ничего хорошего их не ждёт! Если кара их настигнет на земле — считай это милостью Свыше: тогда не самая страшная кара им уготована после смерти.

Колобродько смотрел на Совертинского и видел, что тот ни капли не сомневается в собственных словах, что верит свято, да что там верит — он *знает*, он *убеждён*!

— А найдут или не найдут преступников самые честнейшие следователи — это решает Тот, Кто знает всё и без их помощи, и без тебя, товарищ начальник милиции. Ему интересна только ваша добросовестность, а не результат... Результат — он у Него же в руке: в Его воле. Понял?

— Понял... — вяло отвечал Колобродько и тут же вскочил: — Да мне больно, что я в стороне, что без меня это дело расследуют!

— А ты иди — и право охраняй!.. Ты правоохранитель! Чтоб нового чего не случилось!

Колобродько кивнул, помолчал, забормотал:

— К тебе приду — успокоюсь, от тебя выйду — снова тревожно!..

— Не тревожься! За нашу короткую жизнь происходит столько всякого, что она кажется тысячелетней... Вот я, веришь-нет, три разных способа жизни застал! Помню даже, как все друг на друга работали... При Сталине это было...

— И друг на друга доносили? — с иронией спросил Колобродько.

— Э... ты не путай, сынок!.. Лукавый — он же никогда не уgomонится! Доносили не все. Работали друг на друга все, а доносили не все.

— А сколько лет вам было тогда, Николай Фёдорович?

— Я ещё в школу не пошёл, когда Сталин умер, но я всё помню, все разговоры взрослые.

— Ну, ладно... Два другие способа жизни я и сам пережил — переживаю...

Колобродько задумался, а Совертинский его не торопил. За многие годы это был первый гость в его стенах. А для Колобродько эта келья старца оказалась самым средоточием спокойствия — где можно без стеснения сидеть, как дома, и даже позабыть о самом хозяине.

Старику казалось, что это сын пришёл, и, значит, сколько бы ни оставался, всё впору будет.

Колобродько пошевелился и пристально взглянул на старика:

— Так выходит, что и преступления происходят по воле Божией?

— Не по воле Его, а по нашей греховности, — спокойно возразил Совертинский. — Но ты не углубляйся, а то с ума сойдёшь! Богу — богово, человеку — человеково. Нам не понять ни сотворения мира, ни Промысла Божия, ни того — что мы есть, чём являемся. Достоверно есть, что услада Божия — в раскаянии грешника.

— Это Он вам сказал? — усмехнулся Колобродько.

— Именно. Устами апостолов. Человек в невежестве проживает короткую жизнь, а с Господом живёт более двух тысяч лет и даже иногда спускается в темень Ветхого Завета.

— А как же другие религии?

— Господь сказал: много званых, но мало избранных. Здесь глубокий парадокс, но истина часто выглядит, как противоречие. Это в притче Иисусовой: званые не пришли, а пришли избранные...

— Он звал всех? Даже тех, кого не избрал? — переспросил Колобродько. — Или как?...

— Эта притча толкует о том, кто достоин Царствия Небесного. Тут понадобится свой ум поднапрячь... Но всё станет ясно, если пояснить, что тайны пред Богом не существуют. Да, Господь призывает в Своё Царство всех, но знает наперёд, кто придёт и кто не придёт. Кто придёт — окажется избранным. Зовёт и грешных, и святых; знает, который из грешников придёт — потому что покается, и знает, кто настолько поработился греху, что для Небесного Пира погиб.

Колобродько задумался. Ему было хорошо.

Двумя часами позже он шёл тёмной улицей — и ему было плохо. Он не понимал, что это за улица: фонари не горели — вместо фонарей в глазах порхали жёлтые круги и мотыльки. Он должен был находиться на улице 60-летия Октября, но на ощупь не мог её понять и опознать. «Я слепну!» — это открытие его потрясло. Слепой — кому он нужен? Он перебрал дорогих ему людей: Настя, Маша, Олежка... Он не позволит себе навязываться Маше и Олегу. Маша ещё молода, ещё найдут себе они «папу». Он потеряет все теоретические права претендовать на возвращение Насти... Передвигаясь медленно, он всё равно не уберётся: с маху налетел коленом на скамью и понял, что необходимо сесть, дожидаться рассвета... Кто-то недобро засмеялся у него за спиной, послышались шаги, но затем удалились. Даже будь при майоре оружие, оно бы слепому не помогло. Голова была тяжела и клонилась то туда, то сюда. Он пощупал пульс: учащённый, порядка восьмидесяти. У скамьи была спинка, и он откинулся, как боксёр на канаты, в ожидании последнего раунда. Так он забылся и вскоре погрузился в спасительный сон...

Проснулся он от холода, вскочил, попрыгал и посмотрел на часы: четыре. Светало... Он вспомнил: я же был слеп! Фонари ещё не погасли, он их видел, они были ему не нужны — и улица эта была не нужна... Он подошёл к торцу ближайшего дома, чтобы прочесть: «ул. Грунтовая» — чёрные буквы расхохотались ему в лицо.

Сквозь ограду виднелись кладбищенские кресты и памятники. «Как же это я прошёл вслепую эти километры?»

Это был совсем не его квартал, не его район.

«А вот вам хрен!» — сказал он неведомым врагам. — «Пошутили, и хватит!».

Что теперь делать? Не такси же вызывать! К шести он дойдёт до дома и, может, ещё поспит.

Или позавтракает.

27.

Домой он дошёл быстрее, чем ожидал, успел немного поспать — и проспал бы даже завтрак, но будильником послужил звонок Надежды Рюхиной.

— Ах, почему ты майор, а не капитан!.. — едва поздоровавшись, начала она. — Я бы спела тебе: «Капитан, капитан, улыбнитесь!..»

— Надя, зачем это нужно? Я с бессонной ночи, меня черти дрючили, а ты...

— Да, не романтик ты!.. — вздохнула Надежда, подразумевая другое: «И совсем не влюблён!»

— Я слушаю тебя внимательно! — смягчился Колобродько.

— Я всё о том же: ты когда свою пустышку заберёшь?

— Какую пустышку? — спросил Колобродько, готовый снова сердиться.

— Так и не хватился, что ли? — удивилась Рюхина. — Тогда и говорить не буду. Значит, ребёнок уже вырос — и пустышка ему не нужна.

«Всё никак не уймётся, командирша!» — сказал себе майор.

— Дух у тебя, Надя, провокаторский!.. Наверно, за это и ценят на работе?

— Да уж, мне палец в рот не клади!

— Опять провоцируешь?.. — печально расхохотался Колобродько. — Послушал тебя — и будя, голосок хороший, но мне пора...

— А куда ты?..

Майор собирался на свидание с дочкой, но не стал докладывать Надежде.

— Как это куда! Право охранять!

— Чьё право?

— Надежда, угомонись!

— Иди, иди, несчастный мент!

— И откуда ты всё знаешь, зараза?

— Целую! — пропела она в трубку. — Смотри, потом не обижайся!..

Странное дело, но настроение у майора улучшилось. Никакого желания увидеть эту Надю не возникло у майора, но зловещие впечатления его ночи она развеяла шутя.

До этой минуты он собирался к дочке почти как сомнамбула, а теперь двигался осознанно, предвкушая Настину радость и, стало быть, свою.

Свидания с Настей всегда напоминали дуэль, только без секундантов, если возможна дуэль между представителями разного пола. Мать выводила Настю из дома и, держась на расстоянии, шла за ней двадцать шагов; девочка шагала, помня материны слова: «Вот только побегу к нему — тогда узнаешь у меня!..»; отец шёл навстречу дочке, подхватывал её на руки — и мать разворачивалась восвояси.

Колобродько прижался к тёплому личику колючей щекой, но Настя и не пискнула.

— Настя, поехали в Роев Ручей!

— Ой, как здорово! Поехали!

— На Остров Сокровищ!

— А давай на все острова!

— На все, куда успеем!..

Уважим их обоих — дальше слушать не будем.

28.

Дети — это такое чудо, которого мы не все и не всегда достойны... Так думал Колобродько, после того как доставил дочку к дверям квартиры её матери с «отчимом», куда ступать ему было запрещено решением суда. Это не иначе как дар Божий, думалось ему, и странно было, что не все люди это понимают — в том числе Настина мама.

Когда Насте было всего три-четыре года, тогда была она чудо из чудес: папа и мама были для неё всем на свете — целой вселенной, да, наверное, и мы были лучше, чем сейчас. Как она смотрела на отца, какими глазами!.. «Папа» для неё был равен Богу, потому что всё в её жизни совершалось по воле его. Она была папиным счастьем, и папа для неё был тем же.

И вдруг жизнь перевернулась, поломалась, мама изменилась, папа исчез, а потом появился странный отчим, цвета и краски изменились окончательно. Уже и на папу Настя смотрит по-другому: он не Бог, если жизнь у неё опрокинулась, а он не может даже на порог ступить. В жизни оказалось много сожалений, теперь даже папу Настя может пожалеть: они вдвоём и порознь зависят от каких-то «обстоятельств». Об этих «стоятельствах» Настя с папой рассуждают, а «стоятельства» стоят вокруг — и хохочут, издеваются...

Колобродько понимает, что скоро начнётся быстрое Настино взросление; во взгляде у дочки появятся новые оттенки настроений, появится вкус к независимости, появятся влюблённости и «свет клином» и «папа, ты не понимаешь». И папа будет понимать, что мы уже не боги, что дети нам даются Свыше, но нам не принадлежат... Тогда припоминаются обиды, причинённые нами самими собственным родителям, для которых мы всегда оставались светом в окошке — потому что бежали из дому вон... «Не дай Бог, всё повторится у меня, как у Николая Фёдоровича — дети живы, слава Богу, но он для них — число в календаре...»

Свободный день Колобродько — «родительский», как его называли в райотделе — подходил к концу. Солнце клонилось к закату, но ещё было светло. Майору захотелось прийти под окна Совертинского: тот, наверное, «любуется деревьями с девятого этажа и, если я не нарушу хода его мыслей, то старец выйдет ко мне».

Пятьсот метров до параллельной улицы, где жил Совертинский, было нетрудно преодолеть, но почему-то солнце за домами ускорило вниз и внезапно потемнело... «Что за ерунда?» — спросил себя Колобродько, цепляя глазом исчезающий в сумерках бордюр, чтобы хоть куда-то присесть... «Это — давление, это в голове у меня темно!.. Это после бурных эмоций сегодняшних...» Что-то рявкнуло или крякнуло рядом с головой Колобродько, словно обламывался ствол тяжёлого дерева — но не сразу наземь, а с оттягом, как в жизни не бывает... «Что-то может на меня упасть, а я не вижу...»

Сердце колотилось так, что медицинская комиссия была бы готова уволить майора подчистую.

«Я ведь ничего особенного не хотел — только повидать Николая Фёдоровича!..» — словно оправдываясь, подумал Колобродько. — «Или это плата за сегодняшние радости?»

В университете МВД у них был преподаватель, проповедовавший афоризмы вроде того, что «всё подчиняется закону компенсации» или «ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным». И вот, по этому закону странного подполковника, сейчас майор Колобродько то ли получал, то ли платил компенсацию.

Воздух потихоньку серел и розовел, приобретая золотистый блеск. «Слава Богу, я не ослеп!.. И сколько раз я за сегодня сказал уже это «слава Богу»?..»

Идти к Николаю Фёдоровичу или не идти? Имею ли я право беспокоить старика понапрасну?

Он задумался и стал решать эту задачу. Хотя он был однажды в гостях у старца, но тот не дал ему свой номер телефона и в гости, если честно, тоже не звал. Напротив, даже сказал, что телефон — это взломщик. «Но что-то же он мне давал... Да, что-то написал на полоске бумаги — и куда я сунул её?..»

«Я, кажется, был тогда в форме — и сунул бумажку в карман кителя...»

Когда звон в голове и кряканье в ушах прекратились, Иван Колобродько поднялся, чтобы определить, в какой стороне его дом...

Он решил сначала отыскать бумажку от Совертинского, а потом поехать к Маше и Олежке — попросить чаю из пустырника.

29.

Добрый день, Николай Фёдорович!

Не доходили руки Вам написать. По правде говоря, я Ваш электронный адрес не сразу отыскал. Со мной что-то непонятное творится в последнее время. Началось это ночью, кто-то хохотал под окном и почти что дом даже дёргал, а потом заржал по-человечьи и убежал. Потом как будто кто в квартире присутствует — ходит или под руку толкает, чтобы всё валилось или сыпалось. А однажды, когда в городе не было света, меня ноги занесли аж на Грунтовую, сами занесли, я ж ничего не видел. Только там очнулся и увидел, где я. И ещё странности бывают.

Мария согласна расписаться и венчаться, но у меня был напряг на службе, и всё пока по-старому. Но молитвослов уже читаю.

Надеюсь, вы в порядке, здоровы.

С уважением, Иван Колобродько

Совертинский покачал головой: «читаю!» Значит: «уже читаю — ещё не молюсь». Так некоторые интеллигенты говорят: «Я читал Библию». Или даже говорят: «Я прочёл...» А что такое Евангелие — до сих пор не знают...

Однако, что ж, лиха беда — начало!.. Так держать, сынок!

Здравствуй, Иван!

Благодарю тебя за письмо. Где, говоришь, не было в городе света? В нашем микрорайоне всё было нормально, без аварий.

Но если тебя в темноте куда-то ноги занесли, значит, бесам не нравится тот путь, на который ты становишься. Всё же весть эта — радостна, потому что подтверждает твою искренность; не будь этой искренности, не обеспокоились бы бесы. Будут ещё нападения бесов, и ты будь к этому готов. И хохот, и рычание звериное. Это не я такой мудрый, это Отцы говорят: куда приходит благодать — туда и бесы устремляются, козни людям учиняют. Если есть у Господа на тебя надежда, тут на тебя бесы и ополчатся! А если твоё деяние Богу угодно, то бесы мстить начнут. Но молитва и крестное знамение тебя защитят. Бесы могут и в образе человеческом объявиться, а ты не робей: молитву твори. Хотя бы молча обратись к Николаю Чудотворцу — и получишь помощь. Сейчас уже ночь, а завтра прочитаешь моё письмо — ближе к вечеру приходи, потолкуем об этом.

Храни тебя Господь!

Николай Совертинский

* * *

Колобродько размышлял над полученным ответом в конце следующего дня, идя со службы домой. Солнце низко висело над землёй, и он потуплял голову, уклоняясь от бьющих в лицо лучей. Женский голос внезапно остановил его:

— Здравствуйте! Можно с вами поговорить?

Он присмотрелся и вспомнил эти интонации и постановку вопроса, только в девяностом году они ещё говорили с акцентом, зато были красивее и моложе.

— Вы ошиблись: я православный!

— Вот и поговорим об этом! — лучась неисчерпаемой добротой, подступила женщина, предлагая Ивану глянцевого журнал.

— Нет, нет, я спешу, до свиданья!

Он ускорил шаг. Адвентисты, иеговисты, сайентологи... От вас проходу нет. А ведь открылся на Рабочем проспекте какой-то «зал Царства сидетелей Иеговы» — Юльдин рассказал на совещании. Сообщил, что секта не запрещена и мы, милиция, сделать ничего не можем...

«Ай да Иван: смело православным назвался!.. — усовестился Колобродько. — А вот Николай Фёдорович — признаёт ли тебя таковским?»

Тут зазвонил его сотовый телефон, и полковник Юльдин, мешая русский язык и матерный, объявил тревогу и казарменное положение «пока на 48 часов, передай по команде, ать-ять, если б не генерал сейчас рядом, я бы вас ять-перебрать!..»

«Господи! — обрадовался Колобродько. — Ведь срочно же перекреститься надо! Ну, ты, Николай Фёдорович, ты как в воду глядел!..»

30.

Конечно, думает Вершман, мнение американского солдафона о непобедимости русских надо отвергнуть. Во-первых, в описанном случае это были советские, а не русские, а мы советских победили. Это сейчас на очереди русские.

Русских и можно, и нужно: и обманывать, и побеждать. И в этом все должны принять участие. Конечно, эстонцам и полякам будет плохо при любом раскладе — ведь Советского Союза не вернуть, а к России им уже не вернуться; но лучше умереть, чем с русскими быть — и смотреть на их сосредоточенные рожи.

Конечно, Вершман очень гордился своей миссией и своей принадлежностью к цивилизации победителей. Когда все «прочие народы и государства» (фраза то ли Гоголя, то ли Тургенева — но и тот, и другой простачки!) борются и «здобувають» то ли независимость, то ли незалежность (словечки посла в том памятном посольстве), Вершман принадлежит к людям, независимым всегда, везде и всюду — от всего! В Москве он независим от Кремля, а в Вашингтоне — от Белого Дома и Капитолия. Он в связке таких же независимых, как он сам, строителей будущего, а настоящая независимость — это знание будущего.

Когда полыхнёт «в степи под Херсоном», а мы знаем, условно говоря, что «в степи под Херсоном — курган», то уже должны быть подготовлены Татарстан, Поморье, Бела-Русь, Якутия, Камчатка...

(Топэмэкс очень смешно произносил это название: Byelorussia — звучало как Bye, yellow Russia! — «Прощай, жёлтая Россия!»)

Вершман самовольно изменил порядок своей работы, поставив Казань позади Великорецка, но это не нарушение предписаний, это в рамках его полномочий — to play it by ear. Роль журналиста Вершмана — быть ревизором, координатором и оценщиком, но в Татарстане он, скорее, только наблюдатель — там работа, по отзывам Топэмэкса, поставлена давно и хорошо.

Правда, для Вершмана Топэмэкс — не истина в последней инстанции. Топэмэкс и сам сознаёт свои пределы, жалея, что не знает русского языка. А у Вершмана есть подозрение, что «не все наши русские помощники работали искренне и усердно». Ведь по-прежнему казанские татары геройски служат в русской армии, а казанские сепаратисты ещё пасуют перед Кремлём.

Да и наша помощь делу русской демократии слишком бросалась в глаза. Не надо было свердлов-

скому пьянице кричать о «совместной американо-российской революции», у русских уже аллергия на революцию — будь то «сверху» или «сбоку», всё равно. А во-вторых, они уже начитались Эрика Саттона и митрополита Храповицкого — знают, откуда у революции ноги растут.

Ко всему прочему, элементарно не хватило чубайсов: ничтожно малый процент. Украсть миллион, миллиард — пожалуйста, но чтобы взорвать Чернобыль или ГЭС — готовы считанные единицы. О чём говорить, если Анатолию приходилось подталкивать людей: «больше наглости, ребята!» Ничтожен процент её носителей в этой стране. Зато подавляющий процент — ничтожное быдло, обременённое совестью. К счастью, совесть — иммунитет не абсолютный: наши слова-подкидыши *быдло, халява, пацан, совок* они восприняли на ура и сами повторяют.

А на эти православные физиономии, на эти совковые газоны невозможно смотреть! Одуванчик с клевером, тимофеевка, ромашка, что там ещё... Жалкое уродство. Залысины от пьяной газонокосилки — и вода в колее от заезжавшего туда трактора. И никто не оштрафован! И никто не донесёт!.. Ненавижу!

И знаменитые русские красавицы — тоже преувеличение!.. От чокнутых американских простаков...

Слишком большая страна, а русофобии не хватает. Не тот у русофобии калибр. Нужна, как призывал Нафтулий Борухович, неподдельная ненависть! Не жалкая фобия — нет! Русоненавистники нужны!

Суть раздражения Вершмана проистекала из того, что он, перебирая в памяти свои дорожные впечатления (Лондон — Хельсинки — Москва), понял, что непосещением Таллина он фактически отказался посетить могилу отца. И теперь ему, хочешь-не хочешь, придётся заезжать в этот Таллин на обратном пути.

* * *

Если честно, то и московские дела Вершман ещё не завершил; его торопливое желание попасть в Сибирь и далее в Якутию диктовалось нежеланием ехать туда глубокой осенью. Поэтому он отнёс на своё зимнее посещение Москвы — сейчас прозвучит нечто нелепое! — такие вопросы, как оценка потенциала футбольных фанатских групп и собственное внедрение в кремлёвские группировки типа «Наших», лагеря «Селигер» и т.п., то есть события летнего сезона.

Однако он думал выйти сухим из воды за счёт ресурсов Интернета и правозащитных московских осведомителей.

Возможно, ещё была некая причина, чтобы Вершман изменил свою траекторию и график. Но посмотрим...

* * *

Название гостиницы — «Восток» — не могло поразить оригинальностью, зато отель предоставлял все мыслимые услуги, требуя за ночь только две с половиной тысячи рублей — что-то около восьмидесяти долларов.

Вершман прилетел вчера тёплым вечером, его встретил гостиничный водитель и доставил на место, немало сообщив по дороге — как уже известного Вершману, так и неизвестного. Сильно огорчился он тем, что отложено строительства нового моста через Енисей: «постоянно приходится кругляя давать, а бензин-то не дешевет!»

— Ты сам за бензин платишь? — спросил Вершман.

— Сейчас-то нет, а когда за своей баранкой — плачу, конечно!

Когда Вершман только отель выбирал, то предпочёл высокий правый берег, хотя все региональные власти размещались на низком берегу — в Центральном районе. Но на высоте и воздух чище, и виды лучше, а плюс ко всему — по пути из аэропорта в отель они пересекли Енисей и Вершману понравилась река среди тайги.

Сегодня предстоит знакомство с губернатором Аслянским, который извещён уже посольством и подтвердил готовность принять мистера Вершмана.

Поколебавшись, Вершман решает надеть сегодня галстук: в машине кондиционер, а в губернаторском офисе — тем более. Выбирая галстук из трёх взятых им в дорогу, он перебирал в памяти то, что знает об Александре Геннадьевиче. На фотографиях губернатор моложе, чем показался тогда Вершману на приёме, и бульбовидный нос его заметно потяжелел, но глаза-маслины по-прежнему быстро оценивали окружающих.

Этому тёзке Вершмана было предназначено стать банкиром и губернатором. Родившись в семье дипломатического переводчика внешнеторговых организаций Кремля, он не боялся ни срочной службы в армии, ни рисков распределения по окончании финансового института: обе обязанности были исполнены им вполне комфортно, с полной уверенностью в собственном завтрашнем дне: этакий небожитель федерального масштаба.

Перед этой встречей, тем не менее, у Вершмана было преимущество: он был в курсе биографии магната-губернатора, видел несколько видеороликов о нём и даже знал о нём несколько психологических этюдов; а губернатор знает только фамилию Вершмана и, в общих чертах, официальную цель его визита.

Вершман набрал номер бюро обслуживания и потребовал автомобиль с водителем и кондиционером, сказав, что выезжает через пятнадцать минут.

Протокольная встреча с губернатором продолжалась двадцать минут.

Губернатор, быстрый в наблюдениях и распоряжениях, отметил «рыбьи глаза американца» и, будучи фотографом-любителем, представил их себе в роли объективов такого же названия — с обзором почти в 360 градусов, но зато неимоверно искажающих картину; эта мысль его заставила улыбнуться. Вершман отметил бараньи, навывкате, глаза губернатора, что тоже заставило его улыбнуться, и оба прониклись взаимной симпатией.

Вершман вручил Александру Геннадьевичу рекомендательное письмо посла Соединённых Штатов вся Америки — с тиснёной печатью и в рамке тёмного дерева, — которое губернатор приказал тотчас же повесить на стене у него в кабинете, но с выдачей мистеру Вершману цветной ксерокопии, на которой будет начертана губернаторская «охранная» резолюция.

Вершман стал рассказывать о своих творческих планах, делая упор на изучение гражданского общества; губернатор послушал его и, дождавшись паузы, отрывисто произнёс: «Понятно! Поможем! Что ещё?» — нажал кнопку на своём аппарате и распорядился прикрепить к Вершману «Мерседес» из губернаторского гаража.

— Весь регион... повсюду в регионе, вы — желанный гость! Для дальних поездок предоставим вертолёт!..

(Вершман вертолётов боялся больше, чем самолётов.)

— ...Да, и если хотите, можете прямо сейчас побывать на встрече моего пресс-секретаря с населением. Она ещё не закончилась! Сможете оценить состояние нашего гражданского общества!..

Настояв на том, чтобы Вершман отпустил машину отеля, Александр Геннадьевич приказал доставить мистера Вершмана во Дворец культуры «Красный Октябрь» — и далее, куда прикажет:

— Это теперь ваша машина, господин Вершман! Распоряжайтесь!

31.

По прибытии ко Дворцу культуры Вершман обменялся с водителем номерами телефонов, велел ему стоять у входа и вошёл в здание. Старушка-привратница приветливо улыбнулась ему и сказала:

— Второй этаж — направо, пожалуйста!

Очевидно, в целом здании проводилось только одно мероприятие. Но Вершман, учитывая, что время — пятый час дня, смягчил свой скепсис:

— А скажите, утром было много людей? Мероприятий?..

— Какие-то были, поболее, конечно... Я и не упомяну!

«Сонная провинция с ядерными реакторами!» — ухмыльнулся Вершман и прошёл на второй этаж. Приоткрыв дверь, но ещё не войдя, он узнал голос Надежды, слегка усиленный динамиками.

— ...К сожалению, дорогие мои, газифицировать в этом году Болотовку не получится. Были

выделены краевые средства, но местный бюджет не подключился — и работы не начаты. Потому и краевые средства были перенацелены законодательным собранием. На следующий год бюджет верстается, подождём...

Заслушавшись, Вершман едва ли вникал в содержание сказанного. Он осторожно вошёл, слегка поклонился и, сев позади двух десятков людей среднего и пожилого возраста, только тогда поднял глаза и посмотрел вперёд.

Надежда запнулась, голос её стал тише, опустилась рука с микрофоном. Когда Вершман приник за головами в платочках и шляпках, голос Надежды снова зазвучал в полную силу. Вершман входил через дальнюю дверь и был доволен, что не оказался лицом к лицу с Надеждой — напротив, пришлось идти вперёд мимо пустующих рядов, чтобы сесть поближе.

В зале у людей был другой микрофон — и сейчас им завладела старушка:

— Надежда Петровна, миленькая, а почему нельзя торговать с рук? Что это такое, какой Кошей запретил?

— Лично я против такого запрета, но это мировая политика, дорогие мои... Европа и Америка стремятся, чтобы любая мелочь, каждая банка огурцов имела свой сертификат... то есть она должна быть фабричной — и больше никак... чтобы человек, вырастивший огурец и картошку для себя, не имел права продавать свой продукт.

— ...и даже права есть свой продукт! — издевательски выкрикнул мужской голос.

Зал загудел.

— А мы почему их слушаем? — без микрофона, резким, неприятным для Вершмана голосом выкрикнула женщина с обветренным и мужественным лицом.

— Отродясь такого не было у нас! — закричал единственный в зале мужчина. — Это же немецкие порядки, а что немцу здорово — то русскому смерть!

Надежда улыбнулась:

— Скорее, наоборот: что русскому здорово — то немцу смерть!

Вершман перестал слушать слова — и стал слушать *голос*... Идя сюда, он не знал, что пресс-секретарь Александра Геннадьевича — та самая женщина, виденная в посольстве, но какое-то странное ожидание в нём беспокойно царапало душу. В том, что встретит её раньше или позже, он не сомневался, но вот эта встреча застала его врасплох.

«А ты ведь журналист, Александр Вершман, и теряться не должен ни при каких обстоятельствах!» С этой мыслью он даже стал подумывать, не взять ли ему в руки микрофон...

Мужчина задал вопрос, способна ли краевая власть защитить владельцев «правого руля» от федеральной чехарды попеременных запретов и разрешений; крашеная блондинка задала вопрос, «почему Аслянский терпит в городе проституцию» (с места крикнули: «Да он её крышует!»)...

Надежда Петровна отвечала дипломатично, хотя искренне, и было видно, что её готовы слушать, как хорошо знакомого, умного и симпатичного человека, пусть даже не всегда соглашаясь.

Она выглядела бледнее, чем было можно ожидать в июне месяце, а необыкновенный голос превращал её в неотразимую красавицу... Вершман чувствовал себя Одиссеем, которого матросы плохо привязали к мачте.

— Правда ли, что дело про убитых мальчиков закрыли? — спросила ломающимся голосом одна бабушка.

— Это, вообще, не компетенция губернатора, но поскольку я в курсе — то вам отвечу... неофициально... Следователи ничего не добились и хотели дело закрыть, но адвокат потерпевших этого не допустил. Я знаю, что Владимир Афанасьевич — порядочный, принципиальный человек и за истину будет стоять до конца...

«Умница! Какая умница! — восхитился Вершман. — Как психологически убедительно сказала!.. Если бы просто сослалась на адвоката — это одно; а она сослалась на личный с ним контакт — и не просто фамилию назвала, а по имени-отчеству...»

И тут он хлопнул себя по губам: а стоило ей отвечать на этот вопрос? Нет. Не стоило. Исполнительная власть теоретически не вмешивается в правосудие. Не должна и в работу следствия... Вот и не надо было отвечать за других.

Микрофон получила женщина с осунувшимся лицом и воспалёнными глазами, но расплакалась и не могла говорить. За неё стала говорить подруга.

Сын этой женщины был наркоманом, мать отдала его людям, спасающим от наркотиков, а те были, оказалось, сектой. Сын больше не наркоман, зато сектант: отверг мать, продал почти все вещи и отдал деньги в секту; теперь требует от матери согласия на продажу квартиры с той же целью — или дарения квартиры сектантам...

— Ужас! — ахнула Надежда. — Надо писать заявление в милицию!.. Сейчас такие секты появились, что их не сразу раскусишь!.. С самыми благородными названиями. Напишите в милицию, обязательно — а я вас выведу на телевидение...

Надежда осеклась: среди зала стоял Вершман и требовал внимания...

— Вам что угодно, товарищ?.. Или господин?..

— Я по вопросу наркоманов и сектантов...

— Представьтесь, пожалуйста!

— Александр Вершман. Журналист.

— Передайте, пожалуйста, Александру микрофон.

— Спасибо. Я, собственно, скорблю из-за отсутствия у нас гражданского общества. Вот пришли столько людей — и каждый со своим мелким вопросом, и все они не связаны между собой. И поэтому люди — как атомы, и общество — тоже атомарно; то есть аморфно. Может ли измениться аморфная масса? Не может! Структура ей нужна. Вот как этот бывший наркоман — освободился от зависимости, только войдя в структуру...

— И получил другую зависимость! — зычно прогудел мужчина у окна.

— ...потому что гражданское общество невозможно без собственных структур! — заключил Вершман, негодуя на мужика, испортившего выступление.

— Спасибо, — сказала Надежда с недоумённым видом.

Лица старушек тоже не светились пониманием.

Надежда повторила свои слова, обращённые к матери бывшего наркомана, убедилась, что вопросов больше нет, и закрыла собрание.

Народ стал расходиться. Надежда стала складывать в сумку свои принадлежности, а Вершман пошёл на сближение.

— Надежда, вы меня узнаете?

Она молча посмотрела на него.

— В посольстве вы тогда назвались просто Надеждой.

— Да, припоминаю... Александр?

— Да. Александр Вершман.

Она вздёрнула подбородок:

— Вершман так Вершман!

(«Словно решила на сомнительную покупку!» — подумал Александр.)

— Какими судьбами, Александр?

— Собираю материал для книги.

— По-нят-но! — нараспев проговорила она, а у Вершмана дрогнуло сердце.

— А вы, как я понял, телеведущая?

— Я? Нет. Но появляюсь иногда.

— Невероятное везение для заезжего журналиста — в первый же день нечаянно встретить компетентную и популярную коллегу...

— В какой-то мере — да, коллегу.

— Надя, что вы делаете сегодня вечером?

— Как будто я кино смотрю! — рассмеялась Надежда и повторила его интонацию: — «Что вы делаете сегодня вечером?» Я ещё и не думала, что сделать, а что отложить...

Она взглянула на Вершмана и про себя отметила: «глаза как у виноватой собаки».

— Я буду счастлив, если моё везение продлится, и мы закрепим наше знакомство...

Он сделал паузу, а она сказала себе, что вот так-то даже в кино теперь не услышишь.

— ...и после не очень утомительной прогулки отдохнём в уютном ресторане.

— Рестораны утомляют сильнее любой прогулки! — снова рассмеялась Надежда.

— Откуда вы знаете? — деликатно усомнился Вершман.

- Наблюдала!
- У мужа наблюдали?
- Нет. Не у мужа.

Голос её подсказал, что она не замужем.

Они уже шли по вестибюлю, подходя к приветливой привратнице, когда Вершман внутренне ахнул, сообразив, что Надежда должна знать его машину и водителя.

«Пропала маскировка! Выкручиваться надо!»

Он придержал Надежду за руку:

- Помогите путешественнику выбрать ресторан!
- На этом берегу? Я ничего не знаю!..
- А на том?..
- Ну, может, «Беллини». Или «Балкан-Гриль». Вы какую кухню любите?
- А вы какую? Я вас приглашаю!

— Да я на тот берег и не хочу. Меня там все знают, станут потом расспрашивать, а я даже если бы захотела рассказать, ничего про вас не знаю.

— Ну, это поправимо!..

Всё ещё не отпуская руку Надежды, Вершман набрал номер Анатолия:

— Анатолий, это Александр. Какой на этом берегу приличный ресторан — чтобы за двадцать минут отсюда пешком дойти?

Тот ответил мгновенно:

- «Русский размер».
- А если я с дамой?
- Без разницы.
- Адрес какой?
- Академика Павлова, 52.

— Тогда поезжайте прямо туда, а мы подойдём.

— Есть! — по-флотски ответил Анатолий.

— Всё без меня решили! — жалуясь неизвестно кому, сказала Надежда. — Вдвоём с сообщником! Придётся мне охрану вызывать.

— Не придётся, Надя, не придётся! Держу пари, что вы Анатолия знаете!

— На этом берегу? Нет, не знаю.

— Говорите, говорите, что угодно говорите — я буду слушать!..

Наконец они вышли на крыльцо. Машины у подъезда не было.

Начиналась их первая прогулка. И лучше пусть расскажет об этом Надежда.

32.

Суббота, утро. Надя дома изучает себя в зеркале, а зеркало вдвое умножает количество роз, подаренных ей вчера в ресторане.

Надя смотрит на себя, изучает, размышляет, вспоминает — и чувства у неё, что называется, смешанные: слишком большой каскад сюрпризов, приятностей и в то же время разочарований обрушился на неё.

Искренне ли расточал ей комплименты этот полуграмотный журналист из Москвы?.. Зеркальце, скажи! Поняв, наконец, что розы ей мешают, она отставляет вазу с цветами в сторону. Их от столика к столику навязчиво предлагала девчонка-разносчица — Алекс просто не мог отказаться; ничего особенного, вынужденный жест.

— Я не Саша, я — Алекс! — сказал он ей.

Москвичи, а журналисты, тем более, все с придурью. Там есть у них скандалистка Бзика Брынска, которая разве что Бзика, но не Брынска.

Ну, Алекс — так Алекс. Трепач патентованный: утверждает, что окончил финансово-психологический факультет, якобы такие существуют для особо посвящённых. А журналистикой овладевал на стажировке в Бостоне, потому и ошибки бывают в русском языке.

— А я — учительница русского языка и литературы! — ответила Надя.

— Вас мне сам Бог посылает! — обрадовался он. — Не бросайте меня одного среди зарослей «великого и могучего»!

Надя только плечами пожала: слова «не бросайте» ей показались неуместно преждевременными.

А он пустился фантазировать о том, что Надина красота требует высоких слов: типа *чело, уста...* Признался, что больше ничего не знает, и стал проверять её: щёки? — *лантиы*, шея? — *выя*, груди? — *перси* (тут он даже хотел прикоснуться), глаза? — *очи...*

— Очи-то я знаю! — сказал и уставился в Надины зрачки своими глазами хитрой собаки.

Под влиянием этой игры Надя мысленно его простила, а он, развеселясь, стал спрашивать названия деревьев, будто школьник:

— Надежда Петровна, а Надежда Петровна? Как это дерево называется?..

— Дятел называется! Обыкновенный пестровидный. Сеется крылатыми семечками.

— А ещё! А ещё? Говорите! Говорите!

Он, кажется, её загипнотизировал: Надя давно не вела себя как школьница. Ей стало совестно: с каких таких радостей она развеселилась?

— Вообще-то я не Петровна, а Пырьевна. Только для студентов и телезрителей — Петровна.

— У вас эстонские корни?

— Нет, почему? Но это грустная история — может быть, потом...

Прогулочного времени ещё хватило, чтобы Алекс мог признаться: он был уже принят губернатором, и тот выделил ему машину.

И всё равно это стало для Нади внезапным потрясением: та самая машина, которой и она, бывало, пользовалась; и знакомый водитель, который тут же с ней поздоровался, и этот Алекс в придачу, свалившийся на голову ни с того, ни с сего.

А уже в ресторане за ужином он умело чередовал светский трёп, саморекламу и «либеральные идеи».

Похвалив Надю за такт и дипломатический талант, он опять неуважительно отозвался о «мелких людях с мелкими запросами».

— Уверяю вас, — возразила ему Надя, — на кухне они обсуждают насущные мировые проблемы!

— А к системному подходу в разговоре с властью они готовы?.. Ведь даже простое суммирование вопросов — чего, к сожалению, нет — это уже база для коалиции!

— Да, сложение вопросов... Значит, не нужна им коалиция.

— Надя, Надя, да как не нужна?! — с трагическим лицом воскликнул Алекс. — Вы ещё мало об этом думали!

— Да скоро от мыслей у меня голова заболит! — она кончиками пальцев потрогала виски.

— Вы совсем вина не пьёте! — укорил её Алекс. — Вино вам поможет!

Он долил вина в их бокалы.

— Да, так почему вы Пырьевна?

— Потому что мой дед назвал отца — моего отца — Пырием.

— А почему?.. Ну, не хотите — не рассказывайте.

— Деду пришлось пережить голод в родных местах. Он растягивал зерновой остаток — пшеницу, пшено, овёс — подмешивая семена пырея... У них там называли его *пырий*. Когда потом уже родился младшенький, дед и назвал его Пырием. Власть уже допускала странные имена: Орвил, Сталён, Днепрогэс...

— Понятно, — сказал Алекс.

Глаза их встретились, и Надя сказала себе, что ничего ему не понятно.

Тогда Алекс взял её руку и прикоснулся к ней губами, не спеша эту руку отпустить.

— Мы уже сидим четвёртый час? — удивлённо спросила Надя. — А мне ещё на свой берег возвращаться.

— Нет проблем! — сказал Алекс, доставая мобильник...

А теперь Надя сидит перед зеркалом, оценивает себя — и сортирует впечатления.

С окончанием объявленной тревоги начались тревоги необъявленные.

В первую же ночь, проведённую у Маши, Колобродько слышал сквозь сон тяжёлое сопение и топот потной орды, чей запах щекотал ему ноздри, затем орда стала топтать под окнами и подняла нестерпимый галдёж. В итоге Колобродько проснулся, какое-то время слушал нестихающий гвалт, но едва он встал к окну, как орда с хохотом покатила и рассыпалась злорадным дребезжащим смешком.

Колобродько оглянулся на спящую Машу: сон её был безмятежен. «Это мне так и надо, а не ей! Ей-то за что?»

На службу он собирался в крайней задумчивости. Дома вечером он напишет письмо Николаю Фёдоровичу (со служебного компа, чем чёрт не шутит, лучше не писать). У Маши компьютера нет — да она и не страдает.

В райотделе день прошёл в обычной рутине, майор занимался людьми, бумагами, происшествиями, а в голове стоял этот нехороший топот и ещё более пугающий хохот — его злорадство не предвещало ничего хорошего.

«Почему враги злорадствуют? — задавал себе вопрос Колобродько. — Потому что они нас оседлали и помыкают нами, распоряжаются нами и всем, что ни есть нашего. Как же им не гоготать?»

Вечером Колобродько отправил Николаю Фёдоровичу краткую записку и через полчаса получил ответ: жду. Старик действительно ждал его, выйдя из дому, наблюдал догорающий закат в просвете между домами.

— Ведь как чудесно создан мирь! — обратился он к подошедшему Ивану. — Все открытия человеческие — это давно существующие, приготовленные человеку Божьи чудеса. Если бы все они сразу открылись — человек бы умер, скончался бы от ужаса, а так — нет: существует — и не кается!

— Я догадываюсь, о чём вы, Николай Фёдорович! О моей женитьбе.

— Ты ведь говорил с Марией?

— Говорил.

— Так она ведь ждёт! Ты её обнадёжил! Назначили дату?

— Нет ещё.

Молчание Николая Фёдоровича было пуще громкого возмущения.

— Подожди, — сказал он чуть погодя, — ты как провёл последний день свой с дочкой?

— Катал её по островам.

— А с Машей она знакома?

— Нет.

Старик опять промолчал, не стал ничего навязывать: пусть парень сам обдумает, как строить семью.

— Ну, как, прошла тревога? — спросил, переходя к нейтральным темам.

— Тревога не тревога, а вот прошлая ночь...

И Колобродько рассказал всё, как было...

— Небось, ты даже не перекрестился?

— Ап... — испуганным подтверждением стал перехваченный вдох Колобродько.

— Наверно, сынище, ты избран чего-то ради — и обе стороны тебя стерегут.

— Я уж пробовал подольше спать, чтобы ничего не слышать, так нет: оно уже мне снится, а потом голова болит!..

— Наоборот, надо бодрствовать. И молиться не забывать.

— Да что ты, отче: молиться-молиться!.. Не забываю я! У меня каждый вздох, как молитва!

Старик выразительно присмотрелся к Ивану:

— Или как раздражение.

У старца на ужин был намечен жареный лук с хлебом, и он не мог пригласить Ивана разделить с ним трапезу, поэтому приходилось беседовать под деревьями, в наступивших сумерках. Он стал отвечать на вопрос, который Иван Колобродько не догадался бы задать:

— Венчание, сынок, не совершается во вторник, четверг, субботу и по великим праздникам. Так что побеседуй сначала со священником.

— Как-то боязно. Я бы лучше с вами...

— А венчаться где ты будешь: в церкви — или у меня во дворе? Не чуди!

— А вы знаете хорошего попа?

— А вы знаете хорошего хирурга? — передразнил его Николай Фёдорович. — Да вот ближайшая Никольская церковь. Я там причащаюсь — только редко, по их понятиям.

— И что они вам говорят? — с живым интересом спросил Колобродько.

— Слушают с опаской, но к чаше допускают. Думают, что я им конкурент, а я к ним, напротив, тебя направляю.

— Так, может, не у них нам венчаться?

— Не робей. Венчает не поп, а Господь. Священник — только слуга и орудие.

Колобродько повеселел.

— А вы венчались, Николай Фёдорович?

Николай Фёдорович не сразу ответил. У него сначала вырвался сдавленный звук, как бывает при попытке подавить чихание или кашель.

— Не сподобил Господь... А ты — не робей, — повторил старик и перекрестил Ивана. — Готовься к нападениям. Твоя свадьба, сынок, в тыщу раз достойнее моей... Но видишь, как пути у Господа: бывает, что недостойнейший нечаянно подскажет достойному.

Колобродько не нашёлся, что сказать в ответ. Они простились.

Совертинский застыл с поднятой рукой, потом она упала, он опустил на стул и, обхватив руками жёсткую спинку, разрыдался...

34.

Человек предполагает, но не располагает... Вместо беседы со священником майору Колобродько была уготована тревога и разборки со спецотрядом быстрого реагирования — СОБРом.

К дежурному на пульт поступил вызов от жильцов — соседей завода РТИ: «Приезжайте, здесь неизвестные в масках штурмуют завод. Да-да, с оружием». Колобродько — в полной форме и с табельным оружием — взял прапорщика Тагматова с АК-74 и на патрульной машине полетел к заводу.

В самом деле, неизвестные в камуфляже и в чёрном трикотаже с прорезями палили в воздух из автоматов, требуя от охраны, чтобы та открыла ворота. В тридцати метрах стояла милицейская машина с тонированными стёклами — копия той, на которой прибыли Колобродько и Тагматов. Майор успел заметить, как кто-то из нападавших — долговязый легковес в пятнистом комбинезоне, подъятый на плечи пятнистого верзилы — перемахнул через ворота и отпер их изнутри. Проходная завода теперь была нападающим без надобности — разве только для мести.

«Опоздал!» — как жаром обдало майора Колобродько.

Он рывком остановил одного из банды, бравших в оцепление периметр завода, а тот, увидев майорские погоны, нехотя остановился:

— Ну?

— Ты мне не «ну»!.. Где у вас старший?

— Вон в машине! — показал тот на УАЗ неподалёку.

Пришлось майору стучать в чёрные стёкла, прежде чем одно немного опустилось:

— Ну?

— Майор Колобродько, начальник райотдела. Вы чьи люди?

— Щас узнаем, чьи мы люди! Шеф, тут майор Колобродько нарисовался... Чо? Дать ему трубку? Даю...

Колобродько прижал к уху горячий от бандитской хари телефон и услышал знакомые матюки Юльдина:

— Ты чо там забыл, майор? Не мешай операции!..

— На каком основании, без ведома территориальных органов...

— Слышь, майор, ты провоцируешь вопрос о служебном соответствии! Так тебе и предъявят основание... Тут судебное решение, понял? Есть вещи, перед которыми трещит субродинация, понял?

Колобродько громко приказал стоящему рядом Тагматову, чтобы Юльдину стало понятно:

— Сергей, дай предупредительную очередь!

— Отставить! — рявкнул Юльдин прямо в ухо Колобродько, до глубины головного мозга. — Тебя разоружат сейчас! И за гильзы потом не отпишешься!

— Твои тут тоже постреляли!

— У меня в ажуре будет!

Тагматов стрелять не решился. Он первым понял, что им с майором здесь непуха.

— Колобродько! — более спокойным тоном сказал ему в ухо Юльдин. — Иди право охраняй! А я буду правами заниматься, ты этого не умеешь!

— Не правами ты займёшься, а платными услугами «крутому населению»! — отчеканил Колобродько и отключился.

— Пошли в машину, Тагматов! — сказал он прапорщику, уже не оглядываясь на злополучный завод, на СОБР или не-СОБР, и сам уже — не майор, а будущий плотник Иван Колобродько.

Но в Сибири ведь каждый второй — точно плотник, и кому ты будешь нужен, Иван?

Остаток дня он провёл у себя в кабинете, освобождая стол и ящики от лишнего, нелепого и ненужного, что может быть осмеяно посторонними.

После этого хотелось не домой, а к Маше, но надо было тащиться на «халтуру» в конторку «рога и копыта».

Вот те и свадьба, Иван! «Сватовство майора», понимаешь... Не ошибся ли ты, Николай-свет Фёдорович?

Заняв своё потаённое рабочее место на вахте «рогов и копыт», Колобродько рассупонился, залил чайник, заварил чаю и распаковал приготовленный Машей «сухпаёк». Выпив чаю с пирожками и закусив крутым яйцом, он пришёл в отрешённое состояние духа и подтащил к себе старомодный телефонный аппарат.

— Маша, привет!

— Привет, Ванечка! — прозвучало с необычной для Маши горячностью. — Ты на вахте?

— Точно.

— Слушай, у меня нет слов: этот норильский отморозок выкупил «чёрный квадрат»... этого, как его, Малевича — и подарил Эрмитажу! И знаешь, за сколько? За четыре миллиона с гаком — зелёных! Я не могу-у-у!

Возмущение Маши не поколебало фатализма Ивана Колобродько, а только усилило:

— А я тебе не говорю, что телевизор вредно смотреть, вызывает онкологию?..

— Да включила-то без задних мыслей...

— ...а они — в телевизоре, — докончил Колобродько Машину мысль. Но что-то в его голосе заставило её спросить:

— У тебя всё в порядке?

— В полнейшем. Скажи, Маша, как ты ко мне относишься?

— Тю на тебе!

— Ну, вот как ты про меня думаешь? Или как твои Зоя, Рая с тобой про меня говорят? Кто я для вас — твой муж или хахаль, или начальник милицейский, или офицер?..

— Если честно, я ни от кого не слышала, что ты начальник или офицер. Кто тебя мельком знает, говорят: мент. Зоя, Рая говорят: твой Иван. А я думаю: мой Ваня. Так тебя устроит?

— Устроит, — голосом робота ответил Колобродько. — А если я буду плотником?

— Так что — перестанешь быть моим? Да что на тебя нашло? Неприятности?

— Перемелется! — ответил Колобродько чуть поживее. — Пирогов напечём... А знаешь, что?

— Что, Вань?

— Завтра понесём заявление. А потом к священнику — знакомиться. Я боюсь один.

— Куда один боишься? К священнику? Не бойся, я с тобой!

Они нежно пожелали друг другу спокойной ночи, и Колобродько с ещё большим фатализмом начал подозревать, что всё, что ни делается, может быть, и к лучшему.

35.

Алекс показался Наде типичным московским краснобаем, разве что не прибавлял, как записные гости телестудий, вопросительное «да?» после каждой фразы. А так — ничем от них он выгодно не отличался.

Зато обескураживала его демагогия. Почему-то о гражданском обществе триндят те же люди, кто делает вид, будто восторгаются «современным искусством». Надя таким никогда не верила. Этот про искусство не заикался. Да и какая разница? Эта встреча случайна, ни к чему не обязывает... Хотя он дал понять, что у Аслянского ещё может оказаться — и там они с Надей могут ещё увидеться.

Видимо, он ждал какой-то Надиной реакции, но Надя ничего не сказала. Когда он спросил её телефон, она протянула ему визитную карточку.

— Э, да тут только рабочий телефон! — воскликнул он.

— А вы хотели домашний? Зачем?

Он выпятил грудь и поднял подбородок, выражая обиду, и это выглядело смешно. Он был на полголовы ниже Нади ростом.

— Я, значит, опоздал? — спросил он.

— Нет. Поторопились.

Тогда он сменил тему: спросил, куда она ездит в отпуск, интересно ли ей жить в Великорецке.

— Жить — вообще интересно. В нашем городе миллион жителей, величаявая река, много студентов, кругом тайга, богатая история... Правда, мало мостов!

— А что делаете в свободное время?

— По-настоящему свободное — это когда я могу почитать.

— Я в школе тоже любил читать.

— А что вы любили?

— Сначала Виктора Гюго, потом академика Тарле... Но помню, что на меня произвёл впечатление «Обрыв». Не «Обломов», а именно «Обрыв». Хотя я всё забыл, но помню впечатление.

— Да, это сильная вещь.

— А что вы молчите про ваш отпуск? Куда ездите?

— В Подмосковье. На Азовское море...

— А за границу?

— В Турцию, что ли? В Таиланд? Или в Египет? Не те страны, что мне интересны.

— А какие вам интересны?

— Вы не поверите.

— Я всему поверю.

— Например, Парагвай.

— Правда? Но там же моря нет.

— Зато море в Греции. Там тоже интересно.

— И где вы уже побывали?

— На острове Корфу. Только его настоящее название — Кёркира.

— А вы хотели бы поселиться когда-нибудь, ну, не в Таиланде, вас туда не тянет... На Маврикии, например? Вечное лето, высокий уровень культуры...

— Но ведь это скуотища — лето круглый год! Это с ума сойти!

— Интересная мысль! — Алекс посмотрел на Надю чуть по-другому. — Ну, тогда можно часть года проводить... в Исландии!

— Да, тоже интересная страна! Но на какие шиши кататься? А я ещё и на Камчатке не была — вот где наша Исландия!

— Можно заработать! — многозначительно произнёс Алекс.

— В Москве вам всё видней! — ответила Надя, которой эта тема совсем перестала нравиться. И Алекс это заметил.

— В международных организациях, например... — поспешил он добавить.

— Я английским не увлечена, — возразила Надя.
 — Это не обязательно. Найдётся, кому переводить.
 — Вы что, такой всеильный? — немного возмущившись его бахвальством, воскликнула Надя.
 — Во всяком случае, я мог бы вас научить!
 — Вам книжку некогда почитать, не то, что меня учить, — она достаточно сухо сказала это, чтобы он переменял тему.
 — Не знаете, Надя, в магазинах продаётся «Обрыв»?.. — он запнулся: ему было не вспомнить фамилию писателя.
 Но Надя не стала ему в этом помогать.
 — Если нет в магазинах, то найдётся в библиотеках.
 У неё дома был «Обрыв», но изданный ещё в позапрошлом веке, таким не стоит рисковать.
 — Да, да, точно!.. — радость Алекса была преувеличенной. — У меня в гостинице, кажется, есть библиотека. Только читать, в самом деле, здесь некогда.
 «Занятой человек!» — подумала Надя и ни слова не сказала в ответ.

«А почему я об этом думаю? — спрашивает она себя. — Что за нужда такая? Нет никакой нужды».

* * *

В то время как Надя испытывала смешанные чувства в связи с этим новым знакомством, а скорее, даже отрицательные, у Вершмана сохранялся вполне оптимистичный настрой. Всё, что он делал, было правильно, обстоятельства были достаточно управляемы, а если что-то в будущем и могло его смутить — так это морозная Якутия. Однако он верил, что найдёт гениальное решение этой маленькой проблемы — успешное и всех удовлетворяющее.

К сожалению, протяжённость этой страны была нестерпима для пристрастного путешественника; и вообще она требовала усилий не одного Алекса Вершмана. Да он и знал, что здесь он не один.

Для чего им такие пространства? За одно лето все регионы никак не понять — и людей не окучить; после каждого обработанного участка придётся возвращаться на зимовку в Москву; итак, тёплую половину следующего года он проведёт в Татарстане и в Якутии. В Москве тоже много недоделанного. А всего два года работы.

В субботу Вершман вызвал Анатолия с машиной и стал совершать целенаправленный объезд Великоречья: все культовые святыни — от православных до адвентистов и так далее, все научные институты — от местного отделения Академии наук до прикладной математики и краеведения.

Все посещённые места он заносил в планшетную базу данных: общий вид (фото или видео) и всё, что наговорил ему по поводу каждого места словоохотливый Анатолий. А в течение рабочей недели Вершман их последовательно посетит.

К пяти часам дня Вершман почувствовал усталость: они трижды по разным мостам пересекли Енисей — и всё это время без обеда. В качестве меры по укреплению сотрудничества, Вершман оплатил их общий то ли обед, то ли ужин в закусочной, которую выбрал Анатолий.

— Я гляжу, вы аппетитом не страдаете! — заметил ему водитель, видя, что Вершман не съедает и половины своих порций. — Что, невкусно?

— Всё вкусно, — ответил Вершман. — Но я себя знаю. Лишних проблем не хочу.

Анатолий постеснялся расспрашивать и стал приканчивать свой ростбиф.

— Вы сегодня вечером свободны, Анатолий! — сказал великодушно Вершман. — Отдыхайте!

Он знал, что вечером возьмёт такси.

36.

Звонок в дверь раздался неожиданно, хотя, если честно, Надя чего-то такого ждала.

За дверью стоял округлённый в оптике «глазка» Алекс Вершман с букетом оранжевых роз. «Его цвет!» — сказала себе Надя, отпирая дверь.

— Здравствуйте, Надя! Я без предупреждения: ваши телефоны засекречены, так что... Считайте меня курьером из фирмы «Цветы»!

— Спасибо! — сказала Надя, принимая букет. — Проходите, пожалуйста.

— А можно? — с «робкой» недоверчивостью, дурашливо взглянул на неё Алекс.

— Проходите, проходите! — почти пропела она, и в этом пении звучало: «Ну, вот ещё!». И сразу добавила:

— Присядьте на минутку!

Вершман сморгнул, как от пощёчины, но ничего не сказал в ответ: он же назвался курьером.

— В ожидании чаевых?.. — наконец выдал он.

Надя рассмеялась:

— Извините, Алекс, не могу вам даже чаю или кофе предложить — опаздываю на свидание с подругой.

— Понял! Могу помочь, у меня такси внизу!

— Правда, такси?

— Правда, правда!

— Это кстати! Только мы с подругой нацелены на девичник, пригласить вас не в состоянии.

— Это огорчает! Но надежду не убивает.

— Меня-то уж точно не убивает! — её лицо просияло сарказмом.

«Боже, что за голос!..» — сказал себе безбожник Вершман. А вслух объявил:

— Победа близка, но несколько отодвигается!

— Нравится мне ваша самонадеянность, — рассеянным голосом произнесла Надежда, надевая лёгкий летний плащ.

Ответа она не ждала, и он промолчал, только встал к выходу, потому что дальше сидеть на диванчике было неприлично по всем понятиям.

А Надя не стала выяснять, откуда он знает номер её квартиры; эта его настырность ей мало польстила.

Подруга ждала Надежду в десяти минутах езды — в кафе-таверне «Иоанидис». Название таверны Вершману показалось выразительнее, чем сама подруга, которой он был представлен (а не наоборот). Всё же Надя не решилась его тут же отослать:

— Мы с Верочкой вас угостим отличным кофе. Правда, Вера? А дальше мы останемся сплетничать.

— В замечательных устах даже сплетни становятся сказками Шехерезады! — галантно ответил Вершман. (Между нами говоря, он всё же имел какое-то европейское воспитание, а может быть, даже следы советского.)

— Нет, — возразила Надя, — вам это будет неинтересно.

— Объективно — конечно, да! Но я у женщин слышу только голос — и потому всегда в выигрыше.

— Какой он интересный у тебя! — не без зависти сказала Вера.

В ответ он похвалил кофе, а через пять минут, с отзывом Веры в ушах, покинул дамское общество.

Он не хотел форсировать победу объявлением своего гражданства, которое считал неотразимым, но посторонним доводом; он хотел насладиться естественным достижением своих целей — в силу собственных природных качеств.

Немного поразмыслив, он решил на следующий день её не тревожить — заняться деловыми визитами и вечер тоже отдать ужину с деловыми партнёрами. А может, и ещё один день провести точно так же; чтобы его очередное появление возбудило больший интерес, сердечное любопытство или сочувствие к тяготам путешественника. Даже ссора будет лучше, чем это пресное «выканье», чем советский застой. После ссоры будет примирение, которое, как правило, ведёт к пересмотру границ.

После рейдерской атаки на завод и стычки с Юльдиным Колобродько ходил под нависшей кувалдой возмездия — сам себе удивляясь, как это он посмел, что за бес его дёрнул — и как это он до сих пор майор. Можно было думать, что сыграло свою роль присутствие подчинённого — Серёги Тагматова, перед которым не мог майор показать себя слабаком на фоне вышестоящего разбойника. Но на фоне безрассудства Колобродько прапорщик показал себя законченным реалистом.

— Маш, а Маш, — обращается он к женщине, у которой укрылся от множества видимых и невидимых зверей. — А если б я был простым рабочим на РТИ, ты согласилась бы пойти за меня?

— А куда бы я делась? И куда бы делся ты?

— Слишком просто ты отвечаешь. А я мучаюсь.

— Чего ты мучаешься, сердце моё?

— Да вот... С полковником схлестнулся.

— Ой!.. — Мария прихлопнула свой рот ладонью. — С полковником!..

— Да, с полковником. Хотя, какой он к чёрту полковник!

— Ну, и что теперь будет?

— Пока ничего. Но система злопамятна. Им пока не до меня. Или замену ищут, кому-то звезду чеканят...

— А если что, так я и биться за тебя не могу: я для них никто.

— Так ты по-прежнему согласна?

— Конечно.

— Тогда который час? Тогда вот что: отложи картошку и морковку, вымой руки, бери Олечку — в церковь идём.

— А в ЗАГС?

— Сначала в церкву объявимся. Попросим чего-нибудь.

— Это благословение, значит.

— Ну, да, оно самое.

Олечка встал от игрушек и молча слушал. Взрослеет не по дням, а по часам.

Оно и хорошо: в такое-то время!

* * *

После вечерней службы священник, отец Сергей, выслушал Ивана и Марию обоих, потом порознь расспросил и велел завтра утром прийти к причастию, «ничего не вкушая». Слава Богу, завтра воскресенье, мирное время — тревоги нет.

Церковь им понравилась, священник тоже, особенно Олегу. А Ивану понравился хор с его пением — там был такой момент, когда от пения у Колобродько душа окрылилась. Он спросил у паренька, который в церкви явно был своим: что сейчас поётся? И тот сказал: тридцать третий псалом.

Маша дома сказала Ивану, что поп имел право наложить на них епитимью, типа карантина, за долгое отпадение, но радость от возвращения блудных детей всё преодолела — и он их, от имени Божия, простил и принял.

— Только нам теперь аж до венчания — нельзя, не смей! Ты понимаешь, Ваня?

— Понимаю, Маня! — по-детски радуясь, обнял её Колобродько, а Олег, подойдя, обхватил их за ноги.

Как тут было не вспомнить Настю? И сердце Ивана заметалось между радостью и бедой.

* * *

Дорогой Николай Фёдорович!

Сегодня мы всей будущей семьёй приняли святое причастие. Ну, и подали заявление с Машей в госконттору. Надо мной по службе сгустились тучи, но пока не гремит. Могу запросто вылететь — и кому будет нужен такой отец семейства?

Ваш

Иван Колобродько

Здравствуй, Иван!

Когда Бог не выдаст, то никакая свинья не съест. А кем ты будешь — героем, жертвой или не будешь ни тем, ни другим, знает только Он. Ты знай молись — уповай, своё делай и не тревожься. Знаешь офицерскую заповедь? «Делай как должно — и будь что будет!» А один поэт писал (не знаю, кто): «Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена!» Ты думаешь, имена пропавших без вести сгинули? Они в сердце у Бога. Он всё вместит. Они в памяти вечной, и большинство — в Его садах. Ничего не бойся, чадо! Ничего не бойся! Ничего! Нет ничего на свете, чего надо бояться, кроме Бога. Боль трудно вытерпеть, я знаю. Но Он даёт ровно столько, сколько можешь вытерпеть ты сам и домочадцы твои. Молись и знай, что я за тебя молюсь.

Твой,

Николай Совертинский

p.s. Владимир Афанасьевич снова добился возобновления уголовного дела по убиенным отрокам. Н.С.

День добрый или вечер, Николай Фёдорович!

Спасибо Вам за письмо. Я согласен полностью, но так думать, как Вы думаете, мне ещё трудно. Потихоньку привыкаю, приучаю себя не бояться никого, кроме... А что касается возобновления дела, то это — формальный момент: просто папки с бумагами останутся в прежнем шкафу, а не в другом.

Конечно, всё вытерпеть надо, пока мы здесь. Скажите, когда можно зайти посидеть у Вас?

Ваш И. Колобродько

* * *

Дорогая любимая доченька Настя!

Спасибо, письмо твоё получил. Я придумал, что нам делать: буду подавать заявление в суд, чтобы отменили то прошлое решение и чтобы послушали тебя. Ты будь готова всю правду рассказать в суде — и тогда, очень может быть, твою просьбу исполнят.

Знаешь, Настенька, как мы проведём наш следующий день? Мы с тобой пойдём в гости к хорошим людям — к мальчику Олегу, ему всего четыре года, и к его маме, она в больнице врачам помогает. Тебе Олег понравится, и тётя Маша тоже, а ты пока напиши, что тебе хочется, чтобы тётя Маша сготовила для нас — гостей. Ладно?

Один добрый дедушка научил меня молиться за тебя — и за нас с тобой, молитва уже помогала мне, ты тоже тихонько, своими словами, молись, чтобы никто чужой не подслушал, и нам станет легче, и ты с Олегом подружишься, и судьи тебя послушаются.

Я оставил у Ольги Семёновны новый мобильник, чтобы ты могла мне звонить, когда заходишь к ней. Зайдёшь — и звони, мы поговорим. А за письмами твоими я буду всё равно приходить. Крепко тебя обнимаю, целую.

Твой папа.

* * *

Здравствуй, Иван!

Заходи, когда хочешь. Н.Ф.

38.

Вершман три дня был занят исключительно своей миссией во благо российской демократии и был недоступен для наблюдения и комментариев. Когда случалось ему заскучать — обычно это происходило перед сном — по пресс-секретарю великорецкого губернатора, он утешался своей уверенностью в том, что время работает на него — на Алекса Вершмана.

В среду вечером он ей позвонил — уже не в дверь, а по телефону, грубо ставя Надю перед фактом: хочешь ты или не хочешь, а твой домашний телефон мне известен.

Зато повёл свои речи предельно мягко и деликатно: прошли, мол, у меня три серых дня без просвета и просвета, вдалеке от вас, представьте себе, развился острый авитаминоз — надо срочно услышать ваш голос...

— Уже ведь слышите, разве нет? — улыбнулась Надя, и ухо Вершмана эту улыбку уловило.

— Это по проводам! Это не лечит! Послушайте, Надя, вы могли бы завтра найти время для меня?.. Я мечтаю об экскурсии по вашему прекрасному городу в прекрасной компании — я его совсем ещё не видел! Я не хочу любить его заочно, сидя в кабинетах и на конференциях — нет! Только очно, рядом с вами — и вам сдавать экзамены!..

— Да вы златоуст, Алекс! Вы опасный человек! — воскликнула Надя, торопливо соображая, как ей поступить, и не вмешались ли тут высшие силы: ведь просьба Алекса совпала с её свободным, так называемым «библиотечным», днём четверга — и она могла им свободно распорядиться, поскольку Аслянский ничем её на завтра не загружал.

— Значит, вы согласны? Правда? — в голосе Вершмана ей послышалась неподдельная радость.

— Я ещё не знаю. Дайте подумать.

— Я подожду! — прокричал он ей в самое ухо. Вот чокнутый!

— Ладно, приезжайте на то место, где мы с вами в прошлый раз расстались... Да, кафе «Иоанидис». С Октябрьского района начнём — и сделаем тур по городу.

— Великолепно! Вы бываете ангелом! Или вы — всегда?..

— Нет, не бывала. Никогда! — отрезала Надя. — Не говорите лишнего, а то передумаю.

— Только слушать и буду — обещаю!

— Тогда — через час на том же месте!

— О'кей! — произнёс Алекс; её слегка покорило, а он положил трубку.

Он её опередил: сидел с чашкой кофе на открытой террасе, а она, замедляя шаги, подумала сразу о двух вещах: что лучше бы учить его не очно, а заочно, и что пиво было бы хуже, чем чашка кофе на столе. Ах да, он же за рулём! Пиво исключается. Хотя, с другой стороны, он же знаком с Аслянским.

Он вскочил и подвинул спинку её стула, задирая подбородок, будто тянулся к её щеке. Надя увернулась и увидела, что он выпил свой кофе: тем лучше!

— Пойдёмте? — предложила она.

— Вам взять что-нибудь? Сок, виски, кофе?

— Ничего, спасибо. По дороге посмотрим.

И он приехал на такси! Это она оценила: не служебка, а такси — и такси, которое ждёт. Редкий москвич доплывёт до середины Днепра, а этот долетел до Енисея... Кое-какие вещи до него доходят!

До этой минуты она была порабощена ролью гостеприимной хозяйки, наконец — патриотки своего города, а теперь ощутила свою свободу...

— Значит, так, — сказала Надя таксисту, молодому симпатичному парню, — покажем московскому гостю центр, обязательно — Стрелку и Часовню, заезжаем на Татышев остров, Роев Ручей, оттуда — по Рабочему проспекту до Верхней Базаихи и Столбов. Остановками команду не я, а где барин скажет.

— Годится! — в унисон подтвердили таксист и Вершман, что всех развеселило.

Вершман назвал центр города симпатичным, что несколько даже обидело таксиста, но вскоре Алексу довелось ахнуть, когда он увидел на улице пальмы, растущие из тяжеловесных кадок.

— Мы единственный город в Сибири, где на улицах пальмы растут! — не без гордости сказала Надя.

— Через лет пятьдесят они здесь будут уже без кадок расти! — сказал Вершман.

— Имеете в виду потепление? — откомментировала Надя.

— Кстати, — вмешался таксист, — мы сейчас в Западной Сибири, а поедем Енисей — и будет Восточная!..

— Русские всегда мыслят геополитически! — вслух констатировал Вершман.

— Как это? — спросила Надя.

— Масштабно! — пояснил Алекс, уже поняв свою неосторожность.

Начиная со Стрелки и Часовни — исторического ядра Великорецка — Вершман попросил водителя, чтобы тот сфотографировал его с Надей.

— Алекс, вы меня забыли спросить, — напомнила ему Надежда.

— Простите! Я не подумал, что могу скомпрометировать вас!

— Да ничем не скомпрометируете, но разве не положено спрашивать? Вот уж эти москвичи!

— Надя, можно с вами сфотографироваться?

— Только не для вашей книги! Просто так — пожалуйста.

Вершман отдал камеру таксисту и шепнул: «Щёлкай везде, где мы будем выходить!»

Выходили они часто, прогуливались на острове, вдоль Рабочего проспекта (который оказался главной улицей правого берега), и у живописных горных отрогов Базаихи (где Алекс произнёс «Вот это да!»), а после Столбов, где Вершман выдохнул «Ух, ты!», он сказал, обернувшись к Наде:

— Кусочек Рио-де-Жанейро!

Это произвело впечатление на водителя, Надя же взяла Вершмана за локоть и потащила его к Енисею.

— Ну, как? — спросила она, когда они встали над панорамой реки.

— Не слабее, чем залив Святого Лаврентия! — пустился на лесть Александр.

— А это где?

— Это в Канаде.

— Эк вас по свету кидает, господин журналист! Или вы шпион?

— Всякий журналист должен по натуре быть шпионом! — отшутился Вершман. Он почувствовал себя обязанным выдать некий образный слепок своих впечатлений, чтобы впоследствии пресс-секретарь губернатора и этот таксист могли его цитировать:

— Ваш город — это фантастика. Это гигантский пирог: кольцо жилых районов с начинкой из зелёных островов и голубой воды, мы же сделали только малый круг вокруг этой начинки.

Он посмотрел на лица слушателей и утешил себя тем, что «как получилось, так и вышло».

Эти реплики стали как бы вешками их путешествия, составившего по спидометру добрую сотню километров, а содержание бесед на открытом воздухе, шедших между Алексом и Надей, станет предметом её размышлений в течение беспокойной ночи.

Теперь же она приказала таксисту доставить Алекса к его гостинице, откуда намеревалась переправиться на свой берег общественным транспортом.

— Но почему, Надя? — с огорчённым видом спросил Вершман.

— Очень просто: я так хочу! («Короче, мне есть о чём подумать!»).

39.

Начать с того, что уже у «Часушки» Алекс плохо проявил себя... Когда Надя предложила пройти в часовню, Алекс отказался.

— Необязательно быть верующим, чтобы осмотреть интерьер! — сказала она ему.

— Конечно! — пожал он плечами. — Я думаю, что бога нет, но что-то есть...

— Очень глубокая мысль! — восхитилась Надя, и от Алекса не ускользнул её сарказм.

— Евреям не обязательно быть религиозными! — он с вызовом глянул на неё. — Мы всё равно богоизбранные.

— Были — да сплыли! — она в упор смотрела на него — Даже Аслянский такого говорить не смеет! И вы себе, Алекс, противоречите: бога нет, но вы богоизбранный!

— А вы могли бы полюбить еврея? Или просто ответить на его чувство?

— Ответить?.. Не знаю. Но крещёный еврей — уже не еврей.

Алекс не согласился.

— Это наивная точка зрения. Даже член партии Гитлера для нас остаётся евреем. Гейдрих, например. Даже Ян Френкель, который пел, что он — колосок русского поля, для нас еврей. Архиепископ русской церкви — для нас тоже еврей, когда он еврей по крови.

— Почему для вас кровь такое значение имеет? Ведь во Христе нет ни эллина, ни иудея.

— А вне Христа есть только иудеи и все прочие.

— Тогда зачем вы спрашивали, способна ли я ответить на любовь иудея? Зачем это вам?

— Потому что... А давай на «ты», а?
 Надя пожала плечами:
 — Если вам так удобно.
 И он оставил её вопрос без ответа.

В какой-то другой момент он стал говорить о еврействе, гениальности и патологии, объявив эти три категории синонимами.

Надя уже поняла, что надо слушать и не перечить.

— Вот был такой поэт — Леонид Аронзон. Никакой русский не мог бы сказать, как он: «Ты стоишь вдоль осеннего сада...» Гениально!

— Нет, неправильно! — с улыбкой возразила Надя. — Если хочется «вдоль» — так беги, иди, ну или хотя бы ложись в струнку. И не сада, вообще-то, а вдоль ограды. Или сад у вас — узкий и длинный?

Алекс поддразнил её:

— Только учительница в школе может не понимать гения. Остальные — понимают!

— Я, действительно, не знаю такого поэта. Вы сказали — он был?

— Да, был. Потом застрелился из ружья на глазах у любимой. Гениально.

— Безответное чувство?

— Почему? Она его любила. Но ради поэтики, ради эстетики он ушёл из мира простых вещей...

Надя призналась, что не улавливает подобной эстетики; на это Алекс дал словесную картинку: багряно-золотистая осень, капли росы на листьях, поэт и любимая в отпуске, он поговорил с ней о вечности, о своей безграничной любви, она отошла приготовить им завтрак — и когда прибежала на выстрел, из дула его ружья ещё вился дымок... Такой миг равен вечности.

— Это безумие, — без малейшего пафоса ответила Надя.

— Ты так думаешь? — тихо спросил он. — Я буду думать, как ты. Я же сказал, что гениальность — это патология. И это не я сказал, а Чезаре Ломброзо. Тоже наш гений. Впрочем, только евреи имеют право судить о евреях.

— Ну, тогда сами лечитесь!

Он засмеялся. Потом сказал:

— А знаешь, Надя... Я тебя люблю.

Сказал это без пафоса, без восклицания.

Оба молчали. Чтобы прервать молчание, Алекс продолжил признания:

— Меня холодит от мысли о нашем расставании. География моей... (он чуть не сказал: миссии) ...моего путешествия включает ещё раз Москву, потом Татарстан, Якутию...

— Вот в Казани и говори татарам: Татарстан. А здесь у нас — Татария.

Он взял её за руку:

— Спасибо. Говори мне всё, что хочешь!

— Пока мне нечего.

* * *

Про такое говорят: вот не было печали!

Поскольку она ничего не говорила, продолжал говорить один Алекс. Рассказал о родителях, о маленьком Таллине, которому, несмотря на присутствие моря, даже не снилось то величие, которое Енисеем сообщается Великоорецку.

Алекс был сам ещё недавно, каких-то лет пять-шесть назад, гражданином независимой Эстонии, но расстался с этой мелкой родиной из-за государственной русофобии.

Потом он стал пытаться её мнение — сугубо личное — насчёт того, действительно ли «наш президент верит в Бога». Станный и неожиданный был вопрос.

— Откуда... — возмущённо вспыхнула Надя. — Понятия не имею! Зато Аслянский — точно ни в бога, ни в чёрта...

«Да Аслянский меня не беспокоит! — мысленно ответил Наде Алекс. — Аслянского свои ведут...»

— А вы контактируете с Духовным управлением мусульман Урала и Сибири? — не успокаивался он.

— Администрация края? Чисто формально. К нам претензий нет.

И это в такую кучу странностей, накопленных за неполный день, он забабахал ей признание в любви...

Ну, что за день! Дурдом и наводнение!

40.

Время стирает боль и смывает кровь, поэтому Колобродько вспоминал потом юмористически: «Иду я мирно себе на работу, никого не трогаю, и вдруг — на дороге бульдозером стоит сам Юльдин...»

Но далее расскажем, как оно было, кроме шуток:

— А, так ты ещё тут? — удивился Юльдин. — Не уволен? Ладно, командуй пока. Только вот что: сегодня ты свободен, мне твой кабинет понадобится. Может, на весь день! Иди, отдыхай, пока цел!

Майор послушаться не мог, но и не мог оставить кабинет для неизвестных целей. Остался караулить дверь до наступления полной ясности: не обыск ли это?

Вскоре ясность наступила: к Юльдину в кабинет потянулись известные майору личности — родители мальчиков с улицы Глинки. Значит, Юльдин пригласил их на переговоры не в ГУВД, а в райотдел по месту жительства. Снижение цены вопроса на уровень микрорайона.

При прочих равных условиях Колобродько только радовался бы неожиданной свободе — залёг бы сна добирать или постарался бы с дочкой перед школой наскоро поговорить, но сейчас он с тяжёлым сердцем пошёл к Николаю Фёдоровичу.

«На свете счастья нет, а есть покой и воля», — твердил он по дороге свою любимую строку из Пушкина. Не радовал ни солнечный день, ни даже предстоящая свадьба — как-то и она померкла в траурной дымке. На солнце под ветерком сверкали листья деревьев, отсылая на землю сотни мельтешащих солнечных зайчиков, а в душе у Колобродько висела чёрная ночь.

Николай Фёдорович отворил Ивану и собственноручно усадил его в кресло, видя по лицу гостя, что сам он дороги не найдёт.

Колобродько стал рассказывать... Долго рассказывать было нечего: старик всё понял.

— Родители... — неопределённо произнёс Николай Фёдорович. И повторил: — Родители... Их, конечно, перекупят. Чтобы дело закрыть. Ещё и припугнут, если понадобится. И я не смогу их осудить. Я их скорее осужу за всё, что было до убийства: за недосмотр, за недовоспитание...

Старик замер — и поднял палец:

— За недовоспитание собственным примером!.. За футбол по телевизору, когда мальчишки сами по себе — вот за это осужу, прости Господи! Наши земные родители — это, конечно, родители! С пелёнок, по-теперешнему с памперсов, это самые родные, самые дорогие, это — всё!.. Но их нам тоже даёт Господь — это врата для нашего появления на белый свет. Дети — родителям дар, и родители — дар детям, и всё от Бога. Но дар — это ещё и крест. Это правда!.. Святые слышат нас, и я не смею соврать!

Наши родители — они же наши братья и сестры во Христе, потому что у нас один Отец Небесный! И вот он забрал к себе отроков — он их и устроит! А с родителей земных он спросит. Но неизмеримо строже спросит с убийц! — Николай Фёдорович стукнул кулаком по столешнице.

Колобродько зримо представил себе всё услышанное, вспомнил прежние слова старца и, медленно озираясь, стал признавать многомерность бытия.

— Не для моего это компьютера! — стукнул он себя по лбу.

— И не для моего! — присоединился Николай Фёдорович. — Вот я не один год обижался на дочку, что вижу её только раз в год. А сегодня, аккуратно перед твоим приходом, понял, что обижаться нельзя.

— Почему? — спросил Колобродько.

— А потому, что у неё не меньше причин обижаться: росла без семейного тепла, без матери; зато теперь, слава Богу, ей свекровь совершенно как мать...

— Редкий случай! — воскликнул Колобродько.

— Не такой уж редкий, доложу тебе. Фольклор не всегда правдиво излагает.

— Всё же могла бы она почаще приезжать! — движимый сочувствием, бестактно сказал Колобродько.

— Могла бы, — и бровью не повёл Николай Фёдорович. — Но так ей суждено: когда меня не будет — пожалеет об упущенном, а я сейчас её наперёд жалею.

Колобродько задумался; изредка посматривал на старца, дивился: как это он здесь — и такое слушает, а не на службе — анекдоты сослуживцев.

— Вот говорят, Николай Фёдорович, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным...

— Мы же это обсуждали, — поднял тот белые кустистые брови.

— Да, я помню... Если кто-то строит храм и по-прежнему прелюбодействует, ворует и всё благополучно, то его такая жертва Богом не принимается. Но тогда, отче, что — в таком храме и молитва не принимается?

— Принимается. По вере молящихся — и принимается, и воздаётся. Но тот, на чьи деньги выстроен храм — он молитве той не сопричастник. Как раз нападения бесов говорят о том, что жертва угодна Богу, что молитва твоя не ложна — и потому разозлила бесов. А те, кто повторяет поговорку, что добрые дела наказуются — это просто попугаи; а то и хуже: ищут оправданий, чтобы добрых дел не делать. Так и ты откладываешь своё венчание. Но дело, конечно, твоё...

— Не откладываю, отче!.. Наоборот, ускорил госконтору и в церкви договорился! На среду! Приглашаю вас!

— Благодарю, сынок. Но если не увидишь меня, не удивляйся. Значит, я за вас молюсь перед этим иконостасом.

Николай Фёдорович размашисто перекрестился на образа.

Колобродько заметно огорчился.

— Там будут люди. Много людей, — продолжил Николай Фёдорович, — а я дорожу своим одиночеством: не бываю в нём одиноким. Моё время кончилось — и вроде как наступила вечность: больше не на что отвечать, больше некуда опаздывать.

Колобродько смотрел на старика, как зачарованный. Не сразу до него дошло, что всё уже переговорено — пора и честь знать.

Он шёл домой и на протяжении квартала дважды испытал радость: переведя согбенную старушку у светофора и увидев молодую маму с двойняшками в коляске.

Зайдя в райотдел, он убедился, что Юльдин отбыл, а служба движется штатно. Пора была собираться на секретную халтуру — домой, успеть переодеться. Заступив на дежурство, к полуночи он, против обыкновения, уже спал чутким, тревожным сном и видел вечность. Она была невидима, но распирала ему сердце. Он хотел узнать, что будет, но не знал, смеет ли обратиться и как.

Настина мать толкала его в бок: спроси, спроси! Всё это странно и безвыходно — и без звука хохочет ему в лицо. Ни руку поднять, ни ногой пошевелить. Ещё не просыпаясь, но уже чувствуя своё мокрое лицо, он падает из невесомости: «Я же с ней давно развёлся! Уф!..» А только что она ему кричала вдогонку: «Это я, это я тебя прекратила!»

Прекратила, а я проснулся. Пора уже. Светает.

41.

«Признался лгунишка в любви — и с перепугу пропал. А нам не привыкать!

Несчастный Колобродько меня не вытерпел: «слишком умная». А этот, хоть он мне и даром не нужен, тоже не прост: учуял во мне что-то не своё. Ну, и молодец!..»

Асянский жутко повеселел: только успевай увернуться — не то хлопнет по заднице. Видно, всё у него хорошо. Родители мальчишек отозвали свой иск, адвоката шельмует местное радио, но администрация края молчит как советский партизан: она ни при чём.

Стоит жаркая погода, надо сегодня пораньше с работы уйти — хотя бы час на пляже поваляться; Вера позвонила и позвала. Через сорок минут можно и отчаливать.

Звонок.

— Надя, как дела? Ты не забыла меня?

— Не забыла, но подзабыла. Ты кто?
— Эстонский беженец. Прошу приюта!
— А я думала, ты московский ньюсмейкер.
— Нет. Я нигде не бил посуду — жил, как мог, писал, как мог...
— А прославиться повсюду «СиЭнЭн» тебе помог!
Алекс подавился то ли смехом, то ли кашлем:
— Надя, ты о чём?
— Да ни о чём. Просто стихи.
— А!.. А здорово получилось! Надо продолжить сотрудничество. Погода пляжная — поехали!
— Мне Александр Геннадьевич запретил посещать пляжи — ради нерушимости имиджа.
— А мы найдём уединённый...
— Это с незнакомым мужчиной? Исключено!
— Надя, мы давно уже на «ты»!
— А виделись — без году неделя.
— Отпускаю машину, беру такси — буду через полчаса... Плюс-минус «пробки»!
Конец связи... Надя набирает номер:
— Верка, срочно дуй ко мне на работу! Всё объясню!

* * *

Живя в Америке, Вершман привык бояться американок. То, что в Америке судятся по любому поводу, он знал, ещё живя с родителями в Таллине. Но не знал о размахе бракоразводного бизнеса по-американски, когда масса адвокатов избирают специализацию на разводах своих клиентов, обещая их обогатить через разорение мужа — гуманное, частичное, но разорение. К чему это привело, Алекс насмотрелся: состоятельные американские мужчины с бóльшим доверием относятся к филиппинкам и кореянкам, чем к соотечественницам; а самые ущербные американцы подались на сторону извращенцев. При всём своём политкорректном либерализме Вершман брезгливо относился к педикам и ничего не мог с собой поделывать. А недоверие к американским самкам сообщило его взгляду ту самую собачью грусть, на которую обратила внимание Надя. Аслянский, напротив, увидел только всеохватный рыбий взгляд проныры-американца. Кто знает, вероятно, оба правы.

А теперь вот Вершман ощущает дискомфорт, поймав себя на том, что начал привыкать к русскому газону с одуванчиками и ромашками. Так, чего доброго, он скоро станет мириться с русской манерой запросто вступать в беседу с незнакомыми. Нет, нет и нет! Дикому варварству русских надо давать отпор везде и всегда!

И разве не варварство — он пригласил одну женщину, а их оказалось две.

Надя тоже теперь замечает рыбий взгляд Алекса.

— Алекс, вы ведь знакомы уже с Верой!

— Ах да! Я и забыл!

— Ну, я пошла! — сказала Вера.

— Ничего подобного! Наши планы не отменяются! — сказала Надя.

— А какие ваши планы? — отчуждённо спросил Алекс.

— Погулять по любимому городу. Да, Вера?

— А где он у вас любимый? — спросил Алекс. — Мне покажете?

Он смирился с Надиным диктатом и Вериним присутствием: Надя явно не хочет объясняться с ним наедине... Или так: сначала поломаться хочет. Мы такое проходили.

— Я бы предложил, чтобы скоротать жару, позагорать и покупаться, — сказал он женщинам теперь уже совсем миролюбиво.

— Температура воды в Енисее — плюс шесть градусов, — бесстрастно объявила Надя.

Алекс уронил челюсть на грудь.

— Она вас пугает, Алекс! — со смехом обернулась к нему Вера. — Пляжи у нас — на протоках и на озёрах, там вода до скольких-то градусов прогревается. Но я — без купальника.

— Я тоже! — сказала Надя.

— Вот и прекрасный повод! Мы сейчас купим!

— Мы, Людовик Восемнадцатый! — задрала голову Надя. Сегодня ей особенно шла её причёска.

— Надя права: конечно, я имел в виду, что покупаю на всю компанию. Мои плавки тоже в гостинице остались.

— Мы не можем попасть в долговую кабалу к заезжим варягам! — покачала Надя аристократической головой и шикарной причёской.

— Варяги просто платят дань, будучи психологически затрёханы, — пояснил Алекс.

Вера прыснула. Между тем они шли уже по улице и уже входили в спортивный магазин — здесь женщины, потратив полчаса, выбрали себе купальники, а Вершман купил плавки-шорты. Значит, курс на Татышев остров, без вариантов. Холодные купания, жара на берегу — контраст, полезный для здоровья.

«А он бывает остроумным!» — молча решила Надя.

Ничего хорошего из этой затеи, конечно, не вышло. Раздражение Вершмана прорывалось пикировками с Надей, от чего у Веры то и дело округлялись глаза.

Поначалу всё было просто — говорили ни о чём: какое место выбрать, как расположиться; Алекс похвалился, что был в Медногорске и в Рудном, где оценил тамошних комаров.

— Это ещё не то! — сказала Вера. — А вот на болоте или в тундре!.. Страшны в Сибири не морозы, а комары!

— Меня уже просветили! — согласился Алекс. — А вот и он, на помине... как это? Лёгко на помине!

— Это она, а не он! — уточнила Вера, охотница поддерживать беседу.

— Да, я в курсе, — кивнул Алекс и ловко прихлопнул комариху, пока та не набралась крови. — Но в вашем городе они редкость.

— Экология! — произнесла, наконец, слово Надя. — Металлургия, выбросы котельных...

— Похоже, комары — серьёзные защитники Сибири от самураев и от НАТО! — задумчиво произнёс Алекс. — Но русских завоевателей они не остановили.

— Каких завоевателей? — спросила Надя.

— Ну, этого... Ермака...

— Мы не завоёвывали. Мы пришли и поселились.

— Так просто взяли — и поселились?.. — с иронией спросил Алекс. — Ведь были ж схватки боевые!..

— Когда кочевники вдруг напали, то казаки отбивались, конечно! — сказала Вера. — Для того и строили острог.

— Острог — это тюрьма, — сказал Вершман.

— Острог — это крепость! — сказала Надя.

— Острог — это тюрьма, — упрямо повторил Вершман. — Кому это знать, как не славянам!

— А славяне каким тут боком? — спросила Надя.

— А что такое славянин? По-английски это «слэйв», то есть раб.

— Неправда! — возмутилась Надя. — Слэйв — это раб, а славянин — это Слав.

— Но слова — однокоренные! — со смешком ответил Вершман.

— Надя, скажи ему! — воскликнула Вера, в то время как у Нади пресеклось дыхание от гнева.

— Слав, Славянин — один корень со славой! — сказала Надя.

— Значит, невежды бывают дремучие, а ещё есть гремучие, — захихикала Вера.

— И поучающие! — добавила Надя.

— Ладно, девчонки, вы-то чего обиделись?.. Вот вы, Вера, между нами, евреями, говоря...

— А вы решили, что я еврейка? Почему?

— А давай на «ты»!

— Давай.

— Как твоя фамилия?

— Малярова.

— Я же не зря говорю! Ты — Малер!

— Жена композитора, — добавила Надя.
Вершман зашёлся в долгом смехе.
— Тогда уж сестра, но никак не жена, он же был этот... — отсмеявшись, пояснил он женщинам.
— А зачем нам это? — надменно спросила Надя.
— Надо всё знать, говорил Конрад Аденауэр! — победоносно объявил Вершман.
— Это Ленин говорил! — не согласилась Вера.
— Давайте мириться: оба говорили. Потому что евреи! — предложил Вершман.
— Алекс, ты провокатор! — возмутилась Надя.
— Да тебя не спровоцировать!
— Меня? Конечно, нет! Низзя!
— Тогда что я делаю в вашем городе?
— Понятия не имею!
— Вот и поговорили! Впрочем, не суть важно.
Надя вспыхнула:
— Садитесь, Вершман, двойка! Не ломайте русский язык!
— А где я сломал?
— А что делает «суть» в этом речении?
— И что, в конце концов, она делает?
— Ей там не место! — сказала Вера. — Даже я это знаю.
— Ну, с кем поведёшься!.. — красноречиво повёл глазами Вершман в Надину сторону.
— А с тобой поведёшься... — Вера начала, но прикусила язык.
— Ну, ну, продолжай!..
— Ты сам всё перевёл на евреев.
— Да потому что все мы — евреи. Адам был евреем, Христос был евреем.
— Христос — Богочеловек, — не сводя с Вершмана глаз, ровно произнесла Надя. — Евреи тут сбоку припёку.
— А ты, Надежда, и в церковь ходишь? — спросил Вершман.
— А тебе какое дело? — ледяным тоном ответила Надя.
— Спокой, светик, не стыдись! — стал кривляться Вершман.
Вмешалась Вера:
— Да он издевается! Купил нам купальники — и решил, что всё ему можно!
— Тогда — снимите! — сказал ей Вершман.
— Сейчас пороюсь в сумочке, свой купальник найду — а твой тебе в бесстыжие глаза... — задыхаясь, проговорила Вера и ушла в кустарник.
— Я знал, что дело тут нечисто: сами на пляж собирались...
Надя встала во весь рост.
— Алекс, отвернись! Я тоже снимаю!..
— Ни за что! — раздельно произнёс он каждое слово.
— Как хочешь! — презрительно бросила Надя. Она стояла спиной к солнцу, а Вершман, приподнявшись на локтях, оставался в длинной полосе тени, которую отбрасывала Надя.
«Бесстыжие рыбы твои глаза!» — прошептала она, снимая с себя его тряпку, ставшую ненавистной, и размеренными движениями надевая собственный купальник.
Возвратившаяся Вера округлила глаза:
— Надька, ты умница! Так ему и надо!
Они сложили перед ним два ярких комочка текстиля и отправились в сторону общественного пляжа...

Вершман вёл себя на пляже как тот мальчишка, что прячет свою неуверенность за вызывающей манерой поведения. Если бы в эти минуты кураторы увидели его, то усомнились бы в его психической устойчивости и, стало быть, в профессиональной пригодности. Впрочем, он все психологические тесты в Штатах прошёл на пределе — в основном, благодаря своему русскоязычию, а также с учётом не-

боевых условий его применения. Обыкновенный же психолог мог бы вскоре заподозрить у Вершмана лёгкую форму сексуальной истерии.

Ритуал «инициации» Вершмана, то есть посвящения его в оруженосцы «мирового сообщества», был достаточно сложен, и в нём употребили тело и душу Вершмана без ограничений, но сам он технически остался девственником, как и был дотеле, о чём не знали его кураторы.

В день пляжного приключения неблагополучие Вершмана могло объясняться впечатлениями от случившейся накануне встречи в таёжном Сновидове с архимандритом отцом Амвросием. Отец Амвросий на склоне лет проживал на покое в Иоанно-Богословской обители. Встреча произошла нечаянно, хотя закономерно: Вершман не оставлял попыток заглянуть, хотя бы опосредованно, в потёмки внутреннего мира того высокоумного человека, который очень беспокоил столь многих аналитиков.

Вершман давно уже понял, что этот персонаж беспокоил Топэмкса, Вершмана и тысячи людей, более могущественных, всего лишь фактом существования страны, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана. С ней приходилось вести переговоры, хитрить, ловчить, обманывать её, но постоянно принимать её в расчёт. Это сильно досаждало — как нелепость, как чей-то неуместный каприз, как причина без причины...

Отец Амвросий, рекомендованный Вершману простодушной девушкой-экскурсоводом из Медногорска, оказался сухоньким, маленьким старичком, очень похожим на хрестоматийный портрет генералиссимуса Суворова. Цепкий взгляд архимандрита быстро оценил облик представшего перед ним корреспондента — и Вершман, неожиданно для себя, назвал себя американцем и предъявил рекомендательное письмо губернатора.

Но как начать? Под выжидательным взглядом архимандрита Вершману было не по себе. Алекс, ну же!.. Нахальство — второе счастье! Ты Вершман или нет?

— Отец архимандрит, — по-светски непринуждённо, вообразив себя персонажем из романа Дюма, обратился он к чёрной фигурке под большим наперсным крестом, — можно спросить, за кого вы тут молитесь? Молитесь вы, например, за президента?

Тонкие губы аскета тронула усмешка: он понял, на каком отстоянии от веры находится пришелец.

— За возставление державы российской, за всю Землю Русскую, за всёх православных христиань — и за мене недостойнага... Такъ какъ же не молитися мнѣ о властѣхъ?

— За... кгм... О вразумлении их? — довольный тем, что сам исправился в предлоге, ударил козырем Вершман и посмотрел победно.

— О вразумленіи и благословеніи всёхъ насъ грѣшныхъ.

«Изворотлив, чтоб его!..» — пронеслось в уме Вершмана.

— А для вас он — брат во Христе? — хитро посмотрев на высохшего монаха, Вершман выложил козырную шестёрку.

— По исповѣданію вѣры его, несомнѣнно, братъ. Но не забывайте, молодой человекъ, объ іерархічности міра. Космосъ іерархіченъ. Люди по-гречески — тоже космосъ. Существуетъ іерархія истинь. Подумайте объ этомъ! Поэтому я о немъ знаю, молюсь, а он меня не знает!

— Тогда скажите, отец архимандрит... А раб ли он Божий?

И Вершман, гордясь найденным козырным тузом, уставился на архимандрита.

— Мы всё безъ исключенія, сыне, созданыя Божіи, и всё, что имѣемъ, имѣемъ отъ Него, только разнаго мы достоинства рабы: знаешь ли притчу о блудномъ сынѣ? И знаешь ли о разбойникѣ, распятомъ съ Христомъ?..

— Который как бы раскаялся? — переспросил Вершман.

— Который исповѣдалъ Христа своимъ Богомъ.

— Но вы, батюшка, на мой вопрос не ответили! — возразил Вершман. — Или это, извиняюсь, церковная тайна? Может, государственная?

— Тайны государства намъ невѣдомы, — покачал головой архимандрит и пальцы его хрустнули. — Пороки же видны — и князьямъ, и простофилямъ. Ты самъ-то не православный?.. Поймѣшь ли?

— Я постараюсь! — пообещал Вершман, начиная, против воли, ощущать если не симпатию, то неподдельный интерес к этому тщедушному человечку, казалось бы, совершенно согбенному под тяжестью носимого им креста.

— Слыхал ты про Святую Гору?.. — спросил архимандрит. Увидев недоумённое лицо Вершмана, он добавил другое название: — ...про Афонь?

— А, в Греции!.. — кивнул Вершман.

— Это земной удѣлъ Богородицы, — пояснил архимандрит, никак не реагируя на ироническую усмешку посетителя. — Твой президент былъ дважды въ Греції и дважды пытался попасть на Афонь, но Богородица воспретила.

— Простите, не понял!.. Вы кого назвали моим президентом? Вы ведь не Буша имеете в виду!

— О комъ ты спрашиваешь, тотъ и твой... — не без тонкой издѣвки ответил архимандрит. — Какой же у монаха президентъ? У монаха — Богъ, а подъ Нимъ — патріархъ и земная церковь.

Вершману пришлось задуматься о двух попытках президента...

— А конституція третий президентскій срокъ не разрѣшаетъ, — задумчиво произнёс архимандрит. И тут же добавил:

— Если третій — подрядъ за вторымъ. Или же, — тут он опять в своей манере усмехнулся, — пока не разрѣшаетъ...

— То есть я вправе заключить, что Богородица им недовольна? — предвкушая своё торжество, Вершман задал уточняющий, контрольный вопрос.

Но ответ его разочаровал.

— Богородица и мною должна быть недовольна. Чего могла бы стоить моя молитва, если бы я не вѣрилъ, что самъ азъ наигрѣшнѣйшій изъ человѣков? Когда истинно въ этомъ каюсь, тогда и моя молитва истинно силу имѣетъ.

Такой поворот не устроил Вершмана.

— А если я вас попросту спрошу: вы верите в искренность президента?

— Которого?

— Мой президент меня не интересует, — возразил американец. — Я о вашем спрашиваю.

— Меня беспокоитъ сравненіе земного шара съ шахматной доской, — медленно произнёс маленький архимандрит. — Не потому, что доска — плоская, а потому что стали писать и говорить: «глобальный игрок», «региональный игрок»... Забыли іерархію цѣнностей, іерархію истинъ. Въ этомъ слове — «игрок» — кроется бездна тьмы... Понялъ меня?

— Тут надо подумать.

— Подумай! — ответил Вершману монах и поднялся на ноги.

Он оказался маленьким — ниже Вершмана ростом, но Вершман испугался, когда архимандрит поднял руку, словно собираясь осенить Вершмана крестным знаменіем.

— Прошу вас, не надо! — быстро ухватил он пальцами локоть архимандрита. — Я не вашей веры!

— Ты ещё сам не знаешь ни веры, ни дороги! — скрестив руки на груди, смиренно ответил монах. — Ступай, не бойся: крестить не буду!

Вершман уходил, чувствуя стеснение позвоночника: а вдруг обманет — и перекрестит?

Его качало, пока он не дошёл до монастырской ограды, а выйдя, как он сказал себе, «на волю», он без сил опустился на скамью и минуты три трясся в беззвучном истерическом смехе.

Потому что хотелось плакать.

Дорогой Николай Фёдорович!

Говорил ли я Вам, что моя дочь Настя, 11 лет, отобраена у меня судебным решением при разводе? Помнится, говорил.

Я знаю, Вы ведёте знакомство с адвокатом Владимиром Афанасьевичем, которого я заочно очень уважаю.

Если не Владимир Афанасьевич, то кто-нибудь по его рекомендации, могут мне помочь составить заявление в суд на пересмотр дела? Обстоятельства в новой семье Настиной матери сильно ухудшились, а сама дочь хочет вернуться ко мне. Теперь, когда я вот-вот женюсь, у Насти появится целая семья с родным непьющим отцом.

Простите меня за беспокойство.
Ваш
Иван Колобродько

Дорогой Иван! Дорогой ты мой Колобродько!

Владимир Афанасьевич готов тебе помочь и предложить честного адвоката, который на хорошем счету у судейских (пока). Кстати, Владимир Афанасьевич в этом году воцерковился и больше уповает на высшую справедливость, чем на земную, но первой квалификации не теряет.

Принеси мне выписку прошлого судебного решения и свидетельство о расторжении брака (ксерокопии), чтобы адвокат мог иметь основания и разыскать то, что ему понадобится в архивах.

Главное — вот что, чего ты ещё не знаешь, что узнаётся под конец жизни... Сколько бы ни было детей, родни, друзей — очень часто человек остаётся один на один с Богом. Чаще всего бывает это в старости. И тогда человек припоминает все случаи, когда происходило у него богообщение, а он только по своей беспечности и невнимательности этого не замечал. Припомни все случаи, когда тебя спасало только чудо: за рулём, в воде, на армейских учениях и так далее.

Помогай Бог!

Твой Николай Совертинский

Колобродько прочёл письмо — и надолго задумался. Потом он быстро разыскал свидетельство о разводе, но судебной выписки так и не нашёл. Замучился искать и при этом слышать утробный хохот из кухни и тупое биение колеса в стену под окном. Он в кухню не ходил и в окно не выглядывал: знал, что ничего там не увидит.

Успокаивала мысль о том, что судебную выписку несложно восстановить.

44.

В душе у Нади отвратительный осадок: через силу вставала с постели, через силу идёт на работу. «Через силу», — так Иван Колобродько говорил. Он и на службу ходит через силу.

«Что за Алекс Вершман на мою несчастную голову?» — вопрошает Надя.

Это Верино присутствие взбесило его. Зато сразу стал ясен его характер. И почему люди, которые нам совершенно чужие и лишние, так умеют портить нам настроение? Колобродько меня огорчал, но никогда настроения не портил. Эх, Иван! Это, видно, и есть любовь.

Надя сделала себе быструю яичницу, поджарила тост и вместо чая выбрала кофе: у неё была дурная ночь, а поручений на сегодня ей Аслянский много накидал.

* * *

Придётся извиняться, думает Вершман. Люди не выносят справедливости, им подавай сладенький обман. Но раз это правда, что все люди — рабы, то что тут поделаешь? Одни больше, другие меньше. И лучше быть рабом богатства, чем бедности.

Хорошо, пусть славяне — со славой в родстве, но это ничего не меняет: их промасоненная империя рухнула — туда ей и дорога. Давно прошли те времена, когда можно было считать себя верноподданным, оставаясь масоном; потом шутки кончились, пришло время гучковых, милюковых, шульгиных и великих дурачков-князей.

Я, Вершман, потому и востребован Штатами, что я на голову выше американских спецов: у тех едва хватает мозгов на географию с историей XX века. И сами Штаты — без году неделя. Но держатся еврейством, его древностью, его заветом. Еврейским капиталом.

Вершман подходит к окну своего гостиничного номера: мельтешат на улице рабы. Их судьба зависит от людей, к которым относится Вершман, к которым он принадлежит. Эсклав, эсклав, анклав¹ — возможно, это тоже слова одного корня, надо будет у лингвистов спросить или посмотреть в интернете.

¹ Соответственно «раб» (*франц.*), «часть территории государства, отделённая от его остального массива чужой территорией» и «часть чужой территории, заключённой внутри территории данного государства».

Татарстан — обращать в анклав, а эксклав Калининграда вообще отрывать. Про то, что половина Восточной Пруссии отошла к Польше, мы пока молчим и трубить не позволяем: пусть нам поляки подпоют про северную половину. Но если оторвать Калининград, придёт и очередь Олыштына. Вот тогда поляки завбюют! Немцы потеряли голову от воссоединения — и не решились взять Кёнигсберг из протянутых рук. Побоялись взрыва русской толпы — и напрасно. У русских всё делается сверху или через. И страна чересчур большая, чтобы где-то взорвалось, а остальные чтоб услышали. Все перемены идут из столицы и через столицу. Поэтому все жители столиц, от которых что-то зависит, надёжно скуплены — на корню. И селекцию рабов, агентов, масонов и корреспондентов — для насыщения столицы — мы успешно продолжаем.

Вершман стал бриться в ванной комнате и принялся думать о Надежде. Перед зеркалом его мысли всегда менялись, уходя от великих проблем к маленьким, но не менее чарующим.

* * *

Надино сердце упало, когда она увидела у подъезда администрации отданный Вершману «Мерседес»: что ему здесь надо?

Поднявшись на свой этаж, она видит Вершмана выходящим из кабинета губернатора в сопровождении самого Аслянского: «спелась ранние пташки!».

— А вот и Надежда Петровна! — радуется губернатор и сообщает своему пресс-секретарю, что господин Вершман просит её дать ему интервью — в дополнение к той информации общего характера, которую предоставил губернатор.

— Прошу вас, пройдёте! — обращается Надежда Петровна к журналисту.

Едва оказавшись в её кабинете, Вершман припал на одно колено со словами «повинную голову меч не сечёт» и стал каяться в том, что тогда в компании «сам себя спровоцировал».

— Я к губернатору пошёл, потому что иначе ты могла меня отшить, — искательно улыбаясь, сказал он Наде.

— Могу и сейчас!.. — ответила она, до этого момента терпевшая молча его выкрутасы.

— Я знаю: ты женщина незаурядная! Но я искренне извиняюсь! В том числе перед Верой!

— Не думаю, что она предоставит тебе такую возможность.

Она указала ему на кресло и молча села за стол, скрестив руки на груди.

«Хочу ли я, — спросил себя Вершман, — чтобы Аслянский её уволил? Пожалуй, не хочу. Уволит — и что мне: жениться на ней? А было бы лихо: женился в Сибири, женился в Якутии, женился в Татарстане, то бишь в Татарии...».

— Надежда Петровна, дорогая Надежда Пырьевна, простите вы меня, раздолбая, и позвольте мне оставаться с вами на «ты»!

— В тебе задатки паяца! — заметила она. — Начинай свои вопросы.

— Спасибо! Я их буду россыпью задавать, без системы — по состоянию своей головы после страданий бессонной ночи...

И он приступил: почему сибиряки равнодушны к футболу (по сравнению с европейской Россией); как получить доступ к региональной статистике самоубийств; высок ли потенциал сибирского сепаратизма (по субъективным ощущениям пресс-секретаря); успешна ли реформа образования и как часто в школах проводятся уроки толерантности и мастер-классы успешных личностей...

Надя отвечала по-казённому: такую-то информацию могут предоставить по резолюции губернатора; такой-то потенциал, как она считает, чисто нулевой; про такую статистику она ничего не знает... На последний вопрос Надя ответила просто:

— Могу сказать, что именно слышат молодые учителя, попадая в школу, колледж, лицей... «Не обольщайтесь, если вам повезло с преподавателями в вузе! Школа скоро возвратит вас в состояние болванчиков!»

— Как это происходит, превращение? — спросил Вершман без удивления, но с интересом.

— С первых дней Советской власти появился институт методистов образования, как в Красной Армии — институт комиссаров. Методисты, не скрываясь, говорят учителям: «вы знаете, что и о чём, а мы знаем, как. И вот, не зная, что почём, они нас учат, как учить. На самом же деле требуют методической отчётности или продукции: планов занятий, календарных планов, методических от-

чётов, тематических отчётов... И всё это — за те гроши, что получает учитель. И всё это — вместо качественного образования. Отступление от накатанной, утверждённой колеи — основание для карательных мер. Что уж говорить о всяких там фронтальных проверках, переаттестациях, подтверждениях категории!.. Самое незащищенное, самое безответное существо — это учитель!

Вершман видел, что Надя говорит о выстрадавшем, наболевшем.

— А какому правителю, скажи, пожалуйста, нужны умные подданные?

Надя посмотрела на него, как на предмет интерьера:

— Православному царю — нужны.

«Вот оно что! — запнулся в мыслях Вершман. — В Москве я уже слышал такое!»

— Кстати, неплохо бы в храм сходить!

Надя с подозрением посмотрела на него:

— «Неплохо бы» — это про музей, театр!..

— Я с удовольствием!

«Он ничего не понял! — сказала себе Надя. — Болван!»

Совсем распоясавшись, он предложил пойти в ресторан.

— Я на работе, — сухо ответила Надя.

— А обеденный перерыв? А продолжение интервью?

— Интервью закончено. А обед — это всего полчаса.

Всё же он выклянчил встречу в ресторане, в 16.00, в знак полного прощения его провинностей.

* * *

Надя отказалась идти в дорогой ресторан, и они зашли в простое, без церемоний, бистро, если не считать нелепой претензией само это офранцузенное слово. Здесь они сели за голый, непокрытый столик, среди мам с детишками и взрослых подружек, сидящих с мороженым и кофе. Здесь Вершману пришлось заняться самообслуживанием. Надя сразу сказала, что есть не хочет, «разве что какой-нибудь салат»; но Вершман заказал ещё рагу с овощами, вино и приплатил за обслуживание.

Вернувшись к столу, он увидел, как Надя, роясь в сумочке, выложила какую-то книгу. Присмотревшись, он узнал один из бестселлеров Каку Жервезу.

— Как читается, Надя? — искренне спросил он.

— Не могу его читать! А Вере нравится.

— Плюрализм народа — это хорошо, — глубокомысленно изрёк Вершман. — А я вовсе его не читал.

Распространяться больше он не стал из боязни показаться мелким хвастунишкой.

— А ты раздобыл себе «Обрыв»? — спросила Надя.

— Всё некогда.

— Благими намерениями вымощена дорога...

— Впервые слышу банальную фразу из твоих уст! — усмехнулся Вершман. — Обычно за тобой хоть записывай.

— Школа не успела превратить меня в болванчика, этим занялся Александр Геннадьевич!

— Мне он кажется разумным администратором, — примирительно сказал Вершман.

— Конечно. Он современный, оцифрованный...

«И богоизбранный!..» — мысленно добавил Вершман, но трогать эту тему не стал.

— Я его воспринимаю как вашего бывшего Гаврилу Попова. Тот заявил, что Сибирь надо отдать всему человечеству, то есть Ротшильдам и Рокфеллерам.

«Не я первый об этом начал!» — удовлетворённо сказал себе Вершман.

— Но, дорогая моя Пырьевна, такова объективная реальность! Ты не против такого обращения? Оно мне очень по душе: звучит, как царевна!

Тут им доставили витаминные салаты и сразу говяжьё рагу — и Наде это помешало ответить, а Вершман не стал настаивать. Он продолжил:

— Видишь ли, Рокфеллер и Ротшильд боксируют, а рингом служит вся планета — и в этом их гениальность!

— Приятного аппетита! — сказала ему Надя.

Он с полупоклоном улыбнулся ей.

— Но что это говорю всё я да я! — удивился он. — Ты ведь на меня не дуешься?

— Пылинки сдуваю! — засмеялась Надя, но не слишком весело.

— А что ты читала в последнее время с интересом или с удовольствием?

— «Велесову книгу».

— А это что такое? — притворился Вершман.

— Это древняя книга славянских жрецов дохристианского бога Велеса.

— И о чём она?

— О народах, об истории Руси до её Крещения Владимиром. Интересно, что и тогда славян призывали к единству...

— Да, со славянским единством дело швах!.. — подтвердил Вершман. — Католики, православные и так далее...

— Наоборот, — учительным тоном остановила его Надя. — Сначала православные, а потом откололись католики...

— Будь по-вашему, царевна! Я повинуюсь!

— Повинуйся истине, а не царевне.

— О'кей.

Надя поморщилась.

— Чем ещё интересна эта книга: она доказывает правоту Ломоносова... Что Рюрик был славянином, и что варяги были славянами.

Пришло время Вершману вмешаться.

— А почему эта книга никому не известна? Она когда написана?

— В древности. Но её нашли в XX веке, на дощечках, в разграбленной усадьбе русских аристократов — при отступлении белых войск. Вывезли в эмиграцию, стали расшифровывать докириллическую письменность, а когда пришёл Гитлер, то гестаповцы конфисковали все таблички...

— То есть предъявить оригинал никто не может?

— Да, так же, как сгорела рукопись «Слова о полку...» в московском пожаре, так же пропала и «Велесова книга».

— А не кажется ли это всё подстроеным?

— Кому? — спросила Надя.

— Нам с тобой, царевна.

— Мне не кажется. Зачем подозревать подделку, когда многое из «Велесовой книги» подтверждается другими источниками. Например, Аскольд и Дир были христианскими правителями Руси до её Крещения Владимиром. А лингвисты говорят о праславянском языке этрусков и пеласгов...

— А другие учёные считают «Велесову книгу» подделкой... — мечтательно запрокинув голову, произнёс Вершман.

— Откуда ты знаешь? — спросила Надя. — Ты же якобы о ней не слышал.

— Я просто обожаю слушать твои объяснения. Меня твой голос опьяняет.

— Так вот, Саша Вершман...

При слове «Саша» Вершман заметно дёрнулся.

— ...я думаю, что providению понадобилось уничтожить оригиналы «Слова» и «Велесовой книги», чтобы отделить зёрна от плевел.

— Это как? — поднял брови Вершман.

— Для сомнений, людям во искушение — чтобы отделить тех, кто верит, от неверящих.

На минуту Вершман умолк, потом, ни слова не говоря, взял её руку со стола и стал целовать кончики пальцев. Потом, не отпуская руки, как можно серьёзнее посмотрел на неё и сказал:

— И всё равно я люблю тебя, дорогая моя Пырьевна!

Надя пришла в замешательство и, чтобы выйти из положения, спросила:

— А у тебя, кстати, что за отчество?

— У меня, Надя, нет отчества.

— Это почему?

— Это потому, Надя, дорогая, что я американец.

— Ты шутишь?!

— Нет. Сейчас увидишь.
Он вытащил бумажник из кармана брюк и раскрыл перед нею свой паспорт.
Побледневшая Надя подняла на него огромные глаза:
— Ну, и засранец же ты, Алекс!

45.

— А что плохого, Надя?
— Плохо всё! Отвратительно!
— Да не бойся ты! Губернатор знает!
— Какой губернатор?! А мне он зачем?
Она бурно дышала, лёгкая кофточка вздымалась на груди.
Им принесли десерт, Надя резко его отодвинула, тонким звуком отозвалась посуда.
Вершман накрыл её руку ладонью, она её отдернула.
— Да ведь я не прокажённый!
— Ты подлый!
— Нет! Это я влюблён!
Она метнула на него испепеляющий взгляд и поднялась со стула, сделав шаг к выходу, затем остановилась, вытащила из сумочки тысячную купюру и положила на стол.
— Моя доля! Прощай!

46.

А жизнь продолжается. Состоялось брачное таинство Ивана Колобродько с Марией Махониной, а Настя — за два посещения «папы и Маши» — стала привыкать о новом доме думать и мечтать.

Сегодня свидание с папой, а в школе — утренник в летнем лагере: спортивный праздник и концерт.

Матери Настя не сказала о празднике, зато папа и Мария с Олегом пообещали, что придут. Ох, не верит себе ребёнок, наконец-то и Настя придёт на праздник не одна!

Колобродько привёз её к Маше с Олегом, малыш стал знакомить большую сестрёнку с новыми игрушками, а у Ивана выступили слёзы на глазах, и он вышел на балкон. Скоро там оказалась и Мария: «Где это мой мужчина?»

У мужчины к той поре глаза уже высохли, стыдиться было нечего, он обнял Машу, и так они постояли несколько минут. Когда вернулись в комнату, Олег и Настя комочками покатались к ним навстречу — как намагниченные шарики к магниту... «Старею, сентиментальным становлюсь!» — сказал себе Иван, чувствуя комок, подступивший к горлу.

Вспомнилось предупреждение Николая Фёдоровича о том, что наступит время, когда он перестанет быть богом для этих комочков, они больше не будут комочками, а сам он — с Машей или без Маши — останется в одиночестве: один на один с Создателем. Будешь ты в семье или без семьи, но будешь один как перст. Старик убеждал его, что такой итог — это не одиночество, а единение с Творцом. Но Ивану хотелось, чтобы единение с детьми не обрывалось. Ради этого желания, может быть, эгоистического, многие родители о Боге детям не говорят; этим они детей при себе не удержат, лишь себя обманут... Но не Бога.

Детям понравился спортивный праздник: карабканье вверх по гладкому шесту, бег в мешках, акробатическая пирамида старшеклассников, стрельба пятнающими шариками... В беспроигрышной лотерее Настя выиграла «воздушный» шарик, а Олег — книжку без картинок, и они своими выигрышами обменялись.

Это было последним, что запомнилось из хорошего.

Далее настал черёд концерта юных дарований. На низенький дощатый помост вызывались «артисты», встречаемые криками и рукоплесканиями, поэтому Иван не сразу выделил из этого шума посторонние звуки, имевшие сходство с пьяным скандалом.

Да это и был пьяный скандал... Настина мать приближалась к задним зрительским рядам, крича нетрезвым голосом:

— Настька! Колобродька! Ты где прячешься? Не сказала про концерт, гадюка!

Иван успокоительно накрыл Маше руку ладонью:

— Уводи детей! — и встал навстречу грозному ненастью.

— А, вот ты где, змей! Всё, крадучись, делаешь! Любимое дитя уволок! На концерт притащился!.. — дальше пошли слова подзаборного лексикона.

Заслоняя уходящих Марию с детьми, Колобродько принял на себя град оскорблений, способных вывести мужчину из равновесия и довести до белого каления. Так бы оно и вышло, если бы Иван был на концерте один. Но надо было обеспечить скрытный отход основных сил.

Это ему, к счастью, удалось.

К несчастью, не удалось увести Настину мать со школьной территории до того, как на неё обратят внимание педагоги. Они опознали её, она стала им показывать на Колобродько, как на причину своих бед и несчастий, как на человека, неспособного любить и ценить женщину и поломавшего её во цвете лет.

Она размазала краску на лице, растрепала волосы и где-то успела посадить несколько пятен на блузку, а теперь повторяла как заведённая:

— Посмотрите, что он со мной сделал!

Педагоги-женщины увели её в школу отмывать и отпаивать, не удостоив Колобродько вниманием. Он этим не огорчился: состязательное разбирательство невозможно между пьяным и трезвым.

Но когда он стал догонять Марию с детьми, тени мрачных предчувствий уже витали над ним, рассекая воздух на солнечные блёстки позднего июля.

47.

Вершман не привык терпеть поражения и сейчас твердил себе, что ничего непоправимого не случилось. Наоборот, ему казалось, что в самом поражении гнездится зародыш окончательной победы: понимание Надей того, что он — гражданин великой и страшной державы, должно ещё прорасти в её душе.

У открытия, которое она сделала (или он открыл перед ней), имеется много скрытых энергий. Они ещё дадут результат. Она сообразительная девушка.

Теперь он не стал её атаковать на рабочем месте, а дождался конца рабочего дня, когда люди возвращаются по домам. Он дал ещё allowance (допуск, временной люфт) на то, чтобы люди сделали ежевечерние покупки в супермаркетах, тогда ему не придётся долго ждать, чтобы кто-то активировал домофон и отпер дверь подъезда. Он собирался позвонить прямо в Надину дверь.

Она его увидела в дверной глазок и на цыпочках отошла. Он услышал писк подошвы на полу в прихожей. Итак, она знает: он здесь. Очень хорошо. Теперь он наберёт её домашний номер.

Надя сняла трубку, когда он позвонил в пятый раз за полчаса, уже стоя перед лифтом.

— Надя, я уезжаю, зашёл проститься!

— Счастливого пути!

— Ты мне даже кофе не предложишь на дорогу?

Молчание.

— Вероятно, я поступил неправильно, но это ошибка, а не преступление!.. Что ты молчишь? Неужели всё? Неужели я тебя не увижу? Звук твоего голоса, запах твоей прихожей — это мне будет снится!.. Где твоё русское сердце, где твоя доброта?

Минута молчания, потом одно слово:

— Заходи.

Войдя, он сразу понял, что проиграл.

Надя рукой предложила пройти в гостиную (которая, по скромности жилья, на ночь превращалась в спальню), а сама заторопилась в кухню. Она не собиралась участвовать в распитии кофе и решила приготовить одну только чашку для непрошеного гостя.

Конечно, это станет оскорблением.

Вершман осмотрелся, сел на диван, посмотрел на тумбочку с телефоном, потянул верхний ящик.

Там лежал «травмат» — четырёхзарядный, бесствольный. Нелетальное, «несмертельное» оружие: дамский пистолет современной женщины... Глаза Вершмана округлились, в голове завихрилась мозговая буря — brainstorm, практиковавшийся Топэмэксом у его гениальных аспирантов.

Сейчас тоже требуется Вершману гениальный ход, который остался бы нестираемой надписью на зеркале Надежды. Который навеки изменит её взгляд на себя — и непоправимо изменит её траекторию в пространстве жизни. Образуется множественное эхо, мультиреверберация, новая гравитация. Это тоже немалый результат: потрясение незаурядной женщины, изумление одной великой державы, недоумение другой, загадка в истории дипломатии. Наполеон оставил Кодекс, принц Рудольф оставил загадку Майерлинга, Алекс Вершман оставит загадку не меньше тунгусского метеорита. Он, Вершман, может. Он, Вершман, смеет.

Он взвесил в руке «травмат», не ощущая тяжести, вытянулся вдоль дивана — по-американски, в башмаках — приставил изделие к уху и нажал на спуск.

48.

Семья Колобродько, включая Настю, решила заночевать «у Маши и Олежки» — возвращать девочку матери им показалось небезопасно.

— Вопрос надо решать радикально! — авторитетно и с тайным удовольствием высказал мнение глава семьи. — Мне обещали толкового адвоката, на днях я с ним повидаюсь.

— А потом расширим площадь! — сказала практичная Маша, прижимаясь к Ивану. — Что так жить, на два дома?..

Для Олежки объятия мамы с дядей-папой уже стали запуском условного рефлекса: он с радостным гиканьем бросался обнимать их колени. Настя наблюдала это всё с сияющим лицом.

Тут у Колобродько зазвонил телефон. Неожиданное высветилось имя: НАДЕЖДА.

— Колобродько. Слушаю. Что случилось?

— Иван, спаси! Ты должен помочь!.. — рыдающий голос.

— А что такое? До завтра не подождёт?

— Если бы ты свой забытый предмет не оставил у меня, ничего бы не случилось! Я не могу по телефону. Но это очень, очень серьёзно!

Надежда не была способна на дешёвый розыгрыш, Колобродько это знал. Тот фокус с «заглохим» автомобилем был не в счёт. Если она говорит «очень серьёзно», то так и есть.

— Только учти, — сказал он ей, уже сидя в машине. — Я женатый человек!

— Ой, Ваня! Не до шуток или поздравлений мне сейчас!

Колобродько внимательно посмотрел на дорогу и дал газ.

В любой трагедии найдётся что-нибудь смешное, известное лишь кому-то одному.

«Травмат», оставленный Иваном у Надежды в незапамятные времена, не принадлежал майору Колобродько, а был им только изъят у неадекватного прохожего. К сожалению, без протокола. А вот как его, майора Колобродько, угораздило забыть этот опасный предмет в неподобающем месте, он объяснить не мог.

«Знать, так было надо!» — решил он, оценив последствия своей халатности.

— Завтра приду с паяльной лампой, прожгу на стенке, сниму обои, ты не трогай ничего! — сказал он Наде. — И не смотри! Хочешь, бери ключи от моей квартиры, там заночуешь. Я у жены останусь.

— Поздравляю! — сдавленным голосом произнесла Надежда.

— Большая спортивная сумка имеется?

Надя задумалась, вспоминая... Поставила стремянку, стала смотреть на антресолях.

— Вот эта подойдёт?

— Вроде да.

Через четверть часа они отъехали. Иван высадил Надежду у своего дома, но даже не поднялся к себе: неотложная задача угнетала его.

«Вот уж отморозок! Не даёт жизни людям!»

Краткий рассказ Нади об этом жмуре сводился в его сознании к одной фразе: девушка вляпалась по полной.

А теперь и он тоже.

49.

Ровно через сутки Колобродько остановил машину около Железнодорожного моста, сел у воды и повесил голову на грудь.

Голова горела.

Мыслей не было, или же голова набита ими была так плотно, что ни одна не шевелилась.

Хлопнула дверца ещё чьей-то подъехавшей машины. Колобродько оглянулся: из чёрного джипа высыпало бессчётное количество чёрных фигур, устремившихся к нему.

Колобродько вскочил и побежал вперёд, в единственно возможном направлении: как пущенный в отскок по воде камешек, сажеными шагами преодолевая гладь помертвевшей от изумления реки. Гул, улюлюканье и свист погнались за ним.

Нет уж, дудки! В школе Колобродько бегал быстрее всех — и как же лихо он теперь тряхнёт стариной! Истосковавшиеся в праздности кроссовки радостно ощущали твердь...

И похолодела голова, и весь похолодел от ужаса: ведь бежит он поперек воды!..

В эту минуту гладь реки, было, восхитившись таким поведением человека, разочарованно вздохнула — и Колобродько погрузился.

Беззвучно, как во сне, вода расступилась, а Колобродько или кто-то не от мира сего, без крика опустился.

* * *

Патрульный катер водной милиции Октябрьского района принадлежал самым серьёзным силам великорецких правоохранителей: стихия, как известно, шуток не любит.

— Прямо по курсу упал человек! — закричал рулевой.

Откуда он упал, друг друга спрашивать не стали — бросили спасательный круг, принайтованный к линю. Человек молча выныривал и снова погружался: пришлось сержанту сигать в ледяную воду и брать обормота на буксир. Когда вытянули безвольное тело, когда из нутра пойманного утопленника полилась вода, и ему восстановили дыхание, прапорщик сказал:

— А я его знаю. Это наш брат, ментяра! И откуда он взялся? Была же чистая акватория — и вдруг всплывает шибздик этот, подводная лодка трёханая!..

— Так по-моему он с моста упал!

— А что ему там делать?

— Не знаю! Но чистая была же акватория!..

Колобродько был неспособен говорить, но разговор этот слышал — и подумал:

«Да не было на реке ничего... А вы-то откуда взялись?»

50.

Машина Колобродько осталась на берегу целёхонькой. Он забрал её на следующий день. Настю он обещал взять из школы «к тётке Маше», и поехал за дочкой, внутренне готовый давать показания перед комиссией по делам несовершеннолетних: старое судебное решение становится абсурдом, который надо упразднить.

Против ожиданий ночь его прошла спокойно, без рёва, хрюканья и без группы захвата. Он прошёл в здание школы, охрана его знала, и напоролся на багроволицую женщину начальственного вида:

— Иван Пантелеевич? Я завуч Пестрова Светлана Анатольевна. Пройдёмте ко мне в кабинет!

— А Настя где? — с ожиданием чего-то недоброго спросил Колобродько.

— Я всё объясню!

В кабинете она указала на стул, но Колобродько остался стоять.

— Органы ювенальной юстиции поместили Настю в детприёмник — до распределения в приёмную семью.

Ноги Колобродько ослабли, и он подтащил к себе стул. Ему не хватало воздуха, чтобы сказать хоть слово.

— Почему без моего ведома? — прохрипел он. — Что за приёмная семья?

— У вас уже новая семья, а с матерью Настя не имеет необходимых условий реализации личности.

— Настя хочет жить со мной! — хотел закричать Колобродько, но из горла вырвался шипящий клёкот.

Лицо завуча посерело: она боялась инсультов, ей был и собственный предсказан, к сожалению. Она выбежала в коридор и стала звать на помощь.

Колобродько выпрямился и сбежавшимся людям сказал:

— Настя хочет жить со мной! И будет!

Не без труда он поднялся и потребовал:

— Где она сейчас? Адрес!

— У меня его нет! — соврала багроволицая. — Обращайтесь в органы.

— Будьте уверены: обращусь! И вас обращу!

Он покинул эту тюрьму знаний, и остаток дня посвятил разговорам с адвокатом, готовившим судебный пересмотр Настиней судьбы. Адвокат был честный парень, но опыта побед над судьями никакого не имел. Давать заверения Ивану Колобродько он не решался, мог только обещать серьёзно постараться.

Колобродько рассказал ему о своей встрече с Пестровой, и адвокат обещал с ней познакомиться и побеседовать, получить от неё официальную справку с полезной формулировкой.

Колобродько в ответ покачал головой, но смолчал.

Ночью не спалось. Чтобы не тревожить Машу, он ушёл на кухню, руки стали машинально искать курево, хотя он восемь лет уже не курил. Пил воду, топтался от окна к столу и обратно, стискивал голову, как учили медики в институте.

Под утро тихо лёг в постель и задремал. Приснилось, как он бежит через Енисей, не думая о воде, и достигает середины реки. Что дальше, он не знает. Видимо, тогда он и проснулся...

* * *

Весь день телефон адвоката не отвечал: был «вне зоны или выключен». Где же ты, голубь? — сокрушался Колобродько. К концу дня, не в силах вытерпеть неизвестность, он поехал ещё раз посмотреть в глаза школьному руководству. Поехал, как был, не разоружаясь, и «по форме».

Подъезжая к школе, он увидел, как завуч садилась в рейсовый автобус. Колобродько поехал следом. Светлана Анатольевна Пестрова, ни дна бы ей, ни покрышки, вышла возле универсама и пошла за покупками. Колобродько запарковался и вошёл вскоре за ней. Завуч успела «закопаться» в одной из торговых секций — и Колобродько стал её искать. Найти и обезвредить! — этот лозунг застучал у него в голове. Он ускорил шаги. Вот она! Женщина издали узнала его — оставила свою корзину-коляску и метнулась в боковую секцию. Лучше бы ей этого не делать! Колобродько вытащил пистолет из кобуры и бросился в ближайший проход, чтобы увидеть её на ожидаемой позиции. Так и есть: её спина.. Уйдёт! Он сделал два неприцельных выстрела в напольную плитку: если рикошет, то несмертелен... Женские крики раздались за товарными стеллажами... «Милиция! Охрана!» — раздался истошный крик. «Закройте турникет!»

И они его закрыли. А Колобродько не стал перепрыгивать. Руки его тряслись. Он сдал оружие охраннику.

51.

Ивана закрыли в СИЗО. Он успел позвонить двум женщинам, которые его любили, прежде чем у него изъяли телефон и ключи от машины.

Маша заплакала, спросила адрес, сказала, что придёт, и спросила, что принести.

Надя изменилась в лице, и если бы кто-то мог её видеть, сказал бы, что она похорошела. Она

быстро села за стол и написала заявление об увольнении. Ей нужна была свобода не только ходить на пляжи, но и посещать задержанных и осуждённых.

Аслянский взял её бумагу, бросил косой взгляд и стал бегать вокруг стола короткими возмущёнными шажками, извергая неожиданные и несправедливые слова.

Надя слушала молча.

— Ты не передумала? — прекратив беготню, спросил губернатор.

Надя отрицательно покачала головой.

— Напомню тебе русскую поговорку: «от тюрьмы да от сумы», сама знаешь!.. Не зарекайся!

Надежда пошла к выходу, но на последнем слове обернулась:

— И он будет мне русские поговорки рассказывать!

Уходила она в такой ярости, что на звук хлопнувшей двери выскочила в коридор начальник протокольного отдела.

52.

Аккредитованный при Госдепе журналист и дипломат Алекс Вершман уже двое суток не выходил на связь, и его дежурные контакты обеспокоились.

Новый посол американских Штатов, ещё не вручивший верительных грамот, успел обратиться с просьбой о содействии к Министерству иностранных дел и в Следственный комитет, а к министру внутренних дел приехал корреспондент Би-Би-Си. «Меня ни для кого нет!» — объявил министр секретарю.

Целью корреспондента было взять интервью о сотрудничестве спецслужб в борьбе против террористов. Заодно он привёз несколько фотографий в трёх экземплярах.

— Вот этот парень потерялся в Великорецке. Вот он в кафе с двумя женщинами. Вот он в крайней администрации. Ну и так далее. Вы знаете, что делать. Вот о нём данные...

— Он с какой миссией? — спросил министр, хотя понимал, что вопрос недозволённый.

— У него американский паспорт. Когда в ваш МИД обратится Госдеп — это не моя компетенция, а мною движет простая журналистская солидарность...

Министр оценил британскую красоту ответа и сказал, что подключит йогов, экстрасенсов, бурятских учёных, лучших криминалистов и жёлтую субмарину.

Со стороны могло показаться, что это издевательство над просителем, но министр и его гость были «братьями» и отлично понимали друг друга.

В доказательство чего, в довершение встречи, министр научил посетителя двум редко практикуемым асанам.

53.

— Кто к Колобродько?

— Я! — встрепенулась Маша и полетела к спросившему.

— Приходите завтра!

— А что случилось? — так и подбросило Машу вопросом.

— Он у врачей сейчас. Дело небыстрое.

И, упреждая вопросы, дежурный зачастил:

— Всё, всё... Больше ничего не знаю!

Надежда посмотрела вслед ушедшему прапорщику и обернулась к расстроенной женщине:

— Извините, вы — Маша?

Та широко раскрыла глаза, потом кивнула:

— А вы — Надежда. Я вас по телевизору видела.

Эти бесхитростные слова что-то сделали с Надей: лицо её исказилось, слёзы полились из глаз — и, желая скрыть их, она бросилась в нечаянные Машины объятия... Как это вышло, и что это значило — не понимали обе. Но слёзы литься не переставали — и Надя, от стыда за причинный состав этих слёз, прижалась лицом к плечу Марии...

Воронежские берега

Валентина Беляева

Валентина Беляева родилась в 1951 году, в г. Бурыни Сумской области. Окончила факультет прикладной математики и механики Воронежского государственного университета. Автор пяти поэтических сборников, книги детских стихов «Лики радужных дождей». Печаталась в сетевых, коллективных, региональных изданиях, Антологии сетевой поэзии, в газете «День литературы», в литературно-художественных журналах «Мост», «Край городов», «Новый енисейский литератор», «Дальний восток», «Подъём», «Невский альманах», «Наш современник», «Новая Немига литературная» (Минск), а также в научно-публицистических — «Берегиня» и «Азиатский форум».

Незнакомый ещё, ослепительный свет

* * *

Строка моя... Тебя я умоляю, отпусти.
Не дай своей настырной и недремлющей ладони
Меж рёбрами гнезда за мнимой славою в погоне
По веточке, по листику сорвавшемуся свить.
Да, помню, поэтесса я! И ты меня прости,
Дай отдыха от мук и затаённого порока,
В объятиях которого с тобой в тени острога
Мне милостыню божию чужих людей просить.

Строка моя! Ты горечью негданных потерь
Коснёшься рук, обнимешь за согнувшиеся
плечи,
Покличешь строгих судей, созовёшь
на площадь вече
Под жаркий перекрёстный гул трибунного огня.
А мы ведь близнецы! Но я распахиваю дверь
В безбрежность вожделенного тобой святого
днища.
Иди, не возвращайся!.. И с немного пепелища
Увидишь дрожь в руках, толкавших
в полымя меня...

Время

Я не вижу, не чувствую, не ощущаю
Ни объятий твоих, ни дыханья в лицо.
Ну, так кто ж, словно принц под светящим
венцом,
Увлекает меня сквозь пространство куда-то?
Я бессильна пред ликом твоим! И прощаю,
Как младенцу, рождённому только что, крик,
Каждый вздох и летящий единственный миг,
Устремлённый в безбрежные цепи заката...

Ты — моё! Так послушай мольбу искупленья
В подвенечном сиянии мудрых богов
И украденных звёзд, и невольных грехов,
И следов, растворённых во влаге тумана.
И в безумном бреде твоего же мгновенья
Я — по тропам, кишащими лентами змей,
Наслаждаюсь и твердью землею твоей,
И преступностью плахи чужого обмана...

* * *

Сердце замерло... И встрепенулось
Остриём серебряной иглы.
Свежим снегом предутренней мглы
Крыла ночь её хрупкие плечи.
А она, обессилев, качнулась
И, сверкнув голубым огоньком,
Чуть вздыхая, волнуясь, тайком
Мне бросала зажжённые свечи...

И забывшись в мольбе исповедной,
Рассыпаясь в алмазную пыль,
Уплывала в бессмертную быль.
И, томима извечной виной,
Тихо плакала в час предрассветный
У перил неземного моста...
И просила прощенья... Звезда,
Что однажды зажглась надо мною...

* * *

Он приходит ко мне каждый вечер...
Безупречной молчит тишиной.
Чуть вздохнёт безызвестной виной,
Чтоб восточным пожаром зардеться...

Он зажжёт белоснежные свечи,
Кинет свет по ночным берегам.
Что-то молвит незримым богам
И качнёт обречённое сердце.

Он играет на арфе... И в полночь,
Вспыхнув заревом звёздных огней,
Прокричит во вселенной моей
И осенней кантатой прольётся...
Он доставит последнюю помощь
И растает, прекрасен и дик...
Тот безумный единственный миг,
Что бессмертьем моим отзовется...

* * *

Нас лишь двое на целой планете...
А запястья мои за спиной
Да душа в жажде корки ржаной
Крепко связаны дланью плебейской...
И с тобой в ослепительном свете,
Создавая сюжеты, холсты,
Мы идём по колючкам пустынь
В завидневший ужас библейский...

А Земля нам была колыбелью.
У зажжённых наследных огней
Мы качались с тобой вместе с ней,
Повзрослев, глядя в сумрак растленный.
Где восходы, звеня птичьей трелью,
Опускались в разнuzданный пир.
Где забрызганный кровью весь мир
Стал судьбой нам и целой вселенной...

И нам общим стал путь обречённый,
Где мы прячем виновно глаза,
Где в былой бирюзе небеса
В ноги кинулись белой луною...
И в безвестной глуши заметённой
Ты, укутавшись в складки плаща,
Под нетленным венцом палача
Водрузишь древний крест предо мною...

* * *

Ты почувствовал это... Да, ты одарён
Нежным звёздным венцом! Потому-то так рвётся
Сердце в небо, откуда фонтанами лётся
Незнакомый ещё, ослепительный свет...
Облака ль над тобой? Разве там не Орёл
Обнимает пространство резными крылами?
А мгновеньем — за лесом, рекою, холмами —
Камнем бросится вниз. И его больше нет...

Но тебя так манит эта белая высь!
Что сомненья твои! Ты ничуть не жалеешь,
Что в беспечности жил, ничего не умеешь.
На спине уже выросли два бугорка...
И покоя не даст та безумная мысль,
Что, взрывая как клетку твоё подреберье,
Обернётся сокровищем облачных перьев
Да отчаянно бьющейся жилкой виска...

А живая стихия Орла в небесах!
Но ты истину эту отвергнешь во гневе —
Два огромных крыла за спиной в диком небе!
Ты целуешь украдкой уста в образке...
И заснеженной высью в горящих глазах
Воспаришь, отдавая долги своим грёзам...
И увидеть дано лишь холмам да берёзам,
Как четыре крыла бьются в красном песке...

* * *

Ты идёшь. Нет, ты тащишь себя сквозь пургу.
А куда, представляешь? Хотя б отдалённо?
Выйдёт волк на опушку и взгляд удивлённый
Кинет в спину согбенную, тихо рыча.
Этот след. Этот след на скрипящем снегу...
Ты оставишь на нём холстяную котомку
С ледяным вкусом слипшихся зёрен потомкам,
Ощущая во рту аромат калача...

Ты идёшь. Нет, ты тащишь себя. По мостам,
Берегам и полям, по обочинам белым.
Но ты разве один? За холмом задубелым
Чуть скрипя, затихают колёса телег.
Выйдет волк на погост к молчаливым крестам
И, тебя поджидая, сольётся с их тенью...
А ты, вспомнив свою синеглазую келью,
Обернёшься... А там только снег. Белый снег...

* * *

Воздух плещет, искрит. Это царство зеркал...
Уползавшим закатом, восходом ли ранним —
Ослепительный свет его, ржавые грани
За тобой непременно потянутся вслед.
Что терял и берёг, что порой отвергал,
Зеркала украдут и бесстрастно умножат.
Засмеявшись беззлобно, к окошку возложат
Полевых разноцветий охапку в рассвет...

Зеркала, зеркала... Застеклённым лучом
Обожгут твоё сердце в бреду сострадания,
Обернут в задымлённую мглу Мирозданье,
Где в звериной тоске рыщет старый шакал.

Где змеиное вервие древним бичом
Голосит, рассекая пространство: «Мир тесен!»
И бросает под ноги в пушистую плесень
Отраженья твои от осколков зеркал...

* * *

Эта стылая гладь бесконечной реки
Под заросшим полынью песчаным обрывом.
Что за музыка? Шнитке ли в вихре игривом
Зычным рёвом взрывает простор на лету?
Что за птицы с коронами, словно божки,
Искупавшись в грязи, мельтешат как знамёна,
Подними только взгляд... Ах, что ж он,
изумлённый,
Предаёт безоглядно твою немоту!..

Замутнённые глади болот и озёр,
Беспредельная даль под когтём ястребиным...
Эти лживые краски ничейной картины,
Где развилки дорог без столбов и границ...
Сколь ни глянешь — листвы безупречный узор
Меж кленовых стволов на черневших
кострищах

Да сокрытые плесенью мокрые днища
В журавлином безмолвье застывших криниц...

* * *

Евразийские ветры. Из мглы заповедной.
Эта тьма воровских обесцвеченных глаз...
На плывущих подмостках — языческий пляс
В огнецветных гирляндах раскрашенных листьев.

Этот жреческий гул из утробы монетной —
Вулканической лавы симфоний и од.
Ты бессилен припомнить — какой уже год
Слышишь трубы его же космических истин.

Эти толпы... бесщётные массы бредущих
По незыблемой тверди открытых планет,
Где сплошные равнины, где тысячи лет
Летописные свитки горят. Час неровен...
И сквозь дыбы времён — чей-то голос зовущий
Из кристалльных пустот белокаменных плит...
Это кто там в накидке господней стоит?
Кто кресты водружает из мачтовых брёвен?..

* * *

Что за дымка по следу белёсою змейкой,
Рассекая препятствия, тянется вверх?
Ты, закутавши плечи в искусственный мех,
Видишь, как впереди тоже движется кто-то.
Воздух дышит из клетки немой канарейкой,
Разливается озером мёртвый восторг...
К горизонту, вокруг, упоительный торг,
А за пятками — яркая зелень болота.

Здесь бесследная гладь. Даже свежей порошей.
Хоть колени согни, хоть на брюхе ползи.
Здесь следов не найдёшь! Даже в мёрзлой грязи.
Так послушай, как льётся триолями птаха!..
Не ищи ничего, ты уже подытожен!
Возвращайся во чрево пещеры пустой.
В дланях истины древней, банально простой, —
Не тебя ль ожидает на площади плаха?..

* * *

Двойник ли, временщик какой по следу за тобой
Невидимую тенью из песков ветхозаветных,
Кладёт на плечи руки невесомо, незаметно,
Не чувствуя, как твердь у ног отчаянно дрожит?
И кто ж из вас двоих твоею властвует судьбой?
Где у крыльца столетний дуб уродливо подпилен,
И маятник часов замрёт, лишь ухнет где-то филин,
И с живостью бессменной вновь беззвучно мельтешит...

Как жалок ты среди пещер и угольной пыли,
Где разум твой немислим и до ужаса ничтожен!
Где свой же вздох услышишь леденющей кожей,
И след твой на земле заглотишь нежная заря...
Откуда чуть виднеется, мерцающая издали,
Упавшая полярная звезда нагой жар-птицей.
И раненые крылья журавля твоей криницы
Лежат на пепелище у подножья алтаря...

Воронежские берега

Михаил Фёдоров

Михаил Фёдоров — член Союза писателей России. Родился 15 декабря 1953 года в Вологде, в семье военнослужащего. Автор множества публикаций, в числе которых книги: «Ментовка», «Легионеры трясины», «Ноль-один, ноль-два, ноль-три», «Пёстрые вёрсты», «Плодородный человек Егор Исаев».

Романы, повести, рассказы, хроники публикуются в журналах «Российская юстиция», «Роман-журнал XXI века», «Россияне», «Сельская молодёжь», «Урал», «Дон», «Север», «Подъём», «Кольцовский сквер», «Воронежский епархиальный вестник», а также в зарубежных печатных изданиях — журнале «Пражские огни» (Прага), *Nota bene* (Израиль). Живёт в Воронеже.

НЕ ГОНИТЕ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ПРЕВОСХОДСТВА!

Скоро исполняется два года, как ушёл из жизни Герой Социалистического Труда (1986 г.), лауреат Ленинской премии (1980 г.) и Госпремии СССР (1986 г.), почётный гражданин Воронежской области (2000 г.), участник Великой Отечественной войны, поэт Егор Александрович Исаев (2.5.1926, с. Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии — 8.07.2013, г. Москва).

Его с нами нет, а его поэмы и заветы живы по сей день. Они всё больше набирают силу.

Мне всё чаще вспоминается рассказ Егора Исаева о времени, когда после окончания войны он служил в Вене:

«Я вот солдат. Американец идёт — тонкая шерсть, всё у него блёстки золотые, веет от него духами, одеколоном. Австрийцы льстят... А я: вы невольно нас превосходите. Ставите выше себя, — говорил поэт и добавлял: — Не знаю, насколько сердце сконтактировано с головой, но мне американцы задали вопрос по радио: мол, что Вы-то расскажете о войне? А я: «Я воевал, я локтями знаю, что такое земля, пузом своим знаю. Хорошо, что у вас по бокам два океана. Это уже больше, чем две армии. И больше, чем пять флотов ваших. Но я вас, послушайте, предупреждаю, не превосходите, ради Бога, не нагоняйте волну третьего превосходства, мы уже две волны отбили. Какой ценой, какой кровью! Одну волну — наполеоновскую. Вторую — гитлеровскую. Так что я прошу: не надо! Может, после третьей никого не останется...»

Какими пророческими воспринимаются эти слова после событий последнего года, когда бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, американцы превращаются в противников и в прямом и переносном смысле нагоняют третью волну превосходства.

Исаеву было, что ответить американцам. Он узнал войну раньше многих взрослых. Подростком в 1941 году оказался под Вязьмой. С тысячами одногодков ровнял берег Днепра, превращая его в вертикальную стену, чтобы немецкие танки не смогли на него подняться; рыл окопы и блиндажи. Чуть не попал в окружение и трое суток в бесконечной веренице людей выходил в тыл; на станции Вязьма его обстреляли немецкие самолёты; добирался домой на попутных поездах; чуть не отстал от одного состава, когда слез с платформы и пошёл в ближайшую деревню за едой; голодный, как рассказывал, «стариком, в морщинах» вернулся в родное село Коршево.

Его отмыли, накормили. Исаев снова сел за школьную парту.

Но ненадолго. Как только достиг восемнадцати лет, его призвали. Сначала служил в Москве, охранял Чагинский кречензавод. Это территория нынешней Капотни. Оттуда отправили охранять турецкую границу. Когда ехал в поезде, по дороге увидел лежащий в руинах Сталинград. А с границы со вновь сформированной частью через Польшу попал на фронт.

Исаев вспоминал: «Я увидел Варшаву... Мы едем, едем тридцать пять километров в час, и всё подчистую. Варшава — то же самое, что Сталинград. Эшелон стал, и насквозь видно, что это пустыня. Она в таких глыбах. Ведь пустыня имеет барханы, бархан имеет свою форму, ведь всё вздыблено, торчит железо — железяки от этого горизонта и до этого. От того горизонта и до того, то есть и от запада и до востока. От юга и до севера. Города не было! Я видел насквозь. Ни одного всерьёз возвышающегося предмета. Всё насквозь».

Рассказал про польку, которой отдал выданные ему английские ботинки и не услышал слов благодарности: она молча взяла и пошла. Люди были обессилены до такой степени, что забыли, что такое благодарность.

Из Варшавы часть с Исаевым на машинах перебросили на фронт. Солдаты вступили в бой, выбили немцев. В составе 13-й Гвардейской дивизии перебросили на Прагу, спешили, чтобы немцы не успели подавить вспыхнувшее там восстание.

В столицы Чехии их встретили с цветами.

Здесь Егор Исаев поступил в школу радистов; его взяли в дивизионную газету «На разгром врага!» Он работал радистом по приёму тассовской информации. С дивизией переехал в Вену. Из дивизионки перевели в газету Центральной группы войск «За честь Родины». Здесь окончил школу.

В этих краях у Исаева возник замысел поэмы «Суд памяти». Описать войну через образ стрельбища. Этой прорвы, поглощающей людей, которые учатся на нём стрелять и потом на живых «мишенях» отрабатывают полученный опыт. Этой прорвы с горами размельчённого на пули металла. «Там пуль, как пуха в наволочках», «как зёрен в пашне», — подметил в поэме Егор Исаев, описывая судьбу «гордых крестоносцев рейха», у которых после постигнутого их неминуемого поражения «в глазах полынная тоска», а в руках — костыли.

Перечитывая поэму, невольно находишь отзвуки настоящего.

*«А эти чистокровные полки,
А эти человеко-единицы
...
И шли, и шли...
И размножали зло,
Переступая трупы и окопы, —
И громыхало стрельбище, росло
Во все концы контуженой Европы.
Горел Эльзас,
Горел Пирей, Донбасс...»*

Мы знаем, с какими фашистскими знамёнами в прошлом году пошли бандеровцы на Донбасс, уничтожая то, что их предшественниками уничтожалось более семидесяти лет назад.

*«Разры-ыв! И — в крошку города,
В лавину камнепада.
Тогда ни памяти, тогда
Ни костылей не надо»,*

— читаем в поэме.

Думается, что Егор Александрович, когда писал эту поэму, и в мыслях не мог допустить, что постигнет Украину в 2014 году. Но предостерегал. Антифашистская поэма Исаева звучала актуально пятьдесят лет, так же злободневно звучит сейчас.

Егор Исаев — друг Юрия Бондарева. Их дружба родилась с той встречи во дворе Литературного института, куда уволившийся в запас Исаев приехал поступать, но опоздал на вступительные экзамены. Его, как специально, промурыжили в армии, где упрасивали остаться военным журналистом. Именно эта встреча с Бондаревым решила писательскую судьбу Исаева. Юрий Бондарев помог Исаеву, его приняли даже без экзаменов. Сыграли свою роль рекомендации знавших пишущего стихи бойца писателей, которыми он и не думал воспользоваться.

С Юрием Васильевичем они и шли по жизни: один — с военной прозой, другой — с военной поэзией.

Жизнь Егора Исаева отдана народу. Он добивался лучшей жизни для простых людей, проводил газ на родине, выбивал медицинскую и строительную технику, помогал делом. Его никто не заметил на личном обогащении, что теперь распространено среди некоторых писателей. Он не «завладел» писательским особняком, как известный всем бывший комсомольский работник.

Выходцу из глубинки понятно, что чуждо земляку, что разрушает его жизнь. Он всегда восторженно писал о Земле и труженике, о тягловом труде крестьянина и об ответном отношении к нему Земли.

*«Вокруг него во весь напор
работала земля.
Вся до корней напряжена,
Вся в дымке голубой.
Она щедра, земля, она
Поделится с тобой
Своим трудом, своим зерном,
Ни грамма не тая», —*

звучат строки из той же поэмы «Суд памяти».

Егор Исаев — боец. Вспоминается история с решением думцев, когда захотели со знамени Победы удалить серп и молот.

Исаев молниеносно ответил депутату-генералу, который додумался до такого.

*«Спорить со знамени Победы
Наш серп и молот,
Так ведь это всё равно,
Что вспороть могилы всех тех,
Кто сломал хребет фашистам.*

*Позор вам, думские ваибродь!
Пороть Сигуткина! Пороть!
Сняв генеральские штаны
На Красной площади страны!»*

Генерал забыл, что серп относится к труженику-крестьянину, молот — к труженику-рабочему. Трудом этих людей осилили фашизм. Страшной ценой повержена армия, с которой против страны Советов пошло «всё железо Европы».

Потери оказались ужасные, но и уроки — потрясающие.

Исаев повторял: «Нисколько не покушаясь на незыблемый авторитет библейского изречения «в начале было Слово», я всё-таки позволю себе отдать должное и тому до конца необозримому числу, что стоит рядом со словом и в чём-то даже превосходит его. Это более сорока миллионов убиенных во Вторую мировую войну... Из них более двадцати миллионов наших, советских миллионов, не знаю, как там разные ЭВМ, а живое сердце и живое воображение разумного человека просто цепенеет в растерянности перед всем тем, что смертью заключено в этой восьмизначной цифре...»

Из сознания Егора Исаева не выходило ставшее реальным самоуничтожение людей на Земле, когда ястребы из-за океана с зашоренными глазами и неуёмными аппетитами утратили осознание жизни и смерти.

Исаев твердил, как истину: «Они на западе считают себя цивилизованными, а нас — простачками. Да нет, вы отойдите от этого чудовищного высокомерия!.. Говорят: «холодная война». Даже «холодная война» имеет начало. Так где начало холодной войны? Мы не открывали ни восточного, ни атлантического «фронта». Так вы же открыли!.. Потом мы свой закрыли Варшавский договор, а они свой расширили... Они мыслями уже под Смоленском! Они уже у братушек. Бра-туш-ки... Вот, что такое Европа...».

Казалось, страшные годы ушли за горизонт.

*«С тех пор дождей немало пронесло
По городам, по каскам, по полям,
С окопной глиной, с кровью пополам,
За горизонт, за сорок пятый год», —*

с надеждой писал поэт.

Но, оказывается, пережитое возвращается в новом облики. В кровавых ужасах на Донбассе.

Исаев рассказывал, как писал поэмы. Сначала выработывал линию обороны. Где-то делая шаг назад, где-то — шаг вперед, но удерживая позицию. А потом уже выработывал линию наступления. Писал, словно оказывался на передовой и поднимался в бой. Его опыт, его слова незаменимы.

Видимо, пришла пора нам по прошествии семидесяти лет со Дня Победы выработать свою линию обороны, чтобы где-то отступить, но удержать фронт, а потом выработать линию наступления и опрокинуть «третью волну превосходства».

И снова оживает предостережение Исаева: «Но я вас, послушайте, предупреждаю, не превосходите, ради Бога, не нагоняйте волну третьего превосходства, мы уже две волны отбили. Какой ценой, какой кровью! Одну волну — наполеоновскую. Вторую — гитлеровскую. Так что я прошу: не надо!»

Услышат ли его заокеанские ястребы и их европейские послушники...

Но мы слышать слова поэта обязаны.

23 марта 2015 года. Использованы беседы Михаила Фёдорова с Егором Исаевым, опубликованные в книге: Михаил Фёдоров. «Плодородный человек Егор Исаев». — Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография — издательство им. Е.А.Болховитинова», 2014. — 512 с.



Краснодарские берега

Сергей Зубарев



Родился 28 августа 1954 года в Челябинске. С детских лет живёт на Кубани. Служил в Балтийске на десантном корабле. Автор поэтических книг «Грешное с праведным», «Душа, как выжженное поле», «Ночного бражника полёт» и «Гордиев узел». Публиковался в региональных изданиях «Литературная Кубань», «Кубанский писатель», «Родная Кубань» и др. Член Союза писателей России с 2007 года. В настоящее время живёт в Анапе.

* * *

Психея, бабочка, душа!..
Мы связаны одной судьбою,
Пока ты в небо голубое
Не взмоешь, вечностью дыша.

Успеешь отдохнуть от дел,
Не торопись расстаться с телом,
Ты ж неслучайно залетела
В него — Господь так захотел.

А значит, продолжаем жить:
Страдать и сердце рвать на части,
Любить и радоваться счастью
Так, чтоб прощенье заслужить

За мнимые свои грехи
И за содеянные, может, —
Не зря же совесть гложет, гложет! —
И по ночам писать стихи.

На кончике карандаша
Затеплится лишь капля света,
А ты уж рифмою согрета,
Трепещешь бабочкой, душа!..

17 сентября 2014 г.

СТАРИК

Износилось тело, как рубаха.
И в чём только держится душа?
Но гляди-ка, как старик без страха
Смотрит в небо жадно, не дыша.

Что там видит? Дальнюю дорогу
Всю в сугробах снежных облаков.
Он уже готов предстать пред Богом
И ответ держать за всё готов.

За любовь, которой знает цену,
За безумства, за хмельной туман...
И расскажет он, как брали Вену,
Как тогда от крови был он пьян.

Многое старик расскажет Богу,
Как всю жизнь на Родину пахал.
Хоть она порой судила строго,
Никогда её не предавал.

О большой «вине» своей расскажет
Он, прошедший тысячи дорог:
— Господи, как жить ты мне прикажешь,
Если я державу не сберёг?

В чистое одет, как перед боем.
Под ногами лишь землицы пядь,
А над ним всё небо голубое,
До звезды уже рукой подать...

13 июня 2013 г.

* * *

Не дай Вам Бог жить
в эпоху перемен.

Конфуций

А мы живём в эпоху перемен...
Сменили строй, а с ним ориентиры.
Одни уходят, кровь пустив из вен,
Другие разбредаются по миру.

То тут, то там идёт распил бабла.
Что пильщикам мораль да и законы?!
Из яви и бутылка, и игла
Уводят за собою миллионы.

В наш монастырь, где нет давно ворот,
Вломились орды со своим уставом.
И вот уже мутирует народ
Везде, где защищаться перестал он.

Настанет час, свершится Божий Суд!
Вон павшие уже за облаками:
«Вставай, страна огромная,..» — поют,
Омыв её дождём, а не слезами.

17 апреля 2013 г.

* * *

Род проходит и род приходит,
а земля пребывает вовеки.

Экклезиаст

Колокольчики в травах
звонят ли, плачут?
Им всем тяжело
от слёз, от росы ли?
Вот царь-колокол зазвонил,
не иначе –
Русских всё меньше
и меньше в России.
Как грибы растут
по селеньям погосты.
Неужто судьба
урожай итожит?
Как сказано, все мы
случайные гости.
Сквозь гром раздаётся
не глас ли Божий:
«Говорил вам, плодитесь
и размножайтесь.
Но что маловерам
мои советы!
Всему своё время.
Не обижайтесь!
Другие приходят
на землю эту...»?
Гроза отшумит.
В небе высыплют звёзды,
В прудах ли, реках
всю ночь отражаясь.
Спит земля, и ей снится:
«Ещё не поздно.
Богатырей мы ещё
нарожаем!»

6 мая 2013 г.

* * *

Петухи не во сне ли пропели?
Не за печкою ль вскрипнул сверчок?
Никого! Все давно улетели.
На деревне один «дурачок».

Вот проснулся опять с петухами,
С полоумным запечным сверчком
И, бубня, он наполнил стихами —
Иль молитвами! — старенький дом.

Не стонал он по давнему счастью,
Не туманил слезами свой взор.
Просто взял рыболовные снасти
По привычке и вышел во двор.

Ночь истаяла в лунной ограде.
Просыпалась с рассветом земля...
Что рыбалка? Не отдыха ради,
А сейчас пропитания для.

И спешил он тропинкою узкой
На заре среди трав росяных
К светлой речке, пока ещё русской.
Но зевнёшь, потечёт для иных.

Может, он и судьбою отмечен —
Доживать ото всех вдалеке,
Чтоб вот так разговаривать с речкой
Каждый день на родном языке.

Январь 2014

НОКТИОРН

И бражника ночной полёт,
И хмель цветущего дурмана,
И месяца холодный лёд,
Не тающий на дне стакана,

Купающийся в «шардоне»,
И эта ночь, и эти губы
Готовы все уже вполне
Ожить в стихотвореньи грубом

И оживить его собой,
Чтоб бабочкой впорхнуло в память,
Чтоб чувствовать морской прибой
Всю жизнь солёными губами

Потом, от моря вдалеке,
И сердце защемит так сладко,
И полетит душа в пике,
Когда крылом твоей руки
Коснётся мотылёк украдкой.

1 января 2012 г.

ТРИ МУЗЫ

Вечерний парк. И первая звезда
Свой свет небесный с водной гладью делит.
Три музы у зеркального пруда
Щебечут, изнывая от безделья.
И смотрят в сумрак ивовых ветвей,
Где соло вьёт влюблённый соловей.

— Ах, как поёт! Попробуй так запой, —
Одна вздохнула, не скрывая грусти, —
А мой поэт давно ушёл в запой.
Бог весть теперь, когда его отпустит.
И с пьяных глаз, с зелёной злой тоски
Вчера он сжёг свои черновики.

Вторая ж ухмыльнулась свысока:
— А мой стал крут и рубит он «капусту»
И о стихах давно его рука
Забыла. За душой ни строчки. Пусто.
Но я вчера видала, как украдкой
Он так глядел на чистую тетрадку.

— А мой почти совсем ни пьёт, ни ест, —
Всплакнула третья — чистое созданье, —
А мой поэт несёт молчанья крест,
Который дан ему для покаянья...
Умолкли все. А в сумраке ветвей
Над ними заливался соловей.

21 августа 2012 г.

ГОРЬКОЕ ПОЛЕ

Хоть посевной сроки минули,
Хочешь иль нет, а сажай...
Поле засеяли минами —
Будет на смерть урожай.

Сколько же горького горюшка
Убрано будет, — поверь! —
Бедное хлебное полюшко
Минным ты стало теперь.

В прошлом дождями омытое,
Часто в жемчужинах рос.
Взрывами нынче изрытое —
В ранах из крови да слёз.

Между смертями и взрывами
Снится тебе тишина,
Где ты опять с тучной нивою...
Долго ль продлится война?..

1 февраля 2015 г.

СЛАВЯНСКОЕ СОЛНЦЕ

Рассорили нас злые силы,
А мы и купились на ложь.
И множатся наши могилы,
И жизни цена — медный грош.

Славянское солнышко вянет,
Ссыхается русская речь...
Эх, как же мы, братья-славяне,
Любовь не сумели сберечь?

Неужто навек разойдёмся?
Покрошим друг друга в бою?..
Не гасни, славянское солнце!
Услыши молитву мою!

8 мая 2015 г.

ИЗВЕЧНОЕ

По братской пуле между глаз
Нас узнают на этом свете.

Николай Зиновьев

Можжевательник казачий
Зашумел у крыльца.
Мать проснулась: «Хтось плаче!...»
И сменилась с лица.

Дверь открыла: «Нико'го?!»
И, упав на порог,
Всё молилася Богу,
Чтоб сыночка сберёг.

А у дома другого,
Где калина в цвету,
Тоже слово за словом
Все лились в темноту.

Мать другая молилася
Под весенним дождём:
«Боже мой, сделай милость! —
Мы сыночка так ждём...»

Зорька кровью с испугом
Напоила цветы.
В чистом поле друг друга
Постреляли братья.

И в родной земле оба
Они рядом лежат.
Ни могилки, ни гроба...
Только пули жужжат.

20 мая 2015 г.

СКОРБЯЩАЯ МАТЬ

Сколько слёз, сколько чёрного горя! –
Катастрофы, убийства, война...
Как не вспомнишь тут: «Memento mori!»
Белый свет застит слёз пелена.

Сын ушёл, не спеша оглянуться, –
Кто же знал, что обнимет беда.
Сын ушёл, чтоб живым не вернуться
Никогда, никогда, никогда.

И заламывать горестно руки
Остаётся и горько гадать:
«Провожая сыночка на муки,
Ты смогла бы его удержать?»

Над сыновнею плача могилой,
Понимаешь — в печали чиста! –
Каково Богородице было
В час, когда распинали Христа!

22 сентября 2012 г.

ЗАВЕТ

Продираясь сквозь заросли хмеля,
Потерявши дорогу,
Как же мы напроситься посмели
В гости к Богу?

Но не приняты им. Ну и ладно.
Значит сроки не вышли.
Не отхлещет лозой виноградной
Нас Всевышний.

Он простил нас, хмельных, непутёвых:
«Вы ко мне не спешите.
Я вам дал вместо золота Слово,
Так пишите!..»

16 сентября 2012 г.



Краснодарские берега

Сергей Тимшин

Поэт, прозаик, автор 11 персональных книг стихов и прозы, редактор и составитель более 25 книг молодых авторов, альманахов, антологий и коллективных сборников, лауреат и дипломант многих литературных конкурсов, в том числе и международных, а также фестивалей авторской песни; публиковался в центральных и региональных изданиях. В разные годы руководил детским и взрослым литобъединениями, выпускал детско-юношескую литературную газету «Ростки» и газету студенчества «Высшая школа» (ХМАО), был ведущим литературных страниц в окружных газетах «Слово народов Севера» и «Новости Югры» (Ханты-Мансийск), литературным консультантом Ханты-Мансийской писательской организации СП России. В настоящее время живёт в Краснодарском крае. Член Союза писателей России с 2000 года.

Сурб-Хач¹

1.

Полдень Солхата²
Сине-зелёно -
Жёлт.
Солнечным златом
Град монастырский
Жжёт.

Группой туристов
Кучно ступаем
Внутри.
Душно и мглисто
В узких проходах
Тут.

Будто в ущелье,
Стены отвесны
Здесь.
В нишах и кельях
Ласточек гнёзда
Есть.

2.

Экскурсоводом
Церкви служитель
Нам.
Молча проходим
В средневековый
Храм.

В сумраке вязком
Сочной прохлады
Явь,

В храме армянском
Сплошь светотеней
Вязь.

В каменных сводах
Блики горящих
Свеч.
Будто бы в гротах,
Кверху восходит
Речь.

В сумрачном свете
Шёпот струится
Вглубь -
В тени столетий
С молитвословных
Губ.

3.

Гулок на плитах
Захоронений
Шаг...
Кончив молитву,
В летний выходим
Жар.

Звонкий и зрячий
Нас привечает
Лес,
А над Сурб-Хачем,
Небо являет
Крест³...

24.08—12.09.2014

¹ **Сурб-Хач.** Монастырский комплекс, расположенный в лесистой долине северо-западного склона горы Грыця (Святого Креста, Святая, Монастырская), в трёх с половиной километрах к юго-западу от города Старый Крым Кировского района Крыма.

² Солхат — Старый Крым

³ Небо являет крест... — Легенда гласит, что основатели монастыря Ованес Себастиаци и его братья увидели в небе видение в виде креста, указавшего им на это место.

Чаечка

1.

Как ладейка качается на жемчужной волне
Кареглазая чаечка, приближаясь ко мне.

Треугольными ластами птичьих лапки гребут.
Гладит солнышко ласково мне морщины на лбу.

Всё отчётливо вижу я, погружён в синеву,
И почти что недвижимо тоже к чайке плыву.

2.

Вот и рядом качается в лёгком тельце душа...
Казантипская чаечка, как же ты хороша!

Светло-серые пёрышки, жёлто-розовый клюв...
Ах, Азова соловушка, как тебя я люблю!

Любопытная чаечка от меня — в полгребка!
Небо с морем венчаются, и фатой — облака...

3.

Что ж ты, милая, сделала, взор и сердце маня?
Осторожная девочка, ты не бойся меня.

Я уже без движения! Улететь — не спеши!
Может, ты — воплощение человечьей души...

Золотистыми бликами ослепляет глаза,
Волны катятся, брызгают, солонь, как слеза...

25.08-9.09. 2014

Я бежал от войны...

1.

Я бежал от войны, на рысях, как последняя
сволочь, —

От экранов ТВ, от всемирных липучих сетей,
От размноженных в СМИ ежечасных обзоров
и сводок,

Где бомбят города, где стреляют из пушек
в детей.

Я бежал от себя — от тоски и бессильного гнева;
От диванных пружин, от скандальных

измученных строк,
Чтоб, как в детстве святом, пить молочное
крымское небо,

Что вскормило меня, подавая налитый сосок.

2.

Я сбежал — от всего! И с боспорских
прибрежий с разбега
Головою влетал в золотисто-лазурный Азов,
И качала меня материнская тёплая нега,
И вещала волна мне мелодии новых стихов.

Там свисали в ночах скороспелые звёздные
гроздьи,
Там слияние губ я со смуглой хохлушкой
вкушал,
Беззащитный от дум, что хлестали мне совесть,
как розги,
О славянской войне... И сжималась, саднила
душа.

3.

...Я вернулся домой — не на поле кровавого боя,
А в притихший сентябрь (перед новой ли
смертной грозой?),
Забывая, как сон, в новостные часы непокоя
Киммерийскую даль и шуршащий азовский
прибой...

23.08 — 7.09.2014

Крым-ковчег

Во вселенной царит ночь.
Меж морями плывёт Крым.
Я сегодня на нём Ной,
И любуются вслед мной
Сонмы звёзд и миры рыб.

Среди массы ночных волн,
Среди света живой тьмы
Не гремит никаких войн,
Лишь сентябрьской луны звон
Чуть качает ковчег-Крым.

1—6.09.2014

Без лета бабьего...

Облака провисают грузно,
Как гружёные корабли...
Август — солнечный, пряный, вкусный —
Закатился за край земли.

А ведь он, что янтарный персик,
Золотистый нектар сочил;
И цикадные сыпал песни,
И созвездья сжигал в ночи.

И ведь мне поднебесье Крыма
У блескучих азовских вод
Позолотою тело крыло,
Обдувая дорожный пот.

Но сегодня сентябрь... И тучи
Над Кубанью избрали рейд,
И эскадрой стоят могучей,
Заслоня небесный свет...

И сажу на мели, как краб я,
И, как пёс на цепи, озяб,
Ожидая, что лето бабье
Не минует и мой сентябрь...

17.09.2013

Нет, жизнь не прошла, не застыла...

Нет, жизнь не прошла, не застыла,
Как в фотографическом сне;
Минувшее дышит в затылок
Ещё осязаемей мне!

И если в метельной дороге
Прерву я движенье вперёд,
Былое не ляжет под ноги,
А в спину меня подтолкнёт.

15.09.2013

По Таманскому полуострову

Солнце лимонное. Степи лиманные.
Марево знойное. Память туманная...
Сине-зелёная,
Жёлто-белёная
Даль.

Взоры влекущая, сердцу отрадная, —
Райскими кущами ширь виноградная -
Заавтострадная,
Затополиная
Близь.

Будто бы зовами — скифскими, тюркскими —
Море Азовское, юность темрюкская...
Полузабытая,
Полувоскресшая
Песнь...

13.09.2013

Казантип

А вы б забыли, вы б забыли
Тот август сочный, берег тот,
Где солнце рдяное в заливе
Чудесным лотосом цветёт?

Где волны в тихом перезвоне,
И даль туманно-голуба...
У моря — нежные ладони,
И йод солёный на губах...

11.09.2013

По Боспору Киммерийскому

«Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый...»
А.Т. Твардовский

На проливе — переправа:
Море слева, море справа.
По рубиновой заре
Между двух плыву морей
Из России — в Украину?..

Порт «Кавказ» мне смотрит в спину;
В сизой дымке — крымский порт;
Слева синь — Эвксинский Понт,
Справа — море Меотида...

На Тавриду, на Тавриду! —
От Тузлуской от косы,
Из нейтральной полосы,
Где в небесном — третьем — море
Чайки ранние в дозоре,
Вольнокрылые, кружат
Над границей двух держав...

Но в Боспоре Киммерийском,
Что на борт сыпает брызги,
Греко-римская волна
Исторически вольна!

Потому так любо пахнет
На пароме-черепаше
Смесь морей и неба взвесь:
Я не гость, я вырос здесь —
Вне границ и вне таможен!..

Сердцем праздничным встревожен,
Между двух родных морей,
Как в Ассоль влюблённый Грей,
С алым парусом восхода
В день плыву по вечным водам...

Август 2013, Керченский пролив, Россия-Крым

Маленькое курортное «происшествие»

«...Ну, а теперь пройдёте в август», —
Сказал июль-экскурсовод.
И под сиреневую арку
Небес безоблачных и жарких,
Сплочённый в вежливую давку,
Курортный двинулся народ.

Мы шли по набережным плитам
Горячим, что сковорода,
А ниже — с дымкою нефрита
Лежала синяя вода
Живого моря, как врата
В наземный рай, для всех открытый...

Но пляжный мир — цветной и звонкий,
Кишащий людом у волны,
Где громоздились топчаны,
Зонты от солнца и шезлонги —
Был перекрыт на все заслонки
С маршрутной нашей стороны.

Тогда, на зависть экскурсантам,
К воде, отваги не тая,
Как из колонны арестантов,
Путём немислимого сальто,
Минуя ограждения,
Рванул один! И был им — я...

1.08.2013

По июлю на велосипеде

Мутная речка, сияя на солнце,
Бежит, бежит,
Доски мосточка под шагом неспешным
Скрипят, скрипят;
Дикая утка торопится в камыши -
Спрятаться с выводком пёстрых смешных утят.

Милые, малые — резво за мамой
Гребут, гребут,
Семь или восемь — глазами за ними
Поспей, поспей!
А на сливовом да яблочном берегу,
Сядь, улыбаясь, на верный велосипед.

Станут ограды станичных усадеб
Лететь, лететь —
Лаковых красок цветную палитру
Лучить, лучить;
Будут на кладбище старом латунь и медь
Светлую память о жизнях былых сочить...

Мимо проедешь, но скорость у входа
Убавь, убавь!
Тишь на погосте да свет над крестами —
И высь, и высь!..
Сколько июлей твоим осязать губам —
Семь или восемь — подсчитывать не берись...

Будет навстречу струиться упруго
Теплынь, теплынь,
Будут лучиться в глазах и на спицах —
Века, века!
Будут, как утица с детками, в небе плыть
Купол церковный и юные облака.

3.07.2013

Краски юга

1.

Не за новой амурной прозою
Я в курортный забрался рай...

Море Чёрное красит розово
Побережья седую рань.
Как вино заря растекается —
Каберне течёт по волнам!
Вам, наверно, придётся каяться,
Кто восхода не выпьет сам.

2.

Не опишешь диковин прозою:
Скудно цвета ей жизнь дала.
Красит солнышко абрикосово
Белокожих людей тела,
Регуширует их каштаново -
От ступней босых до чела —
Желудёво да баклажаново,
Густо-йодово — дочерна!

3.

Пахнет тиной морской и солодом,
Горько-солоно на губах...
Вись лазурная сыплет золотом —
На песках оно, на плечах...
Столько ж красок нам югом роздано —
Им не выцвествь и не избыть!

...Море синее красит розово
Чёрно-белый годичный быт.

29.09.2012

Море. Аполлон и Афродита N...

1.

Море близилось и дышало,
Как астматик, пугая пляж,
И упругие волны шало
Берег брали на abordаж;
Как с мальками они играли,
Ребятишек сбивая с ног.
А вдали, с горизонта края,
Сизо-облачный крался смог...

2.

И спустили на воды выси
Фиолетовый полумрак,
И на дальнем безлюдном мысе
Саблезубо блеснул маяк.
То смотритель — наверно, спяну —
Принял сумрак за ночи весть...
И не дождь, а дождище грянул,
Мегатонный являя вес.

3.

И народ побежал сноровко
Под навесы и козырьки.
И вскипело, как газировка,
Море в колкие пузырьки.
Но остались на пляже двое,
И от вида их дождь серчал,
Ведь они забежали... в море —
Полуголые — хохоча!

4.

...Ах, влюблённые! Что им тучи,
Что им штормы и ливней звон!
Целовались в раю зыбучем
Афродита и Аполлон!
И смотрел я на них, промокший,
И вздыхал, что не ты и я
На виду у людей примолкших
В море прятались от дождя...

28.09.2012, Крым

Она и море

Она, кто статью источала
Дыханье дальнего Днепра,
Не задержалась у причала
Моей постели до утра

В пустой двухкомнатной квартире,
Какую барски я снимал,
Где в лоджиевом карантине
Курорт сводил меня с ума.

Она, с кем с душного полудня
Сбежали мы в лазурный рай,
Порывы все мои и «блудни»
Отринула не невзначай...
Но, грусть не выдавший нисколько,
Не усмирил я сердца стук,
И от касаний наших скользких
В воде — захватывало дух!

...Она плескалась в акварелях
Прогретых волн, полунага...
И на губах её горели
И янтари, и жемчуга.
И я шалел от брызг и капель,
Нектар которых бы испил
С лица славянки этой, кабы
События не торопил.

Её — восторженную чайку -
Ласкало море, а не я!
А я, влюблённый и случайный,
Был в роли ржавого бую,
Обросшего зелёной тиной,
Прибывшегося сиром к ней...
Но — солнце!.. Солнце нам светило,
Хитро подмигивая мне!

И волны пели и качали
Её пленительную плоть,
И все сердечные печали
Мои летели сразу прочь...
И, со стихиями не споря,
Плыл рядом с нею — я, не я...
И пахло женщиной и морем
До головокружения...

27 августа — 5 сентября 2012 г., Кубань

Море. Прибрежье. Лёжа на воде

Я вишу на волнах, распят
Солнечными гвоздями,
Облака в синеве скользят,
Будто на голограмме.
Небеса излучают драйв,
Но атмосфере пресной
Не домыслить, что дан мне рай
Сине-зелёной бездной!

Здесь, где море людьми кишит,
Не заглушая чаек,
Тело бренное — чёлн души —
Мерно волна качает.
Кто-то ищет на глубине
Виды, напялив ласты,
Я ж, дрейфующий на спине,
Как Иисус распластан!..

И как кровь солоня вода -
Жизни земной утроба...
Я распят, но душа — вольна,
Нет для неё озноба.
Невесомой душе моей
Нет никакой обузы,
Сверху чайки кружат над ней,
А по бокам — медузы.

Жить бы так — и не умирать! —
Между землёй и небом,
Прибываясь к былым мирам —
В явь свою или в небыль...
Всеми фибрами сини пить —
Те, где ни войн, ни денег...
Плыть бы так и не выходить
На современный берег!

Но несвойственно цвель душе
В теле, провисшем ватой,
Ведь распятыё познал уже
ОН, до меня распятыё...
Потому сохраняю груз,
В плоть запирая душу,
И, себя кувыркнув на грудь,
Вновь выхожу на сушу...

11-22.08.2012 г. Крым-Кубань



Проза

Игорь Ерофеев

Игорь Васильевич Ерофеев — краевед, поэт, писатель, журналист, рок-музыкант. Член Союза журналистов России, Международного союза журналистов и Союза писателей России. Руководитель городского литературного объединения «Рассвет» и районного историко-краеведческого общества «Седьмая земля». Печатал свои стихи и прозу в местных газетах, журналах, коллективных сборниках. Публиковался в «Антологии калининградского рассказа», журналах «Север», «Мозаика юга». Автор книг лирики: «Устоять» (Калининград, 2009) и «Неба тонкие узоры» (Калининград, 2010). Победитель конкурса «Человек года» в номинации «Мой город — моя судьба» (1999). Лауреат Международного конкурса малой прозы «Добрая Лира» (Санкт-Петербург, 2010). Награждён медалью «За вклад в наследие народов России».

РЫЖИЙ-РЫЖИЙ

Рассказ

Просто кот, по кличке Рыжий-Рыжий, жил при построенной на окраине города районной больнице № 2, рассчитанной на триста коек. Так кота назвала экспедиторша Марина Кулькина, тридцатилетие которой весь коллектив торгово-оптовой базы отмечал на берегу реки около складов. Когда шашлыки первой партии с двумя бутылками водки были исполнены, опоздавшая подруга Кулькиной — Ленуся, поцеловав именинницу, вынула из сумки маленького рыжего котёнка:

— Это тебе, Марин, мой подарок! Смотри, какая прелесть! У него даже глазки как янтарики!.. — пылко говорила Ленуся, держа мяукающее существо в ладонях. — Вам с Лизкой явно кого-то живого в дом надо поселить, а то одичаете совсем... А это — мужик! Красавец! Держи зверя.

Она передала кота подруге и предложила поаплодировавшей компании выпить.

— За животный мир! Чтобы всем людям и котам-собакам жилось вместе уютно! — подняв пластмассовый стаканчик с тёплой водкой, провозгласила Ленуся. — А это к коту в придачу — миска кормушка, фирменная. Сто десять рублей стоит, а кот — бесплатный!

— Ой, какой рыжий-рыжий! — воскликнула юбилярша, пытаясь поцеловать котёнка, который отворачивал мордочку от запаха спиртного.

— Покажи народу своего «Рыжего-Рыжего», — попросил кто-то из гостей, забирая живой подарок.

С новым именем кот пошёл по рукам. Его тискали, гладили, давали поджаренного мяса и рыбу из консервной банки, дёргали за хвост. Когда интерес к животному иссяк в пользу дальнейшего расслабления, котёнка отпустили в траву.

Рыжий-Рыжий провёл в доме у Кулькиной не больше месяца. После того как он несколько раз наделал на сиреневый палас в одном и том же месте, Марина ранним утром вынесла котёнка на улицу. Миновав несколько домов, она вынула Рыжего-Рыжего из-под кофты и оставила его в мокрой от ночного дождя песочнице.

Рыжий-Рыжий пытался было догнать быстро удаляющуюся хозяйку, но попал в поле зрения большой бодрствующей собаки. Спасаться удалось в подвале, где кот просидел в темноте без еды и воды почти два дня.

Голод вынудил его выбраться на свет. Трясаясь от страха, Рыжий-Рыжий притулился к стене под водосточной трубой.

Через некоторое время проходящая мимо женщина остановилась у котёнка, чтобы вынуть ему из домашней сумки копчёной рыбки. Такой еды Рыжий-Рыжий ещё не знал.

— Взяли бы его домой, — посоветовали ей из-за спины. — Говорят, если несчастное животное с улицы пристроишь, один грех с души снимется автоматически. И в церковь идти не надо...

Слова принадлежали дородной тётке с синим пластмассовым тазом в руке.

— Вот и берите сами, раз так беспокоитесь...

— Я и без живности по заповедям действую, — гордо сказала тётка, поправляя очки на переносице.

— Оно и видно...

Женщины разошлись от котёнка в разные стороны с разными мыслями.

Рыжего-Рыжего вскоре забрала домой девочка Вика, проживающая с родителями в многоквартирном доме по улице Чуйкова. Она спрятала кота под куртку, и Рыжий-Рыжий всю дорогу, царапаясь, пытался вылезти через рукав. Дома девочка устроила кота в корзину, в которой Викин папа носил грибы из леса. Лес рос вокруг воинского подразделения, где папа служил капитаном. Каждое утро его отвозила в часть зелёная машина «УАЗ» с рядовым шофёром.

Маме не понравилось, что в доме теперь будет жить котёнок со двора: в квартиру недавно была куплена в кредит дорогая мягкая мебель, которая вполне могла пострадать.

— Пусть он у нас побудет немножко, — попросила девочка Вика. — Ему совсем идти некуда, а у нас вон сколько в комнатах места... Он красивый, только грязный ещё из-за улицы...

— Пусть побудет, — согласилась мама, думая, когда отвезти животное в дачный посёлок. — Возьми коробку и нарви в неё старых газет. Надо, чтобы твой бедолага в одно место научился ходить.

Ходить в коробку Рыжий-Рыжий так и не научился. Не реагировал он и на имя Борька, которое дала ему девочка Вика. На седьмой день папа капитан увёз кота в свою лесную часть, чтобы отдать его буфетчице Зине в солдатскую чайную.

— Забирай, Зина, пополнение в живой силе, — сказал бодрым голосом товарищ капитан. — Торговле он, думаю, не помешает... Смотри, чтобы блох не нахватал, мы их еле вывели, а то солдатам в сапоги напрыгают и военную гигиену нарушат.

— Не напрыгают, — заверила буфетчица Зина, принимая покорного Рыжего-Рыжего как эстафету.

Вика обиделась на маму, которая совсем не расстроилась, что Борьке теперь придётся жить среди военных людей в строгих условиях.

— Мам, Борьке там плохо будет... Он ещё маленький и всего боится, — сожалела девочка, когда семья ужинала перед телевизором. — Котам, как и людям, надо, чтобы их любили и заботились. А кто в армии за Борькой следить будет? Там только уставами интересуются...

— Мы же его, доча, не выгнали, а передали на пищеблок, где он привыкнет и будет расти дальше, — уверенно сказал папа.

— Родители должны любить не только своих детей, но и всех животных, — не соглашалась маленькая Вика. — Если все из домов котов и собак раздадут в казармы, то в семьях начнут ссориться и ругаться...

Маме и папе Вики совсем не хотелось ссориться и ругаться, но Рыжего-Рыжего из части они не вернули...

Раньше Зина работала в солдатской столовой. Денег она получала мало, но всегда была возможность принести чего-то в сумке домой, поэтому семье вроде как хватало, и занимали до получки нечасто. Кроме Зины, в городской квартире мужа жили его престарелая свекровь и сам муж — Виктор Васильевич Маслобойников, работавший термитчиком на заводе. Детей у Маслобойниковых не было по причине раннего Зининогo аборта ещё до встречи с Виктором. После хирургического вмешательства сложное внутреннее женское устройство прекратило работать на рождение, что вызвало длительную депрессию. Как ни странно, свекровь понимала молодую женщину и старалась сохранить её брачный союз со своим сыном.

— Ну, бросишь ты её, — говорила она Виктору, — а другая тоже, может быть, бездетная. Лучше уж Зинка пусть остаётся: к ней уже привыкли...

Зина долго приживалась к своему неполному женскому положению, но в дальнейшем имела от этого даже пользу. Она легко заводила романы на военнoслужашей стороне, предаваясь любовным утехам и совершенно не беспокоясь о последствиях. Мужчинам нравилась безопасная любовь Зины, и они охотно приходили к ней, следуя рекомендациям сослуживцев. Наибольшую активность проявлял прапорщик Скворцов, обладатель густой чёрной волосистой поросли на гру-

ди и спине. Он распоряжался на складе вооружений, считая эту работу одним из самых важных мужских дел.

— Мужик всегда об оружии мечтает, — часто излагал он своё мнение собеседникам. — Когда у тебя в руках пулемёт, а лучше гранатомёт, то ты себя чувствовать начинаешь сильнее. Оружие и на это дело даже действует. Я вот похожу по складу, «ПТУРС» потягаю — у меня всё внутри и снаружи начинает подниматься самопроизвольно... Хоть сейчас в постель с этой железкой к бабе лезь...

Скворцов приходил в чайную к Зине примерно раз в неделю. До выезда в город всех военнослужащих оставался примерно час, чего им вполне хватало. С собой прапорщик обязательно приносил что-нибудь сладкое или какую-то вещь, всегда нужную женщине: колготки, помаду либо лак для волос. Один раз он принёс ей кремный бюстгальтер, который на поверку дома оказался на размер меньше, и Зина сунула его в нижний отсек шкафа, где лежало всё ненужное. Сладости она отдавала соседской школьнице Свете, часто заходившей к Маслобойниковым учиться плести кружева на коклюшках. Зина освоила эти навыки ещё в кулинарном училище. Её изделия раньше даже брали на выставки прикладников. Когда не хватало денег, она плела красивые скатерти и салфетки для продажи на городском рынке.

Одевалась Зина с выдумкой, применяя в гардеробе сплетённые белоснежные воротнички и манжеты. Она подчёркивала свою удачную фигуру тканями. Желанный бюст укрывался кофточками с неизбежно расстёгнутыми верхними пуговичками. Утром Зина не ленилась подкрутить волосы плойкой, чтобы завитков хватало хотя бы до обеда. Когда в чайной намечалось празднование командованием какого-нибудь события, она брала плойку с собой и накручивалась в подсобке, чтобы нравиться офицерам и до позднего вечера. Не лишённое мягкой красоты лицо она пудрила и красила регулярно, считая, что бледность и естественность меньше привлекают мужчин.

Место буфетчицы в солдатской чайной, пристроенной год назад к зданию клуба, ей досталось по ходатайству начальника штаба части, майора Букина, который любил Зину три недели в своём кабинете, пока об этом кто-то не известил жену майора. Букин остался при жене, но обещание выполнил: Зину определили в чайную буфетчицей и на полставки уборщицей, отчего зарплата её стала гораздо выше, чем в столовой. Правда, ей приходилось выезжать в город за продуктами и нередко самой носить лотки и коробки в машину.

Рыжего-Рыжего она назвала просто Рыжий, что было созвучно прежнему имени, и кот откликнулся.

Когда приходил прапорщик Скворцов, от которого заметно пахло оружейным маслом, Зина первым делом выпроваживала Рыжего-Рыжего из подсобки, сгоняя его со старого кожаного продавленного дивана.

— Я не могу так, когда он подглядывает, — говорила буфетчица, вынимая из волос заколки.

— Кто — он? Кот этот рыжий, что ли? — не понимал прапорщик. — Он же беспородный, не ображает ничего...

— Всё он соображает, — не соглашалась Зина. — Коты и кошки тоже умеют любить по-своему...

— Что они могут?! — возмутился Скворцов. — По крышам бегать да котят плодить... Потом в ведро не помещаются, чтобы потопить.

— Всё равно лучше без Рыжего... Мне стыдно как-то...

Прапорщик выходил в носках закрывать дверь чайной изнутри и прикрывал от Рыжего-Рыжего дверь в подсобку.

— Глупая ты женщина у меня, Зина.

— Не нравлюсь — иди к жене, она, похоже, у тебя шибко умная...

— Ну, ладно, не злись. При чём здесь жена? — сдавался Скворцов, снимая камуфлированные штаны. — Я же тебя люблю одну. Ты же знаешь, Зина... Смотри, какую я тебе тушь принёс! Самую модную! Меня соседка в парфюмерном магазине чуть не застукала: что меня сюда занесло, мол? Мало ли что! Может, мне одеколон понадобился...

При чайной Рыжий-Рыжий быстро окреп и перевоплотился в ленивого кота с пушистым хвостом. Мышей он ловил без желания, лишь в том случае, когда они совсем нагтели, промышляя вблизи его диванного лежбища.

— Отрастил усы, как у Будённого, а совсем разленился! — возмущалась зрелая буфетчица. — Мыши по тебе скоро пешком будут ходить...

Рыжий-Рыжий слушал женщину, шурил жёлтые глаза и довольно урчал.

Солдаты kota не обижали и, бывало, подкидывали ему что-нибудь со стола: кусочек ватрушки, колбасу или печенье, которые Рыжий-Рыжий съедал, чтобы кормить не забывали и дальше. Солдаты смеялись: «Во, кот даёт! Даже вафли ест!»

— У нас дома кошка Маня тоже всеядная живёт: огурцы с помидорами трескает за милую душу! — добавил ефрейтор Газетин из Перми. — Людям бы так научиться — кушать всякую хрень с земли. Глядишь, всем на планете еды бы хватало, и от войн бы, наверно, избавились...

Лучшими днями для Рыжего-Рыжего были те, когда офицеры в чайной обмывали свои звания или принимали проверяющее начальство. Жёны командного состава сумками приносили домашнюю пищу. Всё это резалось, подогревалось и раскладывалось по сдвинутым буквой «т» столам. Когда состав изрядно набирался, Рыжему-Рыжему, случалось, со стола сбрасывали по полкурицы или мясную нарезку вместе с тарелкой. Кот старался не мешаться под ногами танцующих и перетаскивал съедобное под диван в подсобке. Весь следующий день он отсыпался, не реагируя ни на какие действия людей и неприятные запахи...

Рыжий-Рыжий заболел ранней весной. Грязный снег ещё лежал по обочинам убранных асфальтовых дорожек части, но солнце всё настойчивее прогревало стылую землю.

Кот исхудал, ему было трудно дышать, из горячего носа, который он тёр лапами, текла мутная жидкость. Рыжий-Рыжий часто чихал и жалобно смотрел на Зину, которая не знала, чем помочь, и давала коту только тёплое молоко, которое он не ел.

— Сказал бы, что у тебя болит, — сокрушалась Зина. — Хуже нет, как смотреть, что животина погибает...

Когда у Рыжего-Рыжего стали слезиться глаза, Зина позвала прапорщика Скворцова.

— Ваня, отвези kota ветеринарам, они в городе на улице Красной работают, — попросила женщина складского работника. — Сердце кровью обливается...

— Что ты носишься с этим котом? Видишь, не жилец он уже! Ветеринарам, кстати, платить надо... На улицу его отправь, пусть сам лечится природной растительностью...

— Нельзя так, — сказал буфетчица Зина. — Сама повезу...

— Ладно, ладно, — согласился Скворцов. — На обеде заберу.

У прапорщика имелся личный автомобиль «Гольф», купленный за небольшие деньги на авторынке. Машина была старой и буквально после каждой поездки требовала профилактического ремонта. Большую часть времени транспорт простаивал на стоянке воинской части, и лишь когда приезжало окружное командование, Скворцов отгонял машину домой под окно: на гараж денег у него не было. Однако сам факт наличия автомобиля придавал ему мужской уверенности и имел для личной жизни такое же значение, как и подотчётный оружейный склад.

Зина завернула Рыжего-Рыжего в старую тельняшку и взяла на руки. Кот уткнулся горячим носом в ладонь буфетчицы и засопел.

— Совсем, Рыжий, ты у меня дошёл... Где-то я тебя не углядела, — оправдывалась женщина. — Что капитану скажу?

Она вынесла Рыжего-Рыжего на улицу, где уже стоял скворцовский «Гольф», и устроила kota в подготовленную прапорщиком хозяйственную сумку на переднем сидении.

— Не гони только, Вань.

— Я никогда не гоню!

Из части «Гольф» выехал на петляющую гравийную дорогу, разбитую военной техникой. Через десяток километров дорога впивалась в широкую трассу, ведущую в город, в котором жила девочка Вика, экспедиторша Кулькина, ветеринары с Красной и множество других людей.

Военнослужащий Скворцов скурил в движении одну нервную сигарету и остановил машину у обочины за перекрёстком. Он обошёл «Гольф», взял с сиденья сумку и вместе с котом бросил её вниз, в кювет, на обнажившиеся от снега жухлые кочки...

* * *

Рыжий-Рыжий отлежался в корнях дерева, в овраге, покрытом молодой травой. Одной из ночей ему удалось поймать крота и съесть его вместе с костями. Это помогло ему продержаться и выжить. Его кошачий насморк, который он получил из-за моющих средств и порошков в хозяйстве буфетчицы Зины, прошёл. Оставалась общая слабость, от которой брошенный спасался свежей порослью.

Окрепнув, он побежал тропинками к городу, стараясь не попадаться людям на глаза. К первому большому окраинному зданию — больнице № 2 — Рыжий-Рыжий вышел к вечеру. На скамейках сидели люди в однотонных халатах и куртках поверх них. От всех неприятно пахло лекарствами и процедурами. Курили в основном молодые девушки и пожилые мужчины, разговаривая на возрастные темы. К входу с лестницей и стеклянной дверью время от времени подъезжали машины «скорой», из которых в приёмный покой доставлялись очередные люди, заболевшие от неправильной работы тела и воздуха города.

Рыжий-Рыжий только начал бояться людей, не зная истинной жестокой природы этих существ, и пока далеко от них не держался. Уходить он отсюда почему-то не хотел: все, кто здесь сидели и прохаживались, были не опасны. Каждый размышлял о степени своего недуга, и грязный худой кот, сидевший на тротуаре, никого не интересовал.

Он остался спать неподалёку от больницы, в подвале какого-то недостроя, на смятых картонных коробках. Под утро на него наткнулась хромая собака. Выскочив из подвала, Рыжий-Рыжий пролез под железными воротами больничного двора и остановился только у большой помойки. В большие железные контейнеры сбрасывали всё лишнее после медицинского обслуживания граждан. Никакого питания кот для себя не нашёл: любая съедобность резко пахла медикаментами.

Рыжий-Рыжий вернулся к центральному входу, где уже шла своя утренняя жизнь. Кот сел возле затоптанной клумбы, обложенной кирпичами, и задремал.

Из сна его отозвал сытный запах еды. Пожилая женщина в светло-серой синтепоновой куртке остановилась около Рыжего-Рыжего, бросив на траву кружок колбасы.

— Ешь, не бойся, — сказала прохожая. — Что ж ты такой страхолюдный? Совсем ухайдокался...

Женщина поставила сумку на землю и поправила платок.

— Да-а-а, тебе, усатому, этого мало, конечно, — вздохнула кормилица, когда Рыжий-Рыжий, облизываясь, с новой надеждой посмотрел на неё. — Ладно, пойдём со мной дежурить в гардероб — что с тобой делать? С завтрака что-нибудь принесу с кухни. Только смотри, чтобы врачам на глаза не попасться: слишком ты неряшливый по больничным полам ходить...

Рыжий-Рыжий не знал ещё толком языка людей, но своим чутьём уловил, что его зовут с собой. Женщина поднялась по лестнице, пропуская носилки, на которых лежал разбитый в кровь пострадавший человек, и через фойе с кафельным полом и стульями направилась в гардеробную. Кот семенил за ней.

— А это ещё что за грязь? — указывая на кота, спросила уборщица Тычкина, только что закончившая протирать пол.

— Что ты, Вера, такое говоришь? Пусть животное немного от улицы отдохнёт.

— Вечно, Яковлевна, ты чудишь, — смягчилась Вера Тычкина. — Там по двору собака хромая костыляет второй день. Может, и её с улицы в приёмный покой определишь?..

— Недобрая ты, Вера. Всё тебе грязным кажется... — вздохнула Яковлевна, пропуская Рыжего-Рыжего в дверь гардеробной.

— Побудешь со мной, только не шастай нигде, — сказала работница больницы, надевая халат. — Голова большая — значит, кот. Звали-то тебя как?.. Ну, что смотришь? Иди, углы нюхай — осваивай место, а я пока укол себе сделаю.

Яковлевна вынула из сумки коробку с одноразовыми шприцами и выложила инструмент на фланелевую тряпочку. Приспустив юбку, гардеробщица протёрла ватой со спиртом место укола и сделала себе инъекцию инсулина в живот.

— О, господи, за что мне такое наказание?..

Она переобулась в тапочки, поправила перед зеркалом волосы и подтянула колготки. Александре Яковлевне Дворниковой было за шестьдесят, но выглядела она моложе своих лет. Глаза оставались

светлыми, без пенсионной покорности. Любовь, достающаяся не всем, помогала ей сохраняться, во всяком случае, внешне. С мужем они вырастили двух сыновей, которые с семьями жили самостоятельно в других домах. Забота о детях не позволила ей получить образование выше школьного, о чём она тайно сожалела, не упрекая супруга, который доучивался в институте в тот период их жизни, когда она поднимала первенца Митю.

Рыжий-Рыжий нашёл себе уют за тумбочкой на циновке. Яковлевна постелила ему сверху старое вафельное полотенце и погладила его лёгкой бесшумной рукой.

— Располагайся здесь, потом мы с тобой поговорим, где ты так поистёрся, — сказала гардеробщица, присев перед котом на корточки. — Почистился бы: весь хвост в репьях и морда, как у трубочиста...

Помещение гардеробной занимали металлические раздвигающиеся штанги с крючками, на которых висели халаты и овальные алюминиевые номерки с неровными цифрами и отверстиями под тесёмку. Кремовые стены до середины были выложены кафелем. У двери была пристроена доска объявлений с призывающим девизом «Прочти, запомни и не опаздывай!» и без единого бумажного сообщения под стеклом. Рядом с зеркалом просветительские функции выполнял информационный стенд медицинской страховой компании. Изображённая на полированной поверхности змея, обвиняющая чашу, значительно превосходила сосуд в размерах и выглядела весьма зловеще со своей хищно раскрытой пастью и раздвоенным языком.

В обязанности Дворниковой входила выдача халатов, которые посетители накидывали на плечи, чтобы пройти в отделение, и приём верхней одежды и ненужных в палатах вещей — зонтов или шляп. При отсутствии посещающих Яковлевна присаживалась за белый медицинский стол с железными ножками, надевала очки и читала покупаемые по дороге на смену пухлые многостраничные газеты с сенсациями.

Кот, положив голову на лапы, наблюдал за действиями людей, выясняя для ориентации сопровождающие их звуки и шорохи. Лица многих из них выражали строгость и сосредоточенность. Только дети, которых взрослые брали с собой, чтобы порадовать своих больных родственников, оставались беспечными и озорными.

Во время обхода, когда посетителей в палаты не пускали, Яковлевна закрыла помещение и сходила на первый этаж — в столовую терапии. Она вернулась с несколькими кусочками жареной рыбы в бумаге и стаканом кипячёного молока.

— На, это тебе от сердечников пайка. От сердца оторвали... — заулыбалась женщина. — Подлечишься здесь, раз уж пришёл добровольно...

Рыжий-Рыжий съел всё предложенное и остался сидеть у пустой пластмассовой чашки, потому что не знал, что делать дальше.

Яковлевна взяла кота на колени, подула на шерсть на шее.

— Блох нет, молодец. А глаза совсем загнили.

Она нагрела спиралью кипятильника воду в стакане с чайным пакетом, смочила клочок ваты и почистила Рыжему-Рыжему глаза. Кот не сопротивлялся: прикосновения сухих чувствительных рук этой женщины ему показались более надёжными, чем даже руки девочки Вики, когда та расчёсывала его шерсть массажной щёткой.

— Ну вот, глаза мы тебе прибрали, так что смотри, как тут всё обустроено... Всему место находится. Видишь, и тебе как бы нашлось... Здесь злобы поменьше: она вся за порогом больничным задерживается — болезнь-то всех равняет... — Александра Яковлевна закашлялась, выдавая очередную халат. — Видишь, мадам эта халат взяла. Вся из себя, интересная! А к кому, спросишь, пришла? То-то! К одному мужику — в хирургию — две женщины ходят! Эта — как раз любовница. И не боится, главное, ничего... Своих родственников она точно по частным клиникам рассовала бы за деньги. А здесь вот как получилось... В нашей-то больнице с непривычки не весь продукт в столовой съешь без осложнений... Ладно, не буду я больше тебя разговорами заговаривать, сначала свыкнись тут со всем... А если в туалет — то на улицу пойдёшь, у нас самообслуживание...

Женщина ещё что-то говорила, но Рыжий-Рыжий её уже не слышал, уткнувшись сонной головой в лапы. Первый раз за последнее время он уснул без опаски.

Яковлевна не знала, способны ли коты видеть сны, но, судя по дёргающимся конечностям рыжего прищельца, движущаяся жизнь не оставила его маленького сознания.

После тихого часа работы у гардеробщицы всегда хватало: посетитель шёл активно, доставляя в палаты пакеты и сумки с интеллигентной едой или разносолами. К вечеру прихожан становилось меньше. Умеренные больные стекались к крыльцу и ближайшим скамейкам, чтобы покурить на свежем воздухе и поговорить о методах лечения их собственных болезней. В это время, правда, приходилось дежурить с повышенной бдительностью: под вечер некоторые оставшиеся без заболевших жён мужчины в приподнятом спиртном настроении пытались проскочить вахту, чтобы преподнести супругам сюрприз в виде своего неосознанного доблестного прихода...

Смена подходила к концу. Дворникова сделала себе второй укол инсулина и засобиралась домой.

— Эй, зверь лежебокий! Поднимайся! Мне пора... — потрепала она Рыжего-Рыжего по голове. — Тебе здесь пока нельзя устраиваться: сменщица моя не особо жалуется на беспорядки и изменения. Так что пойдём на улицу, я гардероб закрываю.

Кот поднялся, выгнув спину, демонстрируя стойкость хвоста, и направился с Яковлевной на выход.

— Не могу я тебя взять с собой, — сказала женщина, когда они вышли на улицу. — Муж у меня большой дома. Придётся тебе ждать мою следующую смену, если хочешь... Вот рыбу доешь...

Рыжий-Рыжий не побежал за Яковлевной: он догадался, что ей надо уйти одной. Съесть рыбу он не успел — большая собака заставила его бежать от больницы в сторону стройки. На улице быстро стемнело. Больница осветилась оконными огнями. Рыжий-Рыжий нашёл себе место, чтобы виден был этот большой яркий дом, от которого уходить ему было нельзя...

* * *

Весь следующий день Рыжий-Рыжий беспризорничал у входа в медицинское учреждение, боясь зайти внутрь. Знакомая фигура с сумкой так и не появилась. Два раза его подкормили: первый раз из окна бросили недоеденный беляш, а ближе к вечеру его одинокое печальное присутствие привлекло внимание водителя «скорой помощи»:

— Чего горюешь, наблюдатель? Лечиться пришёл? — спросил его подошедший шофёр, выкладывая перед Рыжим-Рыжим холодную котлету. — Тебе в кошачью клинику надо, а не сюда... Ладно, бери котлету, жена парила, вкусная...

Рыжий-Рыжий дождался закрытия входной двери в здание. Ночью свет остался гореть только в приёмном покое и у дежурных сестёр на этажах. Кот спустился по лестнице в больничный подвал, где устроился спать на входе, прямо на каменном полу.

Рано утром начался надоедливый дождь, нужный только цветам и травам для пользы роста. Рыжий-Рыжий перебежал с мокрого места в подвале под крыльцо. Яковлевну под зонтом он увидел издали, выскочив к ней навстречу.

— Дождь, рыжий-бесстыжий! — обрадовалась Дворникова. — Я уж думала, не поймёшь, что я через день работаю.

Она погладила кота по мокрой голове.

— Мыть тебя надо, а то совсем заплешивеешь, и еда никакая не поможет. Сегодня я мыться буду в душе. Со мной пойдёшь, я тебя в ванне продезинфицирую...

Кот, путаясь под ногами, бежал за нею в ожидании возможного тепла и спокойствия.

Дежурный день прошёл для обоих с удовлетворением настроения. Кот большую часть времени провёл на войлочной подстилке, которую принесла Яковлевна из дому. Женщина сделала свои лечебные процедуры, рассказала Рыжему-Рыжему о своей сменщице Анне Ивановне Сушко, которая после смерти единственного сына, убившегося на мотоцикле год назад, потеряла интерес к природе жизни.

— Ей всего-то сорок шесть, а она уже старше меня... Я сама, правда, не знаю, что со мной бы случилось без сыночков моих, прости господи! — перекрестилась Дворникова. — Нельзя детей своих переживать... Значит, нагрешила Анна где-то сильно...

Рыжий-Рыжий знал, что женщина говорит что-то важное, от чего и ему, наверное, будет лучше. Он смотрел на неё жёлтыми глазами, чтобы она не заподозрила, что ему неинтересно слушать. Яковлевна три раза за день покормила его домашней едой, отчего кот готов был слушать голос

этого человека и дальше. После тихого часа, освоившись с разными запахами больничного фойе, он дисциплинированно вышел по настоянию Яковлевны на улицу.

Мытьё в ванной ему очень не понравилось. Яковлевна держала кота крепко, намыливая худое тело. Рыжий-Рыжий работал в пустом воздухе тонкими лапами, пытаясь зацепиться когтями за скользкую эмаль. Когда процедура закончилась, кот стряхнул с себя задержавшуюся воду и ушёл вылизываться в коридор.

— Придётся тебя мокрого здесь, в подвале, оставлять, а то простынешь, — решила Дворникова, заботясь о Рыжем-Рыжем. — Всяко крыша есть, лучше, чем на улице... И врачи тебя здесь не увидят, если бродить без толку не будешь...

Она запустила кота в подсобное помещение, где вповалку были складированы старые стулья и столы.

— Здесь тебе и на улицу можно выскочить через слуховое... Давай, чинись и сохни, я ушла...

Рыжий-Рыжий терпеливо дождался в подсобке следующего прихода гардеробщицы, вынырнув к ней после её встречного «кис-кис».

— Ну вот, порядок: и ждать научился, и шерсть распушилась, — сказала Яковлевна трущемуся о ноги коту. — Пойдём наверх, на работу...

* * *

Примерно через месяц Рыжий-Рыжий перешёл на легальное положение и не прятался больше в подвале. Из жалкого приёмыша он вскоре вырос в большого лобастого кота с широкой усатой мордой и «штанами-галифе», как у кавалериста. Шерсть его приобрела абрикосовый оттенок, а пышный, словно беличий, хвост вызывал отдельное восхищение. Кот вольготно прохаживался по первому этажу и имел даже доступ в терапевтическое отделение. В силу своего уживчивого характера рыжий прищелец быстро стал всеобщим любимцем: многим хотелось его погладить или даже взять на руки. Рыжему-Рыжему нравилось внимание людей, к которым можно было относиться снисходительно из-за их многочисленных слабостей. Даже слесарь-пропойца Земцов, известный отрицанием всего мирного, как-то с утреннего похмелья присел к Рыжему-Рыжему и рассказал коту свою обиду:

— А вот меня никто не любит и не любил никогда... Хотя я всё могу сделать — мне только инструмент дай добротный и материал... Все думают, что Земцов — алкаш. Какой я алкаш? Ты же, рыжий, знаешь!.. У меня вообще вредных привычек нету: не пью, когда курю, и не курю, когда выпью...

Основным пристанищем для Рыжего-Рыжего оставалась гардеробная Дворниковой. Когда женщина отсутствовала, коту дозволялось находиться в любом больничном месте.

С лёгкой подачи Яковлевны медперсонал называл кота Мурзиком. Рыжему-Рыжему это несерьёзное имя не нравилось, но, чтобы не обидеть удобных для себя людей, он на него откликался, помня своё первое прозвище. Подкармливающие посетители традиционно звали его Рыжим.

Он не пропускал ни одного дежурства Дворниковой и честно присутствовал в гардеробной до самого вечера. Вёл он себя теперь гораздо свободнее. Когда женщине удавалось почитать прессу, Рыжий-Рыжий располагался на столе, а бывало, залезал Яковлевне и на плечи: с одного плеча свисал хвост, с другого — усатая голова. Большую часть своего времени кот дремал и ел, не забывая между этими важными делами мыть себя лапами и вылизывать шерсть. Оставшиеся часы он посвящал главному здесь человеку — Дворниковой, а когда она уходила домой — всем остальным.

Рыжий-Рыжий успел исследовать всю больницу, кроме операционной и родильного отделения, куда его не пускали. Самым уютным и спокойным местом он определил для себя всё же гардеробную и столовую терапевтического отделения, где его неизменно кормили во время любого прихода на побывку.

Рыжий-Рыжий без труда теперь понимал язык людей, который оказался не таким уж сложным. Он узнавал, чего от него хотят, по интонации, жестам и взгляду: сопровождающие слова имели меньшее значение, чем действия. Зато люди часто не понимали его, несмотря на простоту языка котов.

В свободное для Яковлевны время они ходили по больнице вдвоём — впереди Рыжий-Рыжий с восклицательным хвостом, за ним гардеробщица, семена в домашних тапочках. Зарплату в кассе — в зарешечённой амбразуре — Дворникова получала только в парном сопровождении. Разговаривали

они в основном на общие темы улучшения имеющейся жизни. Кот соглашался с хозяйкой во всём, сопровождая монологи Яковлевны одобрительным помуркиванием.

Корреспондент газеты, получивший задание рассказать о проблемах городской больницы № 2 на триста коек, сфотографировал вальяжного кота как местную достопримечательность, поместив снимок на первую страницу издания с заголовком: «Рыжие коты приносят в дом счастье и достаток, которые медицинскому учреждению должны помочь обрести городские власти». После этой статьи Яковлевну посетил в гардеробной сам главный врач больницы — Тимофей Юрьевич Оболенский, человек строгий и пунктуальный. Он осторожно погладил Рыжего-Рыжего по голове чистой медицинской рукой и спросил:

— Александра Яковлевна, у вашего питомца все прививки сделаны?

— Все, Тимофей Юрьевич, — соврала Дворникова. — Мурзик у нас стерильный, эпидемнадзор мы осуществляем...

— Ну и славненько, следите за своим сыном санчасти — он теперь знаменитость.

Больше главный врач жизнедеятельностью подотчётной гардеробной и котом не интересовался.

Единственным больничным человеком, кто находил в отношениях служащей Дворниковой и рыжего кота ущерб отечественной медицине, был заведующий терапевтическим отделением с распротранённой фамилией Васильев. Он всегда принадлежал плохому настроению, отражавшемуся на его трафаретном лице. В приходящих проблемах Васильев неизменно винил больных, которые, по его мнению, лично способствуют природе своих недугов. Заболевшими он считал всех, кроме медицинского персонала. Окружающий людей животный мир представлялся ему главным источником инфекций и эпидемий. По этой причине Васильев со студенческих пор не употреблял в пищу ничего мясного. Жил он на морепродуктах и соках, настаивая, что только Мировой океан пока ещё остаётся вне человеческого разрушения. Его молодая супруга питалась традиционно и отдельно. Когда она заболела на второй год после свадьбы, Васильев обвинил её в безответственности по отношению к собственному здоровью. В больнице она отказалась съесть принесённую им морскую капусту. Тогда он отказался от жены...

Васильев сразу невзлюбил Рыжего-Рыжего и даже выступил на врачебной коллегии с заявлением о недопустимости присутствия в лечебном учреждении заведомо опасного субъекта в виде кота. Рыжий-Рыжий старался избегать недовольного медика, который, бывало, ругался в его сторону воспалёнными словами. Один раз Васильев даже схватил рыжего кота за загривок и бросил его за дверь больницы мимо курящих мужиков, минут десять потом отмывая руки от возможных микробов, угрожающих здоровью. Понаблюдав из-под скамейки за действиями других направляющихся людей, Рыжий-Рыжий вернулся в гардеробную, где Дворникова уже начала волноваться ввиду его отсутствия.

Несчастье случилось в последнее дежурство Александры Яковлевны накануне Нового года. В больнице отмечалось оживление. Посетителей было больше обычного. В вестибюле стояла небольшая ёлка, украшенная серебряным «дождиком». Дворникова принесла в своё скромное помещение ёлочную ветку с двумя яркими шарами.

— Это, Мурзик, для красоты, чтобы зрение останавливалось на чём-нибудь интересном...

Рыжему-Рыжему понравился запах свежей хвои. Он подцепил лапой лёгкий стеклянный шар, посмотрел на его маятниковое движение и без дальнейшего любопытства спрыгнул со стола. На улице он понаблюдал за падающими снежинками и вернулся в дверь вместе с людьми.

В гардероб к Яковлевне стояла очередь. Рыжий-Рыжий проскочил между ног ожидающих и вновь разлёгся на столе.

— Ну, куда ты, бродяга, влез?! Да ещё с грязными лапами и по газетам...

После этих слов Дворникова охнула, её лицо перекосило какое-то внутреннее напряжение. Она стала оседать набок вместе с чьей-то шубой. Свободной рукой она схватилась за стул и, увлекая его за собой, упала на пол, сильно ударившись головой.

В очереди закричали. На помощь гардеробщице поспешили сразу несколько человек. Побежали за врачом из приёмного покоя. Рыжий-Рыжий, прижав уши, тревожно наблюдал за суетой из своего войлочного угла. Какая-то напوماженная дама пыталась расцепить пальцы гардеробщицы, чтобы освободить шубу:

— Это моя шуба, товарищи, — говорила она всем, оправдываясь. Лицо её покраснело от прикладного усердия. — Я её купила два месяца назад с отпускных... Вы не думайте, это моя вещь...

Её не слушали. Яковлевна не приходила в сознание. Женщину положили на подроспевшие носилки и вместе с лисьей шубой понесли через больничный коридор.

— Инсульт...

— А сколько ей было?

— Почему «было»? С инсультом ещё живут... Это уж как получится...

— Вот так — живёшь-живёшь, суетишься чего-то, а потом бац — и головой об пол...

— Парализует, наверное...

— Наверное...

Обсудив происшедшее, посетители сами стали заходить в открытую дверь гардеробной, вешали свои вещи и брали халаты. Переговаривались между собой почему-то шёпотом. Затем пришла санитарка, собрала все вещи Дворниковой в сумку и унесла с собой.

— Живая твоя хозяйка, — сообщила она коту. — Только не чувствует ничего пока... Ты уж, Мурзик, жди её теперь... Её в третью палату в терапии определили.

Когда больницу закрыли, Рыжий-Рыжий незаметно прошёл в отделение, чтобы улечься под топчан. Он чувствовал слабый запах хозяйки и знал, что его место теперь здесь.

* * *

Пропустили его в палату только на третий день вечером. Всё это время он провёл в терапии с негласного согласия персонала. Питался кот там же, в столовой отделении, прячась от возмущения доктора Васильева. Один раз из палаты вышел человек, заметивший Рыжего-Рыжего между мебелью.

— Ты и есть тот самый Мурзик? — спросил он кота, поднявшегося и выгнувшего спину после долгого прилежания. — Мать уже спрашивала: «Где мой рыжий остался?..» Попросись у сестры, может, пустит...

Он погладил кота по голове.

— Ты уж поддержи её, мужик. Совсем она слабая стала...

Человек встал с корточек, поправил накиннутый на плечи халат и быстро ушёл по коридору.

Молодая медсестра Ирина, у которой дома жил свой сиамский кот, после восьми вечера, когда все врачи разошлись домой, открыла перед Рыжим-Рыжим дверь в палату.

— Иди, только недолго, — сказала Ирина. — Побудь, пока она не спит...

В палате, рассчитанной на две койки, раздражал плохой, тусклый свет, падающий из продолговатого матового стакана под потолком. Кроватям принадлежали синие тумбочки. Посредине помещения стоял высокий стол с накиннутой суконной скатертью. За окном собирались тени отработавшего дня. В прищипленном к белой стене радиоприёмнике велось какое-то приглушённое дикторское вещание.

Кот сразу узнал хозяйку, высоко укрытую одеялом. Он запрыгнул на кровать и осторожно прошёл по неровностям, чтобы лечь Яковлевне повыше живота.

— Мурзик... Пришёл... Тяжёлый... — встретила она его медленным голосом. — Хороший...

Она чуть приподняла голову от подушки и погладила кота бесшумной рукой.

— У тебя веснушки... появились...

Говорила Дворникова трудно, с паузами, сопровождая каждое слово горячим дыханием болезни.

— Мироновна... Спишь? — повернула она голову. — Говорила же — придёт! Вон размурчался... как ручеёк... Разбудишь всех...

На большее её не хватило, женщина замолчала. Она закрыла от света напряжённые глаза, чтобы побыть наедине в темноте жизни. Лицо Яковлевны, казалось, стало пергаментным, нос заострился, добавилось морщин. Рыжий-Рыжий слушал её неровное дыхание, стараясь не двигаться под её покойной рукой...

Спящую идиллию через полчаса нарушила медсестра Ирина.

— Ну, ты разлётся! Раздавишь больную, у неё и так состояние сложное — парез правой стороны. Это тебе не шутки, — шёпотом сказала свои опасения девушка.

Взяв кота под мышку, она вынесла его из палаты и погасила свет лампочки.

— Пусть женщины поспят... Хоть во сне-то у них ничего не болит...

Следующим днём Рыжий-Рыжий прятался от доктора Васильева и два раза покидал больницу, выбегая на январский мороз. В гардеробной на приёме работала уже новая женщина, увлечённая разглядыванием посетителей. Рыжий-Рыжий не вошёл в поле зрения её настроенного внимания.

После обеда, когда начальственная активность спадает и наступает тягучее больничное время, рыжий кот проник в палату вместе с санитаркой, пришедшей протереть мокрой тряпкой линолеум пола и подоконник.

Рыжий-Рыжий лёг на прежнее место поверх одеяла, свернувшись клубком и уткнув нос в свой же пушистый хвост. Поглаживая мягкую шерсть любимца, Дворникова молчала. Что-то говорить ей мешала обширная сосущая тяжесть в давящей груди.

— Яковлевна, может, Мурзика убрать? — спросила санитарка Маша, выкручивая тряпку в ведро. — У тебя и так сердце уработалось, а тут ещё и кот сверху пристроился...

— Нет, Маша... Он-то как раз и утишает... всё внутри... Коты же знают, где лечь, — на самую боль норовят...

— А чего ж он соседку твою не лечит?

— Не знаю, Маша... Как там ... на улице? Холодно?

— Ещё как! Двух вёдер угля еле хватает, чтобы дома протопить!

— Может, спадёт мороз-то...

— Говорят, спадёт с понедельника, — сказала Маша, закрывая за собой дверь. — Ты молчала бы, а то в разговор все силы истратишь, и никакие уколы не помогут.

— Не помогут... — согласилась Дворникова.

Вечером в палату с пакетом мандаринов пришёл сын гардеробщицы Дмитрий с дочкой. Сын работал в городской налоговой инспекции и воспитывал с женой Светланой дочь Катю. Девочка была одета в брючный костюм, носила короткую причёску и смотрела на мир большими интересующимися глазами. Пока отец общался с матерью, Катя успела помочь соседке Мироновне повернуться на бок, полистать два истрёпанных журнала «Юность», кем-то оставленные на столе, и потискать Рыжего-Рыжего, который не совсем был рад притеснениям: недовольно мяукал и даже шипел, когда Катя тянула его за усы.

— С завтрашнего дня моя Светлана за тобой здесь последит: она отпуск взяла за свой счёт. А твоего красавца давай я к нам домой заберу, — предложил сын, собираясь на выход. — Выйдешь с больницы — он рядом, заберёшь потом...

— Выйду ли?.. Пусть уж здесь Мурзик... покараулит... Да и легче мне, когда он греет...

— Ну, ладно. Держись давай...

Он поцеловал мать и вышел за дочкой, сворачивая в карман куртки пустую тряпичную сумку.

Оба выходных дня Рыжий-рыжий провёл в палате с Яковлевной. Невестка Светлана не препятствовала коту, когда тот укладывался к свекрови. Во время процедур Рыжий-рыжий понимающе спрыгивал на пол и ждал под кроватью.

В воскресенье Светлана ушла домой после восьми вечера, поменяв большой бельё. Яковлевна просила заглушить настенное радио и некоторое время после невестки молчала, тяжело, с сипом дыша.

— У меня грех... имеется к твоим... сородичам, Мурзик, — начала говорить Дворникова, когда сестра выключила в палате свет. — Мы в сорок пятом за отцом семьёй поехали... которого в Восточную Пруссию немецкую... партийцы отправили дорогу железную... взорванную делать. Мне всего восемь лет было...

Рыжий-Рыжий слушал женщину, беззвучно мяукая, когда связывающее дыхание мешало ей говорить дальше. Она теребила его за ухом, вспоминая своё послевоенное детство. Из темноты её больной голос звучал механически ровно, почти без интонаций.

— В сорок шестом голод был... страшный. Немцы, что с нами жили... мёрли, как мухи... Мы тоже пухли... К весне всё поели... что можно. Нас же три сестры... было. Настя... младшая... не выжила... Я тогда пацанкой... с мальчишками больше по развалкам ходила... Мишка у нас... заводила был такой... Всё ему нипочём было... Оружия полподвала насобирали с приятелями... Ружей... всяких... из завалов много находили. Мальчишкам интересно... а нам, девочкам... железки эти куда? Френчи находили... военные... А что толку?.. Юбку из них не сошьёшь... Войне цветные материи... ни к чему... Один раз Мишка... собаку бродячую из оружия убил... Мы её на костре... изжарили и съели... А по-

том... кота чёрного... Его мотоциклист сбил... при нас... Мяса у кота почти не было... и воняло оно чем-то... Мы его на черепице немецкой... жарили, как... котлету... Так вот...

Дворникова замолчала. Рыжий-Рыжий сполз лапами с одеяла и чуть было не упал с кровати.

— А потом... Мишка взорвался на бомбе... Прямо возле школы... Ему руку и ногу оторвало... Мы ходили туда... видели... Руку метрах в двадцати... нашли. Её наш учитель-фронтвик... принёс... как палку...

Наутро перед обходом Рыжего-Рыжего всё же выпроводили из палаты № 3, и только после обеда они вместе со Светланой, которая принесла коту колбасы, вновь заступили на дежурство.

К вечеру состояние Яковлевны ухудшилось: она потеряла возможность говорить, критически поднялось давление. Вызвали доктора Васильева, с которым пришёл ещё какой-то врач в очках. Посоветовавшись, медики сделали вывод, что необходимы решительные оперативные действия.

Перед уходом доктор Васильев вытащил Рыжего-Рыжего за лапу из-под кровати, за что был укушен котом до крови. Возмущённый терапевт вынес Рыжего-Рыжего в коридор и сбросил с рук на пол.

— Пошёл вон! Тебя ещё здесь не хватает!

Минут через десять кот вновь сидел у двери палаты.

Усидчивость больничного животного крайне возмутила одевшегося в чёрное пальто с воротником Васильева. Он взял кота на руки и, прижав к груди кожаной папкой с бумагами, направился на выход. Рыжий-Рыжий не вырывался, наблюдая движение зимней улицы. В свете фонарей мягко кружил лёгкий прозрачный снег, укрывая грязные места большого города.

Васильев донёс кота до стоянки такси и постучал в окно первой машины.

— Шеф, отвези кота отсюда, пожалуйста! Куда хочешь! Сто рублей даю, отвези только!

— Я что тебе, котофалк?! Я людей вожу, а не «живые уголки»! Иди, дядя, дальше гуляй! Шапку поправь!..

Несмотря на предлагаемые деньги, во втором и в третьем такси тоже отказали. Тогда доктор Васильев сам сел в транспорт и попросил доставить его в рабочий посёлок, развернувшийся недалеко от города вокруг двух крупных промышленных предприятий.

— Куда такого кота красивого транспортируете? — поинтересовался шофёр, когда такси выехало за город.

— К матери... в дом, — не сразу нашёлся Васильев. — В квартире погром устраивает. По шторам прыгает... Я же целый день на работе... Вот и везу. Жалко ведь...

Они подъехали к центру посёлка — к оживлённой вечерней площади с памятником Ленина, администрацией и большим общим универмагом. Васильев обошёл магазин сзади, удерживая Рыжего-Рыжего, который всё норовил вырваться. Из одного складского помещения доносились голоса. Открыв дверь, он кинул кота в коридор, заставленный деревянными и картонными ящиками...

* * *

Рыжий-Рыжий вернулся в больницу на четвёртый день. Знакомым порогом кот проследовал за людьми в вестибюль и свернул по коридору в терапию. Миновав стол с дежурившей за ним сестрой Ириной, Рыжий-Рыжий протиснулся в чуть приоткрытую дверь третьей палаты.

Кровать Яковлевны была пуста и застелена новым бельём для других. Рыжий-Рыжий запрыгнул на клетчатое больничное одеяло и лёг возле подушки.

— Ну, куда ты, Мурзик, залез?! — растерялась медсестра, зашедшая следом. — С мокрыми лапами, грязный!..

Рыжий-Рыжий не смотрел на что-то говорящую молодую женщину: её безопасный голос он уже слышал. Раскинувшись лапами и хвостом по тёплому одеялу, кот довольно замурлыкал: наконец он вернулся туда, где ему хорошо и где он нужен. Теперь осталось только подождать. Рыжий-Рыжий принялся обстоятельно вылизывать свою запачканную дорогой шерсть: ждать ему предстояло долго...

Проза

Протоиерей Геннадий Рязанцев

Поэт, прозаик. Родился и живет в Липецке. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Член СП России, член Литературного фонда России, член-корреспондент Академии Российской поэзии. Действительный член Петровской Академии наук и искусств. Член МАПП. Автор семи книг стихов, прозы и эссе: «Рождественские загары», «День, ниспосланный Тобой», «Временное и вечное», «Искренно только небо», «Становящийся смысл», «Невидимое присутствие», «Трудности перевода». Лауреат Литературной премии имени Евгения Замятина 2011 года. С 2010 года печатается в ежегодном Альманахе Академии Российской поэзии и в сборниках «МАПП», «Зеркало жизни» (проза) и «Планета поэтов» (поэзия). В 2015 году опубликована подборка стихотворений в литературно-художественном журнале «Поэзия 21 век от Рождества Христова». Протоиерей, настоятель храма Архистратига Михаила в городе Липецке.

Солнечный город

Повесть

Эта повесть посвящается моему отцу, Седогину Николаю Яковлевичу, он является её главным героем, а также той неторопливой жизни русской деревни, которая уходит безвозвратно в прошлое. Уходит самобытный уклад, основанный на крестьянском труде в общении с природой, уходит живой, образный русский язык простых деревенских людей. Эта жизнь была некогда колыбелью для многих поколений, выросших и воспитанных духом соборности, единством перед лицом трудной жизни и трагических событий двадцатого столетия.

Снега были большие в средней полосе России в пору моего детства. «Много снега — много урожая», — говорили взрослые, а нам — ребятишкам — раздолье: налаживали санки, самодельные лыжи и катались прямо с крыш изб, ставших настоящими горами за одну ночь; прыгали с брёвен обескровленного амбара и тонули в снегу по самую грудь, теряя галошу, а кто и весь валенок. За это сильно попадало от отца с матерью, ибо тёплые вещи береглись особо и передавались потом меньшим братьям и сестрам, а затем ближней и дальней родне...

В избе едва брезжит свет, дышится сухо и прохладно, печь ещё не разогрелась. Отец с кем-то громко переговаривается на дворе. Я вскакиваю и как ястреб слетаю с печи.

— Ты чего, Коля, как угорелый? — спрашивает мать, выглядывая из чулана.

— А что отец делает?

— Снегу за ночь намело, вот отец с Серафимом Прокопычем откапывают дверь на улицу. Теперь все машины встанут, харчей из района не жди, и керосин на исходе. Ох, Господи...

Я тороплюсь одеваться.

— Куда это? — настороженно спрашивает мать.

— Пойду откапывать дверь.

— Да ты в снегу утонешь. Спи, пока твёрдая дорога будет, вон глянь, как Сашка и Аннушка.

— Не хочу, они маленькие, — отвечаю я.

— А ты большой! А не хочешь спать, пей молоко, оно пока коровье тепло держит.

Мать выносит из чулана корчажку и наливает молоко в кружку.

— Я ещё не заработал, — говорю я, как отец.

— Ну-ка, пей, сейчас, а то отцу доложу, что не слушаешься.

Я беру в руки тёплую от молока кружку и пью...

От двери к уличной стёжке ведёт ровный коридор метра в четыре длиной. Отец лопатой ровняет его снежные стены. Он в овчинной чёрной шубе, в овчинной шапке с отогнутыми вниз ушами, тёмным лицом, только глаза и зубы светятся.

— Помогать пришёл? — улыбается он мне.

Откопав свою избу, мы идём по хутору. Отец и Серафим Прокопьевич черенком лопаты стучат в стенку бабке Бирючихе.

— Ты нынче не задохнулась ещё?

— Живая. Отройте меня, я вам поднесу, — кричит чуть слышно бабка Бирючиха.

Они отрывают снег, а Серафим Прокопьевич нарочно громко кричит:

— Пойдём за попом, Яков, она померла!

— Живая, анчихрист, живая я! — шумит из избы бабка Бирючиха и стучит в окно, а я бегаю вокруг отца, валяюсь в снегу и кричу, что взбредёт в голову...

Потом отец берёт длинный шест, и мы идём искать колодец. Я неотступно следую за ним, ныряя в его следы и цепляясь за его шубу...

Наступают рождественские морозы. По ночам тишина, на дорогах помёт лошадиный стреляет, лёд на озере Духовом промерзает в метр толщиной. А днём проглянет солнце, согреет воздух, снег помягчает — вот в это самое время рыба сгорается, как говорят мужики. Рождественские загары — это настоящий праздник на озере Духовом...

Рыба мается под толщей льда, бьётся, ищет отдушину, чтобы глотнуть воздуха для продолжения жизни. А перепад от мороза к теплу — первейшее знамение; собираются все мужики хутора и три дня идёт подготовка к ловле рыбы, томят её, ждут момента... Работа идёт жаркая: разгребают снег, долбят лунки, делают кадушки изо льда — такие же лунки, только не до воды, пробивают жёлоб от лунки до кадушки метра в два длиной и... приходит особо приметная ночь (а ловят всегда ночью) для самого главного праздника...

Вечером заходит к нам Серафим Прокопьевич. Он длинен, костист и сухошав как колодезный журавль — против своей жены, толстой и необхватной как сруб колодца. Он появляется из белого клуба морозного воздуха, нагнувшись, переступает порог, чтобы не ушибиться о притолоку, снимает шапку и весело говорит отцу:

— Ну, что, готов принять дар, Яков Михайлович? Нынча на Духовом рыба пойдёт...

— Оскудели зело, ей и спасемся, — отвечает так же весело отец, — царь забудет, а Бог помнит.

Я сижу на сундуке, гляжу на отца, а сердце моё замирает. Очень мне хочется не отставать от него. Он надевает ватные штаны, шубу, берёт топор, лопату, подсак и говорит:

— Присядем, опомнимся.

Серафим Прокопьевич садится на лавку, широко расставив длинные ноги в обвислых толстых штанах, мать рядом со мной на сундук, а отец на скамеечку у печи под Сашкой, который выглядывает из-за занавески. Аннушка давно спит.

— Ну, пойдём, — говорит отец, вставая, крепко нахлобучивает шапку и завязывает её уши под подбородком.

— Пап, возьми и меня с собой, — в волнении вымаливаю я. Мать только руками всплеснула, а отец говорит:

— Куда тебе, сынок, ты ещё мал да худ, тебя мороз проберёт, и ты вместо рыбы на льду околеешь.

— Во мне сердце бьётся и кровь горит, возьми!

Отец видит, что я решительно говорю, и глядит на Серафима Прокопьевича, потом на мать.

— Ну, ладно, поглядим. Одевайся потолще, чтобы жар не уходил.

Слово отца было твёрдое. Мать никогда не перечила ему. Я быстро одеваюсь в её валенки с галошами, пальтишко у меня длинное, до пяток достаёт. Натягиваю старую отцову шапку овчинную, мать подаёт мне свои варежки, и я стою. Отец оглядывает меня и задумчиво молчит.

— Та-а-ак...

На стене, на гвоздике, висело длинное, с вышивкой петухами, полотенце. Он снял его, перепоясал меня два раза кругом и узлом на боку завязал, а сам приговаривает:

— Вот так-то оно будет лучше, чтоб ветер не остудил грудь.

Поглядели они на меня с Серафимом Прокопьевичем и рассмеялись. Мать тоже смеётся от души.

— Ну, Хвилипок, ну как есть Хвилипок...

Выходим на улицу. Воздух сухой, морозный, чистый, тишина кругом, скрип шагов далеко слыш-

но. Луна в небе сияет, и светло от неё, как от лампы — далеко видно; чернеют дома, плетни, фигуры людей. Идём друг за дружкой, я позади, за отцом. Мороз за щёки щиплет, ветер в спину подталкивает. Дошли до озера. Отец место давно приглядел. Рыба косяками ходит. Если попадёшь на стаю, значит, улов будет хороший. Народу на озере полно. То там, то тут костры горят на снегу. Рыбалка уже началась. Мужики разгорячённые движутся, с места на место переходят; у расторопных не одна, а две ловушки, а то и три...

Отец принялся за дело, а я все ловушки обежал и отцу докладываю:

— У Степана Журкина более всех рыбы, во какие на льду лежат! — показываю я руками. Отец меня утешает.

— Потерпи, Коля, сейчас и мы с тобой на уху поймаем. Рядом у костра смех. Мужики толпятся, руки над огнём греют, а Ваня Кысок к костру спиной стоит, шубу на отлёте держит, а зад над огнём отключил — штаны сушит.

— Кысок вместо щуки в лунку попал, — смеются мужики, — во как наподогревался!

— Ты дюжа-то не старайся, а то вкрутую сварить!..

Все дружно хохочут, и меня смех разбирает, хоть я и не понимаю ничего. Смеюсь вместе со всеми, а сам бегу назад, ибо не терпится поглядеть, как отец первую рыбу поймает. Прибегаю, смотрю, а на льду уже несколько шучат лежат. Отец подсак заводит, ещё поджидает. Щука вперёд рванулась — и напрямик в кадушку с тёмной ледяной водой! Отец в кадушку подсак — и рывком щуку вместе с кашей льда на снег выбрасывает. Она изгибается, переворачивается.

— Это твоя, Коля, хорошая, — весело говорит отец. А по жёлобу другая тёмную спину сгибает и от стенки к стенке мечется. Подбегает тут Серафим Прокопьевич, увидел рыбу на снегу и кричит:

— Ого! А у меня один шурёнок влетел и всё, пойду в другое место.

— Руби рядом! Тут, видать, у них собрание, — кричит ему отец, — я тебе сейчас помогу. Коля, держи-ка подсак, привыкай к ремеслу.

У меня дыхание захватило. Взял я подсак, а он тяжёлый, обледенел, держу, жду рыбину. Юркнула одна, в кадку нырнула. Я подсак завёл, да не проверну и вынуть боюсь. Меня робость взяла, стою у кадки.

— Ты чего, перемёрз, Коля? — кричит отец.

— Щука большая, я с ней не совладаю!

Отец топор бросает и ко мне бежит. Щука на дно идёт, думает на глубинку удрать, но только носом об лёд бьётся. Отец подсак оббил, щуку поддел — и на лёд...

Потом и у Серафима Прокопьевича рыбалка пошла. Отец поглядит на меня, руки пощупает:

— Не замёрз, Коля?

— Нет, — отвечаю, — не замёрз. Некогда мёрзнуть.

— Обожди, сынок, мы сейчас костерок разожжём...

Тут рыба утихомирилась, роздых дала. Отец с Серафимом Прокопьевичем костёр развели, меня тузить по очереди стали для согрева и над костром велели руки держать, а сами оковеневшую рыбу по мешкам раскладывать. Мне не стоится на месте, я догадался ледок разбивать: жёлоб морозец схватывает.

— Молодец у тебя Колька, в жизнь с соображением идёт, — говорит отцу Серафим Прокопьевич, а я сильнее стараюсь.

Улов оказался хороший. Целый мешок рыбы отец домой на горбушке принёс...

II

Тот год оказался для меня самым большим и длинным. Весной отец собрался в город. Его сманил кум Иван, живший в Липецке с голодного сорок девятого. Отец решил устроиться, поработать на заводе, приглядеть жильё, а потом вернуться за нами...

Я повзрослел и остался дома за отца. Уехал он утром, когда мы с Сашкой и Аннушкой спали. Меня это событие сильно огорчило, и чувство оставленности, одиночества и обиды продолжалось долгое время. Чувство это вскоре оправдало себя... Всё у нас изменилось после отъезда отца. Потом, вспоминая время своего радостного и горького детства, я невольно разделял его этим важным событием и говорил:

— Это было до отъезда отца, а это после его отъезда...

Я стал хозяином. Мы с матерью вскапывали огород, чтобы земля дышала, разбрасывали навоз, который носили в вёдрах со двора; перебирали оставшуюся с зимы картошку, почуявшую весну и начавшую расти, отдавая соки впустую. Потом сажали её в землю, пропальвали, вырубая просянику, лебеду, повилику. Потом собирали сорняк в вязанки, наваливали на головы и несли на посушку на гумно, чтобы ничего не пропало, а обращалось в добро...

Я работал и думал о будущем. Оно не казалось мне беззаботным, как раньше, когда дома был отец, и я не хотел обманывать себя — это лето не будет праздничным и радостным... Зато потом, думал я, жизнь в городе будет одним сплошным праздником с белым хлебом и калачами...

За Сашкой и особенно за Аннушкой, которая была совсем маленькой, нужен был мой догляд. На работу в колхоз мать уходила чуть свет. Утром ели пышки с молоком. До обеда я из тряпочек делал Аннушке кукол, строгал палочки, чтобы она тешилась и не плакала. А Сашке из репьев лепил машины. В полдень мать прибежала домой, кормила нас горячей картошкой и укладывала Аннушку спать, потом снова убегала и приходила, когда солнышко закатывалось за Падовский лес. А вечером вчетвером мы ждали отца и мечтали про город.

— А что там, в городе? — спрашивал я мать.

— В городе электричество, — говорила она, качая Аннушку на руках, — а сейчас от электричества вся жизнь идёт. У нас свет от локомотива исходит, и его хватает только для сельсовета и четырёх ближних домов, а в городе в каждом доме свет и тепло от электричества.

— А откуда же столько его возьмётся? — удивляясь, спрашивал я.

— Это, наверное, свет от солнца. Его днём набирают, а ночью раздают, — говорила мать, зевая и укладывая Аннушку...

Я представлял сияющий и тёплый город, светящийся во мраке, как на небе солнце...

Сашка забирался на печь, касался подушки и засыпал. А я изо всех сил старался не спать. Мать, прибираясь, ходила по избе, что-то шептала, потом, наконец, задула лампу и легла на кровать рядом с Аннушкой и сразу затихла. Это она уснула от усталости. Я, крадучись, чтобы не разбудить ни её, ни Сашку, сполз с печи и пошёл в сенцы. Дверь заскрипела. Из сеней вышел в дверь на улицу, на крыльцо. У дома Дуни Воробьихи опять играют на балалайках, она очень любит их слушать. Белеют в темноте под густой берёзой платья девок. Они запевают частушки и выплясывают. Я сел в угол крыльца на дубовую лавку и замер. Они и не догадываются, что я их всех знаю по именам и по-уличному, и какой парень с какой девкой залётится. А от балалаечника Васи Кота, как увижу его на улице, не могу глаза отвести: нос прямой, глаза тёмные, на всех сверху глядит, белая рубаха, серый шевиотовый костюм и брюки навывпуск, на сапоги, как у цыгана.

Говорят, я боевая,

Я, конечно, атаман,

На горячий камень встану,

А залётку не отдам.

Это Васькина Ленка Пшипшиха заплясала перед ним. А он ей отвечает. Я его не вижу, а страсть как охота посмотреть, но девки всё время вертятся, заслоняют его.

А я милую свою

Узнаю по платию.

На ней бела платия,

Вот моя симпатия.

Ленка радуется и поёт под Аньку кривую:

Ой, подружка моя,

Давай садики садить,

Чтобы нашим ухажерам

Было весело ходить.

А у кривой Аньки нет ухажера. Она дюже костлявая, а парни таких не любят. Она поёт, что «не будет их садить», потому что «к ней некому ходить». Все смеются, а мне её жалко. Сейчас все девки с парнями пойдут, а она одна останется.

Вася перестаёт играть; разговаривают. Сейчас будут расходиться. Я лезу под лавку. Мимо нашей избы пойдёт Анька Кривая. Потянулась «медленная страдания», я её больше «матани» люблю. Она

грустная, она разводит девок с парнями в разные концы, а мне страсть охота поглядеть, куда она их разводит...

Не гляди в окно,
Се-да-я,
Твоя дочь со мной
Стра-да-я...
Ай-я-я-я-йя...

Все задавленно смеются. Это Васька проходит мимо Ленкиной хаты. Я выбрался из-под лавки, потому что Анька прошла, шмыгая по песку ногами, и услышал, как отворилась дверь в сенцы.

— Колька-а-а, — это мать позвала меня встревоженным голосом, — ты где есть?

— Тут я.

— Да ты чего здесь делаешь? — она вышла в белой простой рубахе, босиком, — час глубокий, а ты сидишь.

— Мам, это я так для себя на двор вышел, — неуверенно начал было я.

— Ох, да я думала, ты куда в ночь убежал. А ну, заходи! Вчера в эту пору на двор, сегодня тоже. Надо про город думать и к немцу внутри привыкать, а ты тут сердце привязываешь, лезь на печь.

Я забрался на печь и долго не мог заснуть от непонятого волнения...

На другой день мы с Сашкой были в сарае. Он держал доску, а я пилил. Пила лучковая, отец ею работает. Она великовата для нашего дела.

— Кольк, а балалайка должна быть пузатая?

— А мы сделаем плоскую. Пусть она будет не фабричная, лишь бы играла, — ответил я, а сам подумал: эх, папка бы догадался да купил и привёз новенькую, фабричную балалайку, а ботинки мне не нужны, босиком похожу.

— Пстой, — сказал я Сашке, — погляжу, где Аннушка, да не идёт ли мать.

Аннушка возилась в земле на огороде, а мать не пришла ещё. Наконец, балалайка из доски была готова. Я весь взмок от работы.

— Дай подержать немного, — попросил Сашка, вертя головой. Я протянул ему балалайку, а сам поглядел со стороны. Нижний край неровный вышел.

— А почему она не играет? — помолчав, спросил Сашка.

— Да надо же к ней струны, колки приделать, хотя бы деревянные, кобылку тоже, — пояснил я.

— Кобылку мы давай украдём, — запальчиво предложил Сашка.

— У кого?

— У деда Максима, у него их в конюшне полно.

— Ничего ты не понимаешь, сэр, — так говорит Васька Кот, — кобылка — это такая деревянная подставка под струны, понял?

— Понял...

Потом мы искали в сундуке, густо пахнущем нафталином, нитки и прикладывали их на место струн, но они рвались.

— Эх, настоящих бы, железных струн добыть, — с сожалением сказал я и вздохнул. Мы спрятали балалайку в сено, чтобы не видела мать...

Не заметили, как быстро пролетело время. Вдруг раздался глухой гул грома, потянул свежий ветер, и мы увидели, как тёмная туча надвигается со стороны Падов в нашу сторону. Ветер усилился, померкли и закачались верхушки яблонь и кустов смородины. Туча разрослась, медленно закрыла солнце, кругом стало темно, только где-то вдаль пробивались косые лучи и освещали поле, затем совсем заволокло небо серой пеленой, нарастал шум дождя... То в одной стороне, то в другой за сверкали молнии, гул грома прорывался всё с большей силой, и мы почувствовали, как тяжёлые крупные капли дождя падают нам на лица и руки...

Я вспомнил про Аннушку, про наседку с цыплятами и побежал с криком:

— Цыпа, цыпа, цыпа...

Рябая наша наседка заквохтала, зазывая своих цыплят. Они замелькали по земле меж подсолнухов и шубой вбежали за ней на погребец, дверь которого я открыл для них. Я везде искал Аннушку, а капли дождя всё гуще падали с неба. Сашка бегал за мной и только мешался. Наконец, я увидел сестру: она спала в картофельной борозде, что с ней часто случалось.

— Аня, Аннушка, — будил я её, — бежим домой, а то гром нас убьёт, и мы в город не уедем.

Она села, ручками протёрла глаза, и всё лицо вымазала грязью. Я схватил её за руку, и мы побежали в избу, толкаясь, переступили порог сеней, закрыли дверь, как вдруг раздался резкий, оглушительный раскат грома. Мы присели, а Аннушка затряслась и заплакала. Мы выдержали мгновение и забежали в дом. И тут по стёклам с шумом ветра, как из ведра, хлынул дождик — в это время вбежала вся мокрая мать; волосы тёмными прядями висели вдоль её лица.

— Ох, насилу перебежала хутор, — сказала она, увидав нас всех вместе, — Коля, наседку с цыплятами загнал?

— На погребце сидят.

— Не заблудил ли какой, ты не считал?

Хоть я счёт ещё не знал, но мать меня по цыплятам до двадцати научила.

— Нет, не успел.

Мать переделалась, собрала на стол, и мы сели обедать, чтобы благополучно дожить до вечера. Раскаты грома удалялись, тучи уходили на сторону, становилось тише и светлее, потом снова за светило солнце, дохнуло свежестью и теплом...

На другое утро я сквозь сон услышал знакомый голос.

— Эй, бабы! Тряпки, лохмотья собираем. Всё что в г....., несите ко мне.

Это Костя-лохмотник из Усмани от потребкооперации. Я вскочил и начал искать в избе тряпки, но попадалась одна мелочь, за которую ничего не выменяешь. А голос Кости уже удалялся от хаты. Я приподнял тяжёлую крышку сундука, схватил большую материну шаль, Сашкино пальтишко и побежал догонять гарбу лохмотника.

— Дядя Костя, — закричал я, — струны для балалайки есть?

Костя, отклоняясь назад, натянул вожжи, его кожаная куртка распахнулась.

— Тпру-у-у, — кричит он и поворачивает своё загорелое и обветренное лицо, улыбается, сверкая золотыми зубами, прищуривает тёмные масляные глазки и, толкнув кнутовищем козырёк картуза вверх, говорит:

— Есть струны. А что там у тебя, мальчик?

Я подал ему цветную материну шаль с кистями и старенькое Сашкино пальтишко. Костя вытянул тонкие губы и рассмотрел вещи, потом, озираясь по сторонам, снисходительно сказал:

— Ну что же, вот тебе катушка струн, — и он протянул мне настоящие фабричные струны, а вещи под самый воз, под тряпки спрятал. Я, не чуя земли под собой, побежал домой.

— Сашка, струны для балалайки есть, — закричал я, влетая в избу.

— А где ты их взял? — Сашка сидел на печи и тёр глаза.

— На тряпки у Кости-лохмотника выменял.

Я поддел ножом конец струны и освободил его из деревянной прорези. Он выскочил, струны, как пружина, размотались и рассыпались по полу. И тут вошла мать с платком в руке и увидела, что мы с Сашкой возимся на полу. Она ахнула.

— Где взяли?

— Это он променял за тряпки, — Сашка тыкнул в меня пальцем. Мать взяла меня за руку, а я сжался — ни жив, ни мёртв.

— Говори, чего отдал? — она испытующе поглядела на меня. Слезы побежали из моих глаз, и я сквозь зубы выговорил:

— Шаль и пальто Сашкино.

— Ах, окаянный тебя возьми! А ну, собирай струны скорей!

Она сама стала на колени и начала собирать и наматывать струны на катушку. Потом повязала платок и вышла из дома. Костя-лохмотник стоял на другом планте. Мать побежала через гумно, а я за ней.

Около гарбы толпились бабы и ребяташки. Мать растолкала толпу и обратилась к Косте.

— Здравствуй Костя, — сказала она, переводя дух, — разве можно так делать, как ты делаешь? Ты что же мальчонку моего обманул, забрал новую шаль, да еще пальтишко на пристяжку за катушку струн.

— Ничего не знаю, — буркнул Костя, не глядя на мать.

— А ну, забирай свои струны, крохобор, — гневно закричала мать, — и отдавай мои вещи!
— Я не видал твоих вещей, — отмахнулся Костя.
— Не видал, сейчас увидишь, — с недоброй решимостью проговорила мать, схватила тряпки с гарбы и начала разбрасывать их по дороге. У меня замерло сердце. Бабы кругом захохотали. Костя стал с облучка, и одурело завизжал:
— Что ты делаешь, дьявол-баба, сейчас отдам твою шаль!
— Давай, а то всё добро твоё по дороге разбросаю, — успокоенно сказала мать.
Костя нагнулся, повозился на дне гарбы и бросил матери шаль и пальтишко.
— Возьми струны-то, — протянула ему мать. Я чуть не плакал, не видать мне струн, как своих ушей.

А Костя злорадно произнёс осипшим голосом:
— А-а-а... возьми ты их себе окаянная душа!
— Не хочешь — на, Коля, — и мать отдала мне спутанную струнами катушку.
Я в тайной радости шёл за матерью следом...
Сашка встретил нас на крыльце. В руках он держал балалайку.
— Вот оно что! — понимающе сказала мать и взяла балалайку в руки. — Да она же играть у вас не будет.

Я схватил мать за юбку.
— Мам, купи мне фабричную, как у Васи Кота!
Она ласково поглядела на меня.
— Колюшка, да на что же я куплю? Ты видишь, какие мы разутые и раздетые. Вот отец приедет, заберёт нас в город и там тебе купит...

Я гляжу, а по плану в обратный путь едет Костя-лохмотник. Его тряпичный воз заметно вырос. Из дома вышел сосед Кузьма Гоголев и пошёл широким шагом навстречу подводе. Он среднего роста, кудрявый и большеголовый, с отёкшими на скулы щеками.

— Костя, кота возьмёшь? — закричал он издалека.
— Чего ты на него рассерчал? — по-свойски спросил Костя.
— Да вот цыплака сожрал, молоденский. А теперь расчихал, всех перетаскает...
— Да ну, неси, — Костя натянул вожжи и остановился против хаты, — тпру-у-у...

Кузьма зашёл в хату и вынес большого серого кота. Он сильно прижался к груди и, озираясь, мяукнул громко, утробно. Костя возился в телеге, чего-то искал. Кот вдруг испуганно начал вырываться, но Кузьма потуже прижал его своими огромными ручищами. Костя достал оселок и деловито закричал:

— А ну, держи его крепче! — он ловко накинул оселок на шею кота, — бросай, готова-а-а...
Кот повис на руке у Кости. Он привязал оселок с другой стороны гарбы за облучок. Кот упёрся передними лапами в планку, глаза его закатились, он очумело орал... На что Костя смотрел с безразличием. Привязав насмерть бедного кота, Костя сверкнул зубами, сказал «до свидания» и закричал победно:

— Ну, милая-я, поехали-и!..
Лошадь повернула шею и тронулась с места.
Гад, живодёр, зло подумал я и плюнул под ноги. На крыльце появился Сашка с нашим котом в руках.
— Уехал лохмотник? — испуганно спросил он. — Ох, а я страсть боялся, что он нашего Ваську заберёт...

III

Однажды, когда мы легли спать и Сашка сопел рядом со мной на печи, в окно кто-то постучал. Мать встала, зажгла лампу, открыла дверь в сенцы и сказала, чтобы узнать человека:

— Кто тут ночью в люди ходит? — и вдруг выскочила за дверь. Это был отец...
Скоро они вошли в избу. Я тайком выглядывал с печи, а слезать боялся. Отец поглядел на спящую Аннушку, пощупал её — цела ли она. Потом подошёл к печи, откинул занавеску, и я скорее зажмурил глаза.

— Умаялись что-то, спят, — сказал он и отошёл к столу, — тут гостинцы; крупы, мука, белый

хлеб для ребятешек и арбузы. Ты их, Настя, в погреб отнеси, пускай в них холод войдёт, а то они забродят внутри.

Мать сидела на лавке и молча глядела на отца. Она его дождалась и на минуту ослабила жилы. Он был какой-то большой, тёмный...

Потом они вышли на крыльцо и долго разговаривали; мать часто, по-своему, тоненько и озорно смеялась, как она всегда смеялась с отцом. Потом они легли спать и всё шептались.

— Не то правду ты говоришь, не то нет, — мечтательно говорила мать, — что-то не верится... А как же мы всё бросим, — возвысила она голос, — и дом, и корову, и землю нашу... Где же мы молоко возьмём, где картошку?... Ой, страшно мне, Яша...

— Как сестра твоя Верка живёт, так и мы будем жить, — сказал отец. — Городские как живут, а их вон сколько против нас дураков...

Потом мать рассказывала, как мы жили без него одни; рассказывала про меня, про Сашку и Аннушку и я не заметил, как заснул...

Утром мы ели белые булки с молоком и глядели на отца; он сидел на лавке и держал на руках Аннушку.

— Пап, — робко спросил я, — а скоро мы переедем в город?

— Скоро, — улыбнулся он, — в городскую школу разума набираться пойдёшь.

Мать глубоко вздохнула...

Потом к нам зашёл Серафим Прокопьевич.

— Ну что, блудный сын, возвратился? — спросил он, переступая порог и снимая фуражку.

Отец поднялся ему навстречу.

— Возвратился, да не совсем, — ответил он. Они обнялись и сели за стол.

— Давай-ка, мать, ребятам сюрприз, да городскую на стол поставь.

Мать побежала и принесла то, что отец назвал сюрпризом.

— Ого, какие тыквы! — невольно произнёс я.

— Не тыквы, сынок, а арбузы, — сказал отец, взял один, большой, полосатый, покрутил его в руках, постучал, взял нож и стал резать. Я глядел во все глаза. Толстая кожура хрустела, и на столе выстраивались в ряд розово-красные арбузные ломти, похожие на вечернее солнышко, опускающееся в Падовский лес.

— Ну-ка, ребята, подходи, — скомандовал отец. Мы взяли по ломтю и начали есть сахарную, тающую во рту мягкость.

— Очень хороши при этом деле, — сказал отец и поднял стакан.

— Это что ж, по-городскому что ли? — спросил Серафим Прокопьевич

— Точно, — ответил отец.

— Ну, давай, по-твоему, — Серафим Прокопьевич тоже поднял стакан, а потом спросил, внимательно глядя на отца:

— Ну, что скажешь?

— Что скажу-то, — отозвался отец и как-то сурово задумался, — я теперь, брат, царь...

— Это почему? — Серафим Прокопьевич недоумённо поглядел на мать.

— А потому, что я стал рабочий человек! Для него, брат, правда открыта на земле, а остальные пока во тьме ходят...

— Это как же так?

— А вот как: ты погляди, какая премудрость, — рассуждал отец. — Я пошёл на завод, так? Восемь часов отбыл — и дома. Садись, слушай диковину — радиоприёмник. Один день отдыхай в неделю, что хочешь делай. Два раза в месяц приходи, деньги получи. В магазин пошёл — всё есть: и что покушать, и во что одеться. Вот, брат, светлая жизнь!

— А мы, выходит, тут во тьме?

— Во тьме. И я во тьме был, работал за так и ничего не видел, и дети мои тёмные выросли бы... Сейчас вся жизнь для рабочего и вся правда для него — вот к какому корню надо прививаться. Поедем и ты, Серафим, а то мне тебя будет жалко там, в городе; жизнь пройдёт, а ты так и проходишь во тьме...

Серафим Прокопьевич нахмурился. Мы молчали и слушали отца. Он слегка покраснел от напряжения мысли...

— Сейчас, брат, крепко коллективный человеческий разум заработал. Вот ты думаешь, что движок нэтовский у сельсовета работает и свет от локомотива гонит? Нет, Серафим, то не движок работает, то мысль человеческая работает и световую электрическую энергию излучает. А сейчас, брат, вся жизнь от энергии исходит. Солнце на небе, а мозг у человека в голове... Человек мозгом познал, как световую энергию скапливать и на свою потребность расходовать. Я вот о чём последнее время думал, Серафим, в свободное время: растения напрямую от солнца энергию берут, а мы посредством их её получаем. К примеру, арбуз, — отец взял в руки ломоть, — сейчас его поешь, воду выпустишь, а энергию в себе оставишь — ею двигаешься и ею мыслишь, и с любым продуктом так... Или мяса поешь, в нём энергия держится от травы, которую корова щипала... А коль у человека корень есть — рабочий класс, — сейчас, брат, в человеке такое место найти, куда солнечную энергию подавать прямиком, минуя продукты, как в растение... Тогда, брат Серафим, в рабочем классе все главные вопросы жизни упразднятся...

— Как так? — вылупил глаза Серафим Прокопьевич.

— А так. Хлеб не нужно будет растить и есть его не нужно будет. Тогда остаётся одно рабочему человеку: прямой путь к познанию вселенной и всей жизни...

— А кто же на земле работать будет? — спросил обескураженный Серафим Прокопьевич.

— Землю распашут, чтобы растения не брали энергию. А главное — ель и сосну поспилят; зимой, понятно, с энергией трудно, чтобы больше и больше падало на долю человека, оставят растения только для памяти и красоты. Но это не сразу, конечно, — заключил отец, — темноты ещё много и, главное, она в людях живёт...

— Мудрено и чудно, — сказал Серафим Прокопьевич.

— И мне чудно, а всё к тому идет...

Все помолчали...

— А их когда возьмёшь, и как там жить будете? — указал на нас Серафим Прокопьевич. Аннушка потянула к нему ручки. Он взял её с пола и посадил к себе.

— Только когда фуражкой лицо заслоню, тогда мимо пройду, — сказал он, улыбаясь Аннушке, — а то как узнаёт меня, не пропускает: прямо берёт за руку — и веди её, делай ей музыку, заводи пластинку.

— Подросла, я её и не угадал, — сказал отец.

Аннушка что-то лопотала по-своему и пританцовывала на коленках Серафима Прокопьевича.

— Я вот Насте говорил вчера, — рассказывал отец, — пока я у кума Ивана, он меня прописал, уличком его дружок... А теперь я частный домик приглядел. Отапливается так: электричество титан греет. Перезимуем, а к весне возьмём план и построимся. Эту хату продадим, корову, там деньжонки подкопим, — рабочие люди-то так живут, я повидал...

— Ловко, — сказал Серафим Прокопьевич.

— Эх, Серафим, погляжу я на неё, потемнела вся, высохла за трудовень...

— Тут слух идет, Яш, — в надежде сказала мать, — колхозы в хозяйства объединят и вроде деньги платить будут; просёлком столбы сваливают...

— Нет сюда возврата, — отмахнулся отец, — поехали, тёмный ты человек, — обнял он Серафима Прокопьевича, — а председателя мы вместе с печатью купим...

Они ещё выпили и, вдруг повеселели, начали шутить.

— Нет, Андрианыч, вот ты лучше мне Аннушку отдай, она мне дочкой будет. Моя-то Фёкла попортилась.

— Нет, Аннушка моя, как хочешь.

— А вот твоя, а к тебе не пойдёт.

— Нет пойдёт.

— А я говорю, не пойдёт.

— Аннушка, дочка, иди к папе...

Аннушка глядела то на отца, — она от него успела отвыкнуть, — то на Серафима Прокопьевича и не понимала, что от неё хотят.

Отец взял со стола кусок арбуза и подал ей. Она потянулась к арбузу, ухватила его и начала есть, а отец взял её к себе.

— Это ты арбузом заманил, а так она не пойдёт...

Они долго игрались с Аннушкой. Она шла то к Серафиму Прокопьевичу, то снова к отцу, а мы все долго и весело смеялись над ними...

В избе потемнело, как будто собрался дождик, и мать вышла поглядеть за цыплятами.

— Скажи, Андрианыч, — таинственно сощурился глаза, спросил Серафим Прокопьевич, — а как быть рабочему человеку с основным продуктом?

— С каким это? — не понял отец.

— С бабой!

Отец озадачился, а потом они громко расхохотались...

— Эх, брат Серафим, поедем, я тебе приглядел такую царицу...

Вошла мать и сообщила, что собрался дождик.

— Не буробь, не буробь, Яков, а скажи, ты когда обратно?

— Нынча в шесть часов на Дрязги, меня рабочий класс ожидает, а то я тут в тёмную почву врасту...

— Ложись поспи, я тебя приду проводить. А сейчас у меня дела встали, — сказал Серафим Прокопьевич, и они вышли на двор.

Мы втроём доедали арбуз, мысленно мечтали о солнечном городе, который нестерпимо манил нас...

Вечером отец уехал по Мельской дороге на Дрязги...

IV

На другой день Аннушка хныкала, часто без причин плакала и не играла в свои тряпочки. Мать прибежала на обед, и я сказал ей об этом.

— Она и спала нынче плохо, — мать подняла

Аннушку на руки, припала ухом к её груди, чтобы послушать легко ли ходит воздух. Потом нажала ей на щёчки, заглянула в рот и сообщила, что глоточка красная, нужно вечером кашей погреть. Есть Аннушка отказалась. Мать, раскачиваясь, ходила с ней по избе, и она заснула и проспала до самого вечера. Пришла мать, наварила кашу, свалила её в платок и обернула им Аннушке шейку.

— Кулина говорит, что надо лук в керосине отмачивать и потом его прикладывать, он болезнь разбивает. А Марфуша велела мёдом снаружи и изнутри смазывать, а его, мёда-то, и нету у нас, — приговаривала мать.

А ночью она не спала. Аннушка похрипывала, стонала и плакала... С утра мать побежала к фельдшеру, но его не оказалось не в пункте, ни дома.

— Лёликов в Пады вчера подался, да там и заночевал. Люба Сошинская заболела. Это теперь только к концу дня приедет. Да у него и лекарств-то никаких нету, одна хинина от лихорадки, — огорчённо рассуждала мать, — ладно, нынче ещё погреем, а завтра видно будет...

Ночью мать разбудила меня, подняла и приказала:

— Беги к дяде Серафиму, пускай за Лёликовым сходит, он теперь приехал. Скажи, что Аннушка жаром горит, я не знаю, что и делать.

Голос у матери был встревоженный. С её постели слышалось трудное дыхание Аннушки... В избе тускло тлела лампа, громко стучали ходики на стене...

Я молча слез с печи, держась за задругу, надел штаны и рубаху, глядя, как мать мочит платок и остужает Аннушке ручки и ножки.

— Бежи, сынок. Всё понял?

Я кивнул, вышел в сенцы и на крыльцо. На меня дохнуло ночной прохладой и запахом навоза; видно уже выпала роса. У Журкиных на дворе брехала собака, ожидая чужого человека из темноты...

Дом Серафима Прокопьевича находился рядом, он стоял глухой и тёмный. Дорога мне была знакома, я без боязни бросился бежать к крыльцу и через минуту уже влетел по ступенькам к двери, передохнул и робко постучал. Стояла тишина. Казалось, что дом пуст. Я постучал сильнее. Отворилась дверь в сенцы, послышались шаги.

— Кто тут есть? — грубым голосом спросил Серафим Прокопьевич. Я отозвался. Серафим Прокопьевич отодвинул засов, щёлкнул крючком и отворил передо мною дверь в сенцы.

— Это ты, Колька?

— Да.

— Чего случилось у вас?

— Мать велела тебе, дядя Серафим, за Лёликовым идти. У нас Аннушка огнём горит, а мать не знает, что делать.

— Ступай домой, скажи матери, что я сейчас приду, — ответил Серафим Прокопьевич, и я побежал обратно...

Мать сидела на кровати, держала Аннушку на руках и, раскачиваясь, подпевала.

— Сейчас дядя Серафим придёт, — взволнованно сообщил я. Мать кивнула головой. Я сел на лавку, не зная, что дальше делать, мне всё казалось тревожным сном.

— Лезь на печь, ложись, — прошептала мать.

Я послушался, разделся и лег рядом с Сашкой; он спал и ни о чём не ведал...

Я сверху глядел на мать и то терял её, погружаясь в темноту, то снова видел. Тяжёлые веки сами закрывали глаза, но я ждал прихода дяди Серафима и старался опомниться. Когда я вновь приподнял веки, то увидел Серафима Прокопьевича возле матери, они полушёпотом разговаривали. Потом он ушёл, а я, не одолев себя, заснул...

Но вдруг пробудился снова. Аннушка плакала во весь голос. В комнате, кроме матери и Серафима Прокопьевича, были ещё какие-то люди, они что-то делали с Аннушкой, а она плакала. Я не понимал, что они делают, и снова уснул...

Утром меня разбудила мать. Я открыл глаза и в тревоге приподнялся. Аннушка держалась ручками за спинку кровати и подпрыгивала, щёчки её краснели, она повизгивала и улыбалась.

— Выздоровела? — спросил я.

— Да вроде получало, а Серафим Прокопьевич к бригадиру за лошадьё пошёл. Лёликов наказал Аннушку в Дрязги везти, в больницу. Но, прямо говоря, я что-то и не знаю: может, повременить? Глянь на неё.

Аннушка веселилась и лопотала. Мать нарядила её в новое платье в голубой цветочек и в розовую кофточку.

У дома остановилась телега. Я увидел в окошко, как лошадь мотала головой. В дом вошёл Серафим Прокопьевич.

— Собрала? — спросил он.

— Серафим, я что-то сомневаюсь, — вдруг заплакала мать, — может, не везти её? Глянь, ей вроде лучше.

— Не сомневайся, а делай, как Лёликов сказал. Он больше нас с тобой понимает. У него никаких средств нету, а вдруг что случится? Пальтишко и одеялко возьми в дорогу, — приказал он.

Мать решительно вытерла слёзы и торопливо заговорила:

— Коля, сынок, гляди тут за Сашкой, за цыплятами. Ешьте картошки в чугунае, молоко в корчажке пейте, понял? Да со спичками не балуйтесь, а то всё сгорит, и мы голые будем...

Серафим Прокопьевич постелил на телегу сено, подержал Аннушку, пока садилась мать; сел сам, дёрнул вожжи. Лошадь взмахнула хвостом и тронула с места; телега скрипнула и подалась, мать грустно поглядела на меня и покачала головой...

Сашка долго не просыпался, и я решил его будить. Я залез на печь, растолкал его и сообщил, что мы дома одни. Сашка горько заплакал и отвернулся от меня. Я слез с печи, как отец ходил по избе и говорил:

— Вставай, будем белый отцовский хлеб с молоком есть, а то сил нет терпеть, когда дядя Серафим мать и Аннушку домой привезёт.

Сашка слез с печи и молча сел на лавку к столу. Мы поели и забыли про них думать, игра в машины из репёв увлекла нас. Мы строили дороги и сломали два высоких подсолнуха... Потом пришла жена дяди Серафима, тётя Фёкла и накормила нас горячей картошкой...

После обеда мы сидели на крыльце и глядели на дорогу. День, казалось, никогда не кончится. Проехала телега с копной сена, лошадь рывками переставляла ноги и косилась на хозяина; он шёл рядом и нёс в руке вдвое сложенные вожжи... Прошли мимо дома соседские ребяташки, Чижик и Ванька Картуз.

— Куда это вы? — спросил я их.

— За хамсой в сельмаг мать послала.

— Пойдём и мы, — сказал Сашка.

— Нельзя! А вдруг приедут?..

Потом мы вспомнили про балалайку, про струны — и забылись работой. А вечером мы снова сидели на лавке и разговаривали.

— Наверное, сегодня одни будем ночевать, не приедут, — рассуждал я, — до Дрязгов тридцать километров, а лошадь у них плохая; дед Максим им Хохлатку дал, а она от старости ленивая стала...

Сашка поглядел на меня и двинул носом.

— А мы как же, одни будем? — спросил он обиженно.

— Одни, — подтвердил я, — а ты не бойся, наша изба крепкая, как сундук.

Сашка надул губы и помолчал.

— Перетерпим ночь, — заключил я твёрдо, — Аннушку надо лечить, а то она не будет спать, уморится и умрёт...

Сашка вдруг заплакал, как давеча утром, как-то потерянно и отчаянно.

Солнце село в тёмное облако, сразу стухнули сумерки, и потянуло прохладой.

— Пойдём в дом, Сашк, — поёжившись, предложил я, — будем про них думать, они почуют и приедут.

Мы вошли в сенцы, я запер обе двери: на улицу и на двор. Сашка зашёл в дом, сел за стол, положил голову на руки и продолжал плакать. Я взял спички и зажёл лампу.

У дома послышалось движение. Я выглянул в окно и закричал:

— Приехали! — и выбежал в дверь.

Мать входила молча. Когда я распахнул двери, она несла Аннушку на руках. Она подошла к сундуку, положила её на его крышку, развернула и заголосила горестно и отчаянно...

Вошёл Серафим Прокопьевич.

— Никому не досталась...

Вошла следом тётка Фёкла. Мы глядели, ничего не понимая, на Серафима Прокопьевича и на тётку Фёклу, на мать и на неподвижно лежащую сестру, и тупой страх нашёл на нас. Мы уцепились за материну юбку и зарыдали вместе с ней...

Отец приехал на другой день после похорон Аннушки. Он размашисто шёл к дому напрямки, через кукурузное поле. Мать издали увидела его — она целый день сидела и глядела на дорогу — и побежала навстречу. Мы с Сашкой устремились за ней; он отстал, а я бежал за матерью, ничего не видя, слёзы застилали мне глаза, кукурузные стебли больно стегали по рукам и лицу...

Осенью мы переехали в город, оставив хутор, домик в три окна, своё детство и сестру...

На её могилку уже нападали листья, налетевшие с кустов сирени, непроходимо окружающих сиротливый погост...



Вениамин Никишин



О жизни и творчестве члена Союза писателей России Вениамина Захаровича Никишина, творившего в последние годы своей жизни и умершего в городе Калининграде, смотрите в рубрике «Критика» статью Натальи Менендес (Тютниковой).

СТАРОКУРТАНСКИЕ МАТАДОРЫ

Старый Куртан — это большое село. Но и в большом селе есть маленькие избы. Самая маленькая изба — у Ефима Саранкина по прозвищу Деризуб. Кто и когда поставил эту избу на самом краю села, никто не помнит. Кто и когда дал Ефиму прозвище Деризуб, тоже никто не помнит. У большого села хватало больших дел, кроме биографии Саранкина. А Саранкин — просто печник. Был он, прямо скажем, хилым, тщедушным мужичонкой.

Ходил зимой и летом в одной и той же короткой шубёнке, у которой мех остался только, пожалуй, в швах. И не от страшной бедности всё это, а от могучей привычки. Бородёнка у Деризуба такая редкая и жидкая, что в ней может проползти таракан, не задев боками о волосы. Росту он был критического, хром на ногу, речью заикался. Но, однако же — мастеровой. Жил тихо-мирно на краю села со своей Агафьей, которая была до того молчаливой, что многие считали её немой.

За работу по перекладке печей в колхозе в то лето Деризуб получил натуроплатой трёхлетнего бычка. Он стоял привязанный в Ефимовском пригончике.

Утро воскресного дня было солнечным. Правда, ночью ударил ядрёный морозец, и земля уже издавала первый осенний звон. Деризуб вылез из своей крошечной избушки, закурил самокрутку и стал думать, как ему легче превратить бычка в мясо. И судьба, как из-за пазухи, приготовила ему сюрприз.

Как раз в это самое время мимо избушки Деризуба проходил шорник Агей, высокий, костлявый мужик на деревянной ноге. Поговаривали, что настоящую ногу он оставил на рельсах. Агей был в коротком ветхом зипуне, низко, на самых крестцах, подпоясанном сыромятным ремнём.

На плече он нёс пучок таких же ремней; деревянная нога звонко постукивала на кочках, а старая поярковая шляпа надвинулась на лоб так низко, что из-под неё торчала только борода да кончик фиолетового носа. Росту он был такого длинного, что, пожалуй, мог бы почистить трубу Ефимовой избушки, не приставляя к ней лестницы. Вчера после баньки Агей явно взял лишнего, и сегодня ещё не успел «вырулить на большак». Но когда увидел Деризуба, под поярковой шляпой ёкнула надежда.

— Здоровенько живёшь, Ефимушко!..

— Бог даст, Агей Арсентьевич!

Агей повесил на прясло пучок сыромятины в знак того, что спешить ему некуда, и скоро он не уйдёт.

— О чём задумался, сила?

Деризуб снизу вверх, прищурясь, посмотрел на Агея. А тот ослабил кривыми зубами и стал крутить свою самокрутку.

— Думаю вот: бычка завалить надо. Что ж ему...

— Этого-то? — Агей сдвинул шляпу на затылок.

— Один у меня.

— Сам думаешь управиться? Ни в жисть... И не мысли. Такую махину тебе одному не свалить. Не бык, а деригабель.

— Архипа позову... Соседа.

Агей выпустил дым изо рта и похлопал Ефима по коленке, после чего Деризуб приподнял ногу, дабы убедиться, не вбил ли он её в землю.

— Ты, сила, того... Под планидой произошёл. К чему Архипа? Связываться. Знаешь, сколь задерет? От твоего бычка хвост да, может, рога останутся. Я, сила, этих самых бычков завалил стадо, а может, и больше. Магарычом только и обойдёмся.

Деризуб поскрёб ногтем подбородок. Оба присели на завалинку.

— Приходилось? Бычков-то?

Агей только погудел хрипло и махнул рукой.

Деризуб подумал, что-то смекнул. А что, и в самом деле, Архипу платить надо. И верно что — рога только и останутся.

А Агей прикинул другое: «У этого самогон есть. Этот держит». Оба напряжённо помолчали. За спиной сквозь простенок избушки слышно, как Агафья ровно и редко стучала маслобойкой. Агей осторожно, не дыша, справлялся:

— Когда думаешь-то?

— Да чего тянуть.

— Оно, конечно, морозцы пошли. Бывало, все об эту пору валили. Бывало,хватишь для твёрдости руки и духа стаканец-другой, и нет ништо... Так, может, сейчас, благословясь, и начнём?

— Прямо сейчас? Вот так вдруг?

— А что? На неделе мне недосуг будет. Да ты не бойсь, сила, говорю тебе, стадо...

Деризуб опять поскрёб в бороде теперь уже двумя пальцами.

— А инструмент у тебя такой есть?

— Да тут струменту-то надо всего — шило.

— Шило?

— Оно. Бычков завсегда валят шилом. Вот тут у них, у бычков... — Агей пригнул голову Деризуба чуть не до самых коленок и надавил на то место, где полагается быть позвонку. — ...Вот тут у них станова жила проходит, и в неё только шильцом чикнуть, и бык, как сноп, падает... Да уж знаю, не сумлевайсь...

— Верно, слышал...

— То-то — слышал, а я, сила, валил...

Агей, конечно, врал. Никаких бычков он никогда не валил. Желание выпить толкало его на немыслимую авантюру.

— Так я за шилом...

Он, как складной плотничий метр, встал с завалинки. Деризуб хотел было его удержать, но Агей уже ходко, подпрыгивая, костылял по улице.

Наискось от избушки Деризуба жил весовщик Сильвестр Жогов, жирный, неповоротливый, с тяжёлым дыханием, как у запалённой лошади, и короткими ногами. В это утро он сидел у окна и, глядя сквозь мутное стекло на улицу, лузгал семечки. Он от начала до конца наблюдал за Деризубом и Агеем.

Слышать он их, разумеется, не мог и терзался в догадках: о чём же те говорили? И когда Агей рысцой побежал вдоль улицы, не захватив с прясла сыромятных ремней, Сильвестр не выдержал, накинул шубёнку и пошёл к избушке Деризуба. Уяснив суть дела, он оттопырил толстую нижнюю губу и тоненьким, почти детским голоском пропел:

— Малые дети вы, а не мужики... Придумали тоже — шилом... Это же бык, а не кролик! Ну-ко возьми в толк!

Вернулся Агей. Шила он дома не нашёл, а вбил в деревяшку трёхдюймовый гвоздь и заточил его напильником. От быстрого бега он тяжело дышал. Сильвестр подержал новоизготовленный «инструмент» на ладони и насмешливыми маленькими глазками сверкнул на Агея.

— И этой штуkenцией ты хочешь убить быка? Не-е-ет, у тебя колпачки в башке свинтились!

Агей воинственно наклонился:

— Бивали, небось...

— Где бивали? Где бивали-то? Ты тут, в Куртане, шестой десяток доживаешь и дальше Авдотьиного займища нигде не был.

Агей заскрипел деревяшкой и грозно заострил клин бороды.

— А на станции?..

— Так тебе там только клешню отрезало, ты и не жил там.

Положение становилось неопределённым. Деризуб кашлянул и неуверенно сказал:

— Оно, конечно... Однако ж... Может, вдругорядь...

Сильвестр в решениях был скор, да и должность у него была авторитетнее:

— Ты крепко надумал бычка валить?

Деризуб почесал под шубёнкой грудь.

— Так, думаю, чего его кормить? Сена я не запас...

Сильвестр решительно запахнул полушубок и, победно посмотрев на Агея, скомандовал:

— Выводи на двор бычка... Я его сейчас мигом — мыкнуть не успеет...

Агей хохотнул и отвернулся:

— Это чем же ты его? Уж не грыжей ли?

У Сильвестра была грыжа, отчего он ходил, растопыбив ноги, как якоря. От такой обиды у вековщика запищало в носу. Он повернулся и по-утиному пошёл к дому, напялив на голову поглубже телячью шапку.

Почувствовав конкурента, Агей забеспокоился, отчего его большие, навывкат, глаза опасливо завертели.

— И без него бы справились... В стантовую жилу чик — и нету. Чай за топором побежал. Но так ли, сяк ли, а ты, сила, давай это... Как его... Мирское дело скорое. Для зачину, значит, по стаканчику.

— Оно, конечно, само собой.

Из тёсовой калитки вышел Сильвестр, неся поперёк живота длинное, как жердь, ружьё — фузею, старое и ржавое, возможно, ещё времён Крымской войны. Ложа и сошки были покрашены в синий цвет, гранёный ствол с отверстием, в которое проскочит голубиное яйцо.

— Где бычок?

— Так в пригончике он, бычок-от... Вон он...

И Деризуб, и Агей опасливо смотрели на ружьё. Агей беспокойно скрипел деревяшкой:

— А мы тут порешили. Сперва по стаканчику, а потом уж с Богом...

Сильвестр стоял с фузеей, как в карауле, поставив её ложем на землю; конец ствола возвышался над его головой.

— Само собой... Да только потом. Сперва свалим, а пока туша остынет да кровь стечет, мы в это время... Можно будет.

Пока мужики разговаривали, из Сильвестровой калитки высыпал целый выводок ребятишек, одетых наспех, кто во что. Они, было, ринулись к месту предстоящего происшествия, но Сильвестр потряс фузеей и пригрозил.

— Чтоб дальне калитки — ни шагу... Чертенята.

Вышла и жена Сильвестра, высокая, сухая, в полосатых чулках. Одной рукой она держала за воротник самого малого, другой наскоро застёгивала шубейку. Из открытых дверей погреба высунулась тётка Олёна, она делала там какой-то засол.

Бычка вывели во двор. Красавец-великан бело-рыжей масти, с чугунным лбом, с рогами, похожими на турецкие ятаганы, стоял, равнодушно жуя. С тугих розовых губ падала на землю тягучая слюна. Резвое солнце, переливаясь, играло на его шаровых мышцах и блестящей шерсти.

Деризуб вынес охалку соломы и растряс её в том месте, где, по его мнению, должен упасть бычок. Сильвестр стал расставлять фузею на сошки. Агей метался вокруг, подпрыгивая на одной ноге. Сильвестр был решителен, как матадор.

— Вы мне его лбом поверните, чтоб в лоб...

Бычка повернули, Сильвестр наставил фузею быку в лоб, Деризуб участливо спросил:

А оно... это... у тебя заряжено?..

— Не заряженного оружия не держу.

Наступила тишина. Слышно было, как спокойно дышал бык, да Агафья всё ещё стучала маслобойкой. Тоскливо, со скрежетом скрипнул курок; бык потряс ухом, как маятником, помахал хвостом. Агей блестел выпученными глазами.

— Слышь, Ефим, ты мне рога его удружи.

— А куды тебе?

— На стенку прилажу, заместо крюков, зипун вешать стану.

Сильвестр наладил пистон, расставил ноги и приложился к ружью. Агей для чего-то загородил лицо локтем. У Деризуба открылся рот.

Тарарахнул такой выстрел, что, казалось, крыша Деризубовой избушки сдвинулась набок. В избушке обалдело завизжала Агафья, выронив из рук маслобойку. Двор заволокло дымом. Бык три раза подпрыгнул, как на батуте, потом ринулся вперёд, яростно ударил косыми рогами в простенок избушки, продавив его, как дно старой корзины, вздыбился и с диким рёвом кинулся на Сильвестра. Тот, бросив ружьё, воробышком перемахнул через прясло и шлёпнулся оземь, как курица...

Бык заметался по двору. Мужики ринулись кто куда. Деризуб сунулся в амбарчик и задвинул засов изнутри. Агей хотел было вслед за Сильвестром сигануть через прясло, но деревянная нога застряла в жердях, и он повис, болтая руками. Поярковая шляпа свалилась, обнажился лысый, розовый череп и перекошенное от страха лицо.

Сильвестр едва вскочил на ноги, как бык снова кинулся на него и погнал впереди своих рогов, как большой ком шерсти. Рот у Сильвестра открылся, но оттуда не вылетало ни звука. Он уже приближался к своей калитке. Домочадцы, увидев главу семейства, бегущего во всю прыть, ринулись разом в калитку и законопатили её так, что и гвоздю некуда было просунуться. Поверх кучи рук, ног, шуб и валенок быстро-быстро мелькали ноги в полосатых чулках. Сильвестр только плюнул на бегу в свою калитку и ещё быстрее побежал к погребу тётки Олёны.

Вот-вот сверкающие ятаганы воткнутся в спину Сильвестра! Но спасительный погреб рядом! Бомбой, не задерживаясь, сквозь двери и сквозь западню Сильвестр пролетел прямо в яму — на кадку с капустой.

Дико взывала тётка Олёна, увидев перед собой рога быка, но тот только помотал ими и рысью побежал за гумно, в колхозный пригон, к знакомым тёлкам.

Когда бык, победно мыча, удалился, из амбара вышел Деризуб. Увидев в прясле Агея, стал вызвать его, но деревянная нога застряла так прочно, что пришлось перепилить жердь. Пока Деризуб пилил жердь, из избушки выползла Агафья с ручкой от маслобойки и принялась неистово лупить и Деризуба, и застрявшего Агея. Била молча, как настоящая немая.

В это время из погреба тётка Олёна коромыслом выгоняла Сильвестра.

Полчаса спустя мужики собрались вместе. В проломанном простенке, причитая, стояла Агафья. Супруга Сильвестра ругалась с тёткой Олёной за незаконные побои коромыслом, Агей подтягивал ремешок деревянной ноги:

— Говорил тебе, грыжалому чёрту, что в становую жилу надо было. Верное дело.

Деризуб нервно дёргал щекой и по-птичьи вертел головой:

— Заговорён, видно, бык-то... Почему его не убило?

Сильвестр старательно растирал грыжу под полушубком.

— Кто его знает? Мож, пуля допрежь выкатилась из стволина. Это бывает...

Агей зло скрипел деревянной ногой:

— Выкатилась! Допрежь!.. Чтоб твоя грыжа выкатилась допрежь!

Ругнулись...

Мужички ещё долго корили друг друга. Но делать нечего — теперь на улицу от позора носа не высунешь, — и пошли пить магарыч.



Молодые берега

Алина Серёгина



Алина Серёгина родилась в 1989 году в городе Томилино. В 2011 году закончила Московский педагогический государственный университет, член Союза журналистов Подмосковья. Публикует свои произведения на сайте «стихи.ру» с 2009 года под ником Алина Серёгина. В 2010 году вышел её первый поэтический сборник «Право на тебя», в 2013 году вышел второй — «Рифмы до востребования». Имеются публикации в газетах «Томилинская новь», «Томилинская панорама», «Ежедневные новости Подмосковья», в литературной газете-альманахе «Русский смех». В 2009 году заняла 3-е место на открытом Фестивале юмора и эстрады в номинации «Ироническая поэзия»; является дипломантом литературного конкурса «Золотое перо — 2012». В 2013 году совместно с поэтом Сергеем Леонтьевым организовала творческое объединение «Остров», ориентированное на поиск талантливых авторов и театрализацию поэзии. В настоящее время работает актрисой в театре кукол «Радуга».

НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ

Летишь, потому что тебе летится —
Бесстыдно, но тайна — она внутри.
А ты отчитался, что ты за птица?
Здесь все пересчитаны. Раз-два-три.

Рождённый летать? А не хочешь — оземь?
Четыре, пять, шесть. Ну-ка, клюв закрой!
Вдыхаешь на семь — выдыхай на восемь,
Иначе не впишешься в птичий строй.

Парить и парить, ничего не весить,
Но в уши — по ком колокольный звон?
Здесь все пересчитаны. Девять, десять.
Считайся, иначе ты выйдешь вон.

У нашего неба покров эмальный,
А вдруг неучтённые обдерут?
Двенадцать, тринадцать. А ты нормальный?
А ты отчитался за свой маршрут?

Пространство огромно, но ты на мушке;
Кричащее горло забила взвесь.
Ты знал, что летишь над гнездом кукушки?
Четырнадцать. Вот ты и вышел весь.

РУСАЛОЧКА ОБ АНДЕРСЕНЕ

Я бы вовеки не знала горя
В чистой целебной морской воде...
Ганс написал, я ребёнок моря —
А до него я жила везде:

В тесном аквариуме в зверинце,
В речке и в паре больших озёр...
Ганс написал, я любила Принца —
Ганс удивительный фантазёр!

Принц ни при чём — я горела целью:
Вынырнуть, выплыть — Земля, встречай!
Фея сварила мне чудо-зелье
(кстати, по вкусу, как чёрный чай).

С ней напоследок успели спеть мы —
Я же на сушу пошла немой...
Ганс ей присваивал статус ведьмы,
Я говорила ей: «Ангел мой!

Люди милее, чем осьминоги!
С Принцем уютнее, чем с китом!»
Ганс написал, как болели ноги —
Если б он знал, каково с хвостом!

Принц был нахохленный и степенный,
Как-то он спел для другой романс...
Ганс написал, что я стала пеной –
Неисправимый романтик Ганс!

Он не учёл одного нюанса,
Рукопись острым пером дразня:
Господи, я полюбила Ганса
С мига, как он написал меня!

Он в облака превратился вскоре –
Видимо, там и досочинил
То, что я стала ребёнком моря, –
Моря волшебных его чернил.

БАБОЧКА И ОКЕАН

Говорит, не трусит — вошла, мол, в раж, но
Это всё бравада и сплошь враньё:
Перелётной бабочке очень страшно,
Ведь стихия, в общем-то, не её.

Так тоскливо — впору повить белугам!
Пауками волны ей сеть плетут,
А она привыкла порхать над лугом,
Там цветы и травы... А тут, а тут...

Глянет вниз — и бездна, и колот лёд в ней,
Ей кричат осколки, друг друга злей,
Что они видали поперелётней,
Покрылатей знали, пожуравлей,

Пострастней мечтавших о дальней дали,
Пополней хлебнувших полёта вкус -
Да и те частично не долетали:
Выдыхались или теряли курс...

Океан под крыльями флибустьерит -
Всё ему нагуливать аппетит...
Но она, конечно, летит и верит,
И хотя, конечно, не долетит,

Океану крошкой став к обеду,
Не увидев джунглей и их лиан -
Океан заметит свою победу.
Океан расплатится. Океан...

И непобедимый, и безызынный,
И опасный другу, как и врагу,
Будет долго-долго шататься пьяный,
И громить трактиры на берегу.

БЕССРЕБРЕННИЦА

Я с годами не стала умнее и праведней -
Если можешь, прости, дорогой человек!
Я бы тоже хотела, чтоб всё было правильной,
Чтоб проснуться — а нынче Серебряный век,

Чтобы рифмы текли горячо и бесповодно -
Хоть раскрашивай души, а хоть полосать,
Но давай о насущном. Мне страшно и холодно,
И, по-моему, я разучилась писать.

Вот бы слова живого, и чтоб невзначай оно
Объяснило тебе: не порань, не обидь! -
Потому что сейчас мне темно и отчаянно,
И, по-моему, я научилась любить.

Сколько мыслей отсеяно, строчек пере'брано —
Я искала таких, что молчанью сродни...

Извини, если вышло не очень серебряно -
Извини...

НЕПРАВИЛЬНО

Каков контраст: неясно утро — и
Ясна на редкость голова.
Ты говоришь такие мудрые,
Такие верные слова!

Ты произносишь их морожено,
С ненатуральным холодком:
Что всё по полочкам разложено,
Но полетело кувырком;

Ты произносишь их фисташково,
С ненатуральной зеленцой:
Что всё могло быть навсегдашково,
А вышло хрупко и с гнильцой;

Что счастья было не обещано;
Что холод есть цена тепла;
А я неправильная женщина,
И всё неверно поняла...

УЛЫБАЙСЯ, ДЕВОЧКА

Оттого, что небо бывает чёрно,
Не ценней ли, девочка, синева?
Не жалею о том, что сажала зёрна -
Пусть местами выросла трин-трава,

Поклевали вороны-ястреба всё -
Журавли залечат досаду ту.
Улыбайся, девочка, улыбайся
На обиды, зависть и клевету.

Понимаю, девочка, сводит скулы,
Только мир утопий недостижим!
Оттого, что в море живут акулы,
Разве стало море тебе чужим?

И о чём тут плакать, ломая руки -
О предавшем просто и не скорбя?
Не жалеи ни дня о продавшем друге -
Может, много выручил за тебя!

Может, грош неломаный, или даже
Целых тридцать выгудил серебром...
Вроде души выгодны для продажи -
Разживётся, значит, теперь добром!

Много будет лживых и пустошумных...
Улыбайся искренне всем подряд!
И прощай их, девочка, неразумных -
Видит Бог — не ведают, что творят.

А МОРЕ — ЗНАЕШЬ, ОНО КАКОЕ?..

Что небо? Небо не взять рукою,
И не погладить ему живот!
...А море — знаешь, оно какое?
Оно такое... Большое, вот!

Зато, когда я нарисовалась,
Совсем внезапно, в зените дня,
Оно ужасно разволновалось -
Наверно, даже сильнее меня!

Ты не поверишь: оно дышало,
Жило, играло — мол, подойди!
И тут же волны швыряло шало,
И столько было у нас в груди:

В моей — стучало, в его — купались,
На нём лежала моя рука,
А мы молчали и улыбались,
Как два взволнованных дурака.

КАК В КИНО

Нас двое, а счастье огромное и одно.
Забавно, когда босиком переходишь грани...
Похоже, мы просто попали с тобой в кино,
Но только не в зал — а героями на экране:

Всё звёздно — и час наш, и небо над головой,
Покуда они нам даны, мой хороший, пей их!
Сюжетная линия тоньше береговой,
Мы — за руки. Мы балансируем на обеих.

Не смотрим на время (ему нас не запылить!),
На зрителей с «Колой», не слушаем хруст
попкорна;
Ты скажешь, киношное счастье возможно
длиться —
Назло режиссёру, сценарию непокорно,

Но только покажется: этот сюжет знаком,
Его повороты подвластны нам и нехитры,
Как что-то по коже прокатится холодком...
Ты скажешь, что это мурашки...
А это — титры...

Я ТАКАЯ ЖЕ

Море тихое, некичливое,
Лепит с детками куличи.
Я такая же. Я пугливая —
Посиди со мной, помолчи...

Море броское и игривое!
Глянь, волнуется — ну и ну!
Я такая же. Я счастливая —
Приплывай ко мне на волну!

Море нервное и драчливое,
Море тянет на глубину...
Я такая же. Я приливами.
Не ходи ко мне — утяну!

МОЕМУ АНГЕЛУ

Мяте и прочим аптечным травам
Этой горячности не прогнать.
Крохотный ангел сидит на правом.
Кто там на левом, не надо знать.

Воздух заполнен собой и пылью,
Пыль и себя никуда не деть.
Мой невесомый, зачем нам крылья,
Если не можетя улететь?

Миру бы душу да в душу мира...
Маленький мой, ну чего ты сник?
Нынче ноябрь и будет сыро —
Перемещайся под воротник!

Те, у кого и чины, и ранги,
Не приближённое к Небесам...
Бог и со мной, и с тобой, мой ангел,
Ныне и присно... Ты знаешь сам.

Хмурому небу воркуют гули...
Что ты таращишься? Засыпай!
Я побаюкаю: люли-люли;
Я помурлыкаю: баю-бай...

Завтра мы вынесем гулям хлеба,
Встанем пораньше, часам к семи...
Не улетай! У меня есть небо.
Хочешь немножечко? На, возьми!

КАФЕ

Спит кафе, пока подходит выпечка.
Новый кофе смолот, старый выпит,
И само оно, по сути, выскочка,
А по форме параллелепипед.

Может, чай и сахар перехватите,
Голову вскружите чайным ложкам
Там, где, ошалев от мая, скатерти
Шлёпают столы по голым ножкам...

А кафе запахнуть бы шафранами,
Заиметь коктейли модных баров,
И оно флиртует с ресторанами,
Как ребёнок, пляясь на швейцаров...

Стать бы поизысканней! В быту оно
Боевое — мир, мол, не для мирных...
У него всё будет, как задумано.
Так всегда бывает у настырных.

Выйдет на проспект из переулочка,
Зачерстев от ежедневных скачек,
Но пока — уютное, как булочка,
И корицей пахнет, как калачик.

СЕРЕНЬКИЙ ВОЛЧОК

Шаги за дверью, скрип, замка щелчок —
И вот уже негаданно-незванно
Ко мне заходит Серенький Волчок
И падает на краешек дивана.

Я знаю эту сказку назубок,
Не вижу в ней ни шока, ни сенсаций,
Лениво прикрываю левый бок —

На случай, если Волк решит кусаться.
Я самый равнодушный адресат,
К которому пришёл Волчок со сказкой,
Хотя недавно — пару детств назад —
Ждала его с волнением и опаской...

...За окнами вороновый галдёж —
Наверно, Серый взбаламутил стаю...

И ты ко мне так медленно идёшь,
Что из тебя я тоже вырастаю.

НА ПЛОЩАДИ САН-МАРКО

А в сказку вкралась странная помарка,
И птицей обернулся птицелов...

...Мы не были на площади Сан-Марко,
Но помним звон её колоколов.

Мы были в подмосковной комнатухе.
За окнами звенела детвора...
Откуда оказались на подушке
Два голубиных маленьких пера?
Скажи, скажи, они не из души ли,
Мой голубь, что вспорхнул из-под стрехи?
Ведь нынче мы с тобою не грешили —
Мы искупали прошлые грехи,
И, проникая истинно, глубинно,
Парили — и крылаты, и легки...

Мы были на Сан-Марко голубино;
Влюблённые кормили нас с руки.

Я, ЧЕЛОВЕК И ТИШИНА

И дом молчал, гримасы строя,
И утро ёрзало без сна...
Нас в этом доме было трое:
Я, Человек и Тишина.

Брало отчаянье начало;
Сквозило изо всех углов;
И Тишина на нас кричала,
Но мы не разбирали слов.

Светало. После — вечерело,
И солнце шло в небесный грот,
А я сидела и смотрела
На тишиновый рыбий рот,

Мне было душно, было зябко
В потоке дыма без огня...

Но Человек схватил в охапку
Отишившую меня,
Мы закружились одичало,
Спугнув из дома Тишину —
И всё на свете зазвучало,
И я услышала Весну.

СУП С КОТОМ

Он опять со своими: «А что потом?»
Мол, летал и запомнил, что значит оземь.
— А потом, — говорю ему, — суп с котом!
Но пока не потоп, так что завтра — в восемь!

И глазами ,хитрющими, как у шкод,
Я ему улыбаюсь в порыве глупом,
Мне же здравого смысла наплакал кот -
Кот поплакал, узнав, что закончит супом.

Всё он мнётся да ёрзает, колгота!
И молчит, и толчёт себе воду в ступе!
— Не тyani, — говорю я, — за хвост кота!
Хвост — он тоже хорош для напара в супе!

Он снимает мой бред поцелуем с губ.
Мы взлетаем над массой машин и люда...
Мне до ужаса жалко кота на суп! —
На потом у нас будет другое блюдо.

РЕВНИВЫЙ ЧАЙНИК

Ставлю чайник. Шутки ради
Он присвистнет мне: «Ку-ку!
Что, хозяйка, на ночь глядя
Захотела кофейку?
Эх, советую поспать я —
День-то, знамо, был тяжёл!
Что ты вырядилась в платье?...»
И, как только ты зашёл,
Как ревнивец в киноленте,
Закипел он: «Отвечай,
Это что ещё за крендель
Заявился к нам на чай?!»

Падал снег, и был он светел.
Меж дверей сквозняк дрожал...
Только утром ты заметил
То, что чайник убежал.



Наталья Менендес (Тютникова)

Пасынок лихолетья

*О жизни и творчестве члена Союза писателей России
Вениамина Захаровича Никишина*

В декабре 2012 года в центре города Кинешма появилась скромная мемориальная доска, посвящённая Вениамину Захаровичу Никишину — первому кинешемскому писателю, ставшему членом Ивановского отделения Союза писателей России. А в этом году вышла книга, включившая в себя большую часть его литературного наследия. В ней, наконец, достойно переиздана его интересная книга рассказов «Апельсин на ладони» и другие произведения, не опубликованные ранее.

Никишин Вениамин Захарович родился 19 декабря 1926 года в селе Одино Мокроусовского района Курганской области.

Отец его был рыбак и охотник, а дед — в дореволюционном прошлом гусарский полковник. Вениамин Захарович очень гордился своим дедом, который во время Гражданской войны был командиром партизанского отряда, сражавшегося на стороне красных. Дважды он был приговорён к расстрелу колчаковцами, но, к счастью, остался жив. В своей автобиографии писатель отмечает, что очень уважал своего отца, но деда любил больше. Не случайно многие его кинешемские друзья отмечают в нём родовую генетическую гусарскую удаль и честь.

Семья очень пострадала в 1930-е годы. Дед, несмотря на его героическое прошлое, связанное с Гражданской войной, был арестован за то, что когда-то служил в царской армии, а отца необоснованно обвинили во вредительстве в период его работы председателем сельского совета. Отец был сослан в Салехард и вскоре, уже вернувшись домой, умер от заболевания лёгких.

Мама Вениамина Захаровича с ним и его сестрой переехала в Кинешму и вскоре, выйдя замуж, уехала к мужу в деревню Грибино Кинешемского района.

А Вениамин Захарович возвратился в Сибирь к своей тёте, у которой он жил и раньше после ареста деда и отца. В Кинешму он вернулся перед самой войной.

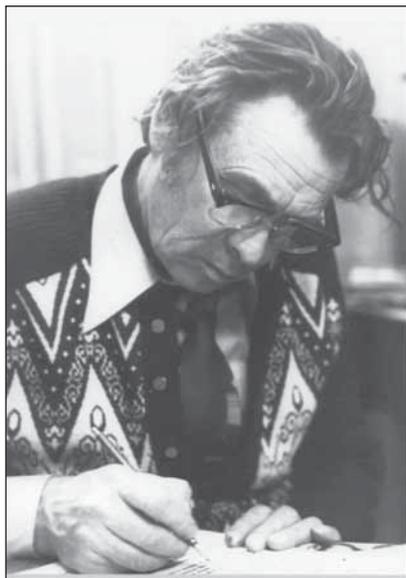
В 1942 году Никишин окончил школу ФЗО и был направлен на военный завод в город Ковров. Это стало трагической страницей в его судьбе. Из-за невыносимого голода он сбегает с завода. Это был поступок, который в годы войны карался очень жестоко. В 16 лет он был осуждён (заочно) на 8 лет колонии строгого режима и направлен на соликамский лесоповал, а затем на рудник Бодайбо. Он пишет в своих воспоминаниях: «На заводе я «заработал» по особому указу срок 8 лет...»

Через два года он был выпущен досрочно из-за тяжёлой болезни. Ему было в то время 18 лет, и при росте 170 см он весил 21 (28) кг (в разных источниках указывается по-разному). В таком тяжелейшем состоянии он всё-таки добирался до Кинешмы. Молодость помогла ему восстановиться.

В декабре 1944 года он был призван в армию. Служил сапёром, а затем строителем. Строил МГУ, работал на разных стройках страны. В Кинешму вернулся в 1950 году. И в этом же году женился на Зинаиде Петровне Никишиной, которая работала преподавателем экономического техникума. Они прожили вместе 55 лет. У Вениамина Захаровича две дочери. В настоящее время одна живёт в Москве, вторая в Калининграде.

Интересна трудовая биография Вениамина Захаровича. Получив финансовое образование в экономическом





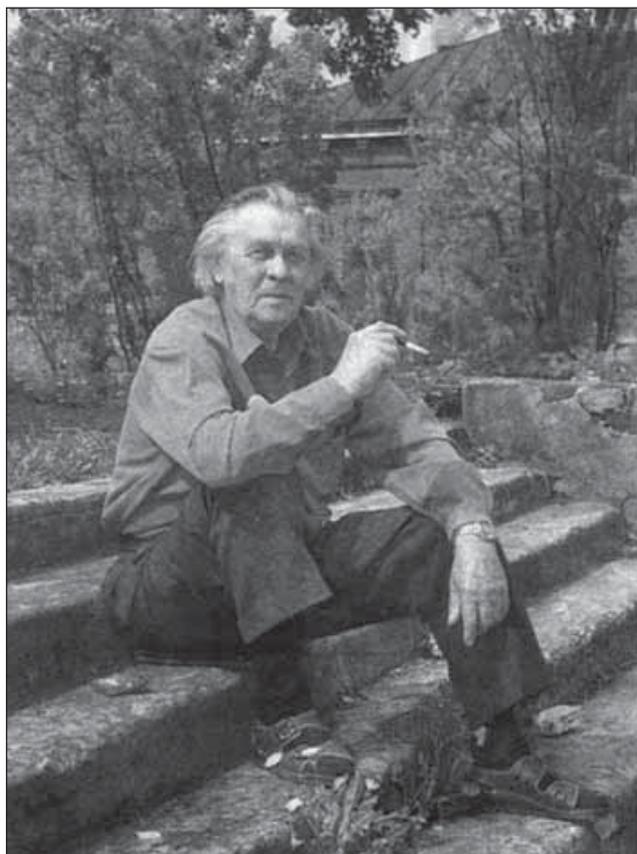
техникуме, а позднее закончив высшие режиссёрские курсы в Москве, он за свою жизнь освоил много разных и, казалось бы, взаимоисключающих друг друга профессий. Он работал: грузчиком в порту, экспедитором, диспетчером, актёром в театре, заместителем директора экономического техникума, директором клуба, корреспондентом в газете, фотографом.

Свои писательские корни Вениамин Захарович связывает с Сибирской землёй, на которой родился. Зимой, во время долгих буранов охотники и рыбаки собирались вместе в ожидании хорошей погоды и в кругу друзей рассказывали интересные истории, которые потом стали рассказами Никишина. Первая часть книги «Апельсин на ладони» так и называется — «Сибирские рассказы». В этих рассказах с большой любовью он рассказывает о сибиряках, но иногда может и посмешить нас от души. Смех этот добрый, как, например, в рассказе «Старокуртанские матадоры».

Многие его произведения, как из опубликованных, так и пока не дошедших до публики, посвящена людям кинешемской земли.

Здесь и старая дореволюционная Кинешма, и время революционное, и время военное, и современная ему жизнь. Перед нами открываются судьбы людей, а иногда мимолётным штрихом даются нам напоминания о хорошо знакомых и известных в своё время людях: врачах, рабочих, городских и многих других. Всё это описано красочно и, как характеризуют друзья-писатели, «вкусно». Но особенно проникновенны его повести и рассказы, связанные с Великой отечественной войной, с нашими земляками, которые мужественно перенесли эту трагедию и на фронте, и в тылу.

Он был достаточно разнообразным писателем. В 1955 году написана его историческая драма «Багровые зори» на основе местных революционных событий. Она была поставлена в 1962 году в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского. В это же время им написана для Ульяновского драматического театра пьеса «Не возвращайся, Виктор». Кроме драматических произведений, он пишет повести, рассказы, очерки, но публикует малую часть и в основном в периодических изданиях.



Уже в начале литературной деятельности Никишина отмечают, как талантливого писателя. В очерке Виталия Ефимовича Сердюка о Никишине «Дорогу осилит идущий», который вошёл в его книгу «Судьба писателя» даются воспоминания о Никишине и его оценка, как талантливого человека. Такую характеристику, по воспоминаниям Сердюка, делает Владимир Семёнович Жуков — известный ивановский писатель. Да и сам Виталий Ефимович отмечает: «Рассказы и очерки Вениамина Никишина читаются легко и с интересом». Он с болью и досадой пишет, что хорошая и интересная книга «Апельсин на ладони», наконец-то вышедшая в 1996 году, к стыду кинешемцев была сделана полиграфически некачественно, неграмотно и «провинциально».

Но, несмотря на внешнюю непривлекательность, книга была оценена, и в 1998 году Никишин был удостоен за неё областной литературной премии. А в 1999 году был принят в Союз писателей России. Когда это произошло, ему было 73 года. В 1999 году высокую оценку получила и его повесть «Тополя на ветру»,



В. Никишин с друзьями – Владимиром Ивановичем Рожковым, Владимиром Владимировичем Смирновым, Александром Васильевичем Рыбаковым и Евгением Григорьевичем Шуваловым



В. Никишин с М. Майковским и В. Говорковым

вышедшая годом раньше. Это очерки о жизни жителей фабричного района «Томна» города Кинешма. Острый глаз писателя даёт точные и ёмкие характеристики кинешемским событиям и кинешемцам. Не случайно книга получила высокую оценку краеведов. В краеведческом направлении писатель пишет очерк «Четверть века» о заводе «Автоагрегат».

А в повести «Река, город, люди» само название говорит о городе, с которым его связала судьба, о Кинешме. Жаль, что при жизни не были изданы роман «Кремни секут искры» и повесть «Недопетая пеня любви».

Свою литературную жизнь он не отделял от общественной деятельности. Более 25 лет Вениамин Захарович Никишин руководил литературным объединением «Чайка» при газете «Приволжская правда», в котором взрастил таких известных писателей, как В.Н. Говорков и Е.М. Смирнов. Тесно общался с молодыми кинешемцами.

В период его работы в театре в 1950-е годы он руководил драматическим студенческим кружком в Кинешемском медицинском училище (ныне колледже). Оставил у выпускников на всю жизнь очень тёплые воспоминания.

После смерти жены, в начале двухтысячных, он переехал в Калининград, где в 2007 году умер и похоронен.

У Вениамина Захаровича очень большой круг друзей и почитателей, которые тепло сегодня вспоминают о нём. Последняя его книга «Пасынок лихолетья» вышла в 2014 году благодаря усилиям его друзей и спонсорской помощи его друга и ученика, хорошо известного далеко за пределами нашего города фотокорреспондента Владимира Смирнова.

11 июля 2014 года на 9-й межрегиональной конференции «Писатели Поволжья на земле А.Н. Островского» коллективом Центральной библиотеки им. В.А. Пазухина города Кинешма была подготовлена презентация этой книги. Впервые наиболее полно была представлена жизнь и творчество самого В.Н. Никишина.

Кинешма и кинешемцы живут в его книгах, а сам Вениамин Захарович Никишин навсегда останется в нашей памяти. Его произведения будут служить яркими зарисовками и глубоким познавательным материалом о жизни всей России двадцатого века для будущих поколений наших земляков.

Кинешма



Принят в Союз писателей Российской Федерации

Александр Николенко

Писатель Анатолий Дарьялов

1. История семьи А.П. Дарьялова

Анатолий Петрович Дарьялов родился 21 февраля 1930 года в г. Усолье Пермской области в семье русских интеллигентов. Дед, Дарьялов Константин Петрович, в царской армии дослужился до генеральского чина. Отец, Пётр Константинович Дарьялов, стал актёром, работал в московских театрах, снимался во многих фильмах московской кинофабрики «Нептун». По воспоминаниям Заслуженного деятеля искусств Г.А. Кручинина «Пётр Константинович был образцом утончённого аристократа...» В первые годы после Октябрьской революции московская театральная молодёжь собиралась в театральной бирже на Тверской. Там он познакомился с В.В. Маяковским, его верными спутниками Бурлюком и Каменским, с Лилей Брик. Вместе с ними под руководством Н.В. Туркина П.К. Дарьялов снимался в первых советских кинолентах, в том числе и по сценариям В.В. Маяковского («Барышня и хулиган», «Курсистка Вера Казакова», «То, что дороже жизни», «Лихая старина», «Перстень зла», «Люпен», «Центрострах»). Благодаря этим работам он подружился с поэтом.

На театральной сцене П.К. Дарьялов играл роли Городничего, Фамусова, Несчастливцева, Курслепова, Сатина, Егора Булычёва. В качестве режиссёра он был известен за свою «кипучую по темпераменту и доброкачественную по вкусу, правдивости и серьёзности задач, которые ставил перед собой», деятельность. В его постановке шли на театральной сцене «Лес», «Ревизор», «На всякого мудреца довольно простоты» и другие спектакли классического русского репертуара.

Мать, Нина Александровна Дарьялова-Бан, тоже была актрисой, человеком большой культуры, известным театральным работником. Конечно же, родители высокого культурного уровня и интеллигентности оказали на развитие Анатолия огромное влияние. Он всегда много читал, рано проснулся в нём и поэтический дар, и склонность к писательству вообще. Пережив военное детство, рано потеряв мать, Анатолий Дарьялов мечтал повторить карьеру деда и стать офицером. Поступил учиться в Минское артиллерийское подготовительное училище. Но медицинская комиссия запретила ему продолжать военное образование из-за болезни сердца, и с мечтой пришлось проститься. Размышляя над своим будущим, шестнадцатилетний Анатолий писал:

Юность как-то сразу оборвалась:
Узкий китель, золото погон...
В памяти об этих днях осталось —
Поезд, покидающий перрон.

А затем летели дни, недели.
К новой жизни стали привыкать,
Многого понять мы не хотели,
Многого нам было не понять.

В жизни всё сживается с годами,
Можно постепенно всё внушить,
Распроститься с первыми мечтами,
А затем призванье задушить.

Попрощавшись с военной карьерой, А. Дарьялов поступает в Московский историко-архивный институт. Его привлекает журналистика. Человек с активной жизненной позицией, он всегда стремится быть в гуще общественных, социально значимых событий. В своих статьях и публикациях

поднимает важные нравственные проблемы. С 1951-го по 1953 год работает в областной молодёжной газете «Ленинская смена», окружной военной газете «Советский патриот» города Горький (Нижний Новгород). С 1953-го по 1954 год — в чувашской газете «Сталинский путь».

В 1956 году он закончил отделение журналистики Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, а в 1963 году — газетное отделение заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС. В 1957 году принят в Союз журналистов СССР.

II. Публицист и журналист

В Калининград Анатолий Дарьялов приехал в 1956 году. Работал в редакциях газет «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец». За долгие годы работы в местной прессе Анатолий Дарьялов приобрёл множество друзей. Его хорошо знают калининградские рыбаки. Ведь он был одним из первых редакторов их профессиональной газеты «Маяк» и полмира исходил на судах в качестве первого помощника капитана. Анатолия Петровича помнят первые зрители калининградского телевидения, становлению которого он немало способствовал — был главным редактором Калининградской студии телевидения. Люди старшего поколения помнят его интереснейшие телевизионные встречи со знаменитыми земляками, в частности, с космонавтами Леоновым и Быковым..

Главная часть журналистского пути А.П. Дарьялова приходится на «Калининградскую правду», где он многие годы возглавлял отдел культуры. В памяти читателей его рецензии на спектакли и книги, основательные статьи по проблемам науки, искусства, образования, клубного и библиотечного дела, воспитания молодёжи.

Он часто выступал с острыми публикациями на общественно-политические темы. «Человек последовательной позиции, твёрдых взглядов, обострённой эмоциональности, Анатолий Петрович с глубокой болью и гневом писал о постигшем нашу страну социальном, экономическом и нравственном кризисе. Он оставался в гуще общественных событий и умер, как боец, в разгар предвыборных политических баталий» (21).

Литературное творчество А. Дарьялова известно многим калининградцам. Его книги «Взрыва не будет» (1958), «Жизнь начинается с подвига» (1958), «О земле, о небе, о море» (1962), «Человек без Родины» (1964), «Эти разные краски планеты» (1976), «Кёнигсберг. Четыре дня штурма» (1995) проникнуты патриотизмом, любовью к Родине. Стихи А. Дарьялова публиковались в журнале «Смена», в областных газетах, альманахах, сборниках и отдельными изданиями. На многие из них написаны песни о Калининграде.

Рядом с ним всегда были интереснейшие люди, поэты, писатели, журналисты. Его дружба с писателем С.А. Снеговым, поэтами Э. Асадовым, М. Кабаковым, Н.Р. Сусловичем, А.А. Луниным, режиссёром П. Тодоровским, писателем Ю.Н. Ивановым, журналистом-международником Г. Гурковым, писателем-искусствоведом А. Миндлиным, писательницей М. Родионовой, писателем-историком В. Повалевым имела огромное значение для его личности, занимала большое место в его жизни.

III. Правда о войне

Одно из первых произведений о войне посвящено реальным событиям, происходившим в Калининграде. Мирная жизнь налаживалась, город освобождался от руин. Но война напоминала о себе страшными отголосками. «Взрыва не будет» — так назвал писатель очерк о группе воинов-сапёров, совершивших в сентябре-ноябре 1958 года беспримерный по своему героизму, мужеству и самоотверженности подвиг. Это рассказ о том, как, пренебрегая опасностью, они разминировали оставленный фашистами на территории Калининграда громадный склад взрывчатых веществ, обезвредив и уничтожив при этом около одиннадцати тысяч мин, снарядов и гранат. Это рассказ о простых советских людях, для которых счастье народа, воинский долг — превыше всего. Герои книги — реальные люди: майор А.В. Ерёмин и капитан А.Я. Ерёмченко, возглавившие эту опасную операцию. На улице Маяковского, в подвале жилого дома фашисты устроили смертоносную «ловушку». Ценой ошибки сапёров могла стать не только их жизнь, но и жизнь сотен горожан в близлежащих домах.

Напряжение и чёткость действий военных очень достоверно описаны в книге. Это повседневная реальность их жизни. Каждый день — подвиг. «Вперёд, навстречу новым опасностям идут сапёры — замечательные люди, верные сыновья Родины. Подвиг продолжается». Такими словами заканчивается книга (1) — напоминание современникам о том, какой ценой оплачена наша прекрасная жизнь сегодня.

К военной тематике Анатолий Дарьялов обращается на протяжении всей жизни. Слишком большую цену заплатил советский народ за победу. Задача писателя-патриота: не допустить забвения, рассказать потомкам правду. Тем более, что всё громче раздавались голоса лжепатриотов о том, что нужно пересмотреть итоги войны, указать на ошибки, развенчать героев. Одно из последних документальных произведений «Кёнигсберг. Четыре дня штурма» написано в честь 50-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Книга посвящена одному из ярких эпизодов Великой Отечественной войны — штурму Кёнигсберга. В ней «в хронологическом порядке на интересном материале рассказывается о днях штурма. Книга имеет фотодокументальные иллюстрации, которые воскрешают события тех дней. В книге приведены и малоизвестные факты». Вот один из них. Вскоре после начала штурма чуть было не произошла трагедия. Главный командный пункт был накрыт залпом вражеского артиллерийского дивизиона. Генерал армии И.Х. Баграмян получил лёгкое ранение, а генерал А.П. Белобородов — контузию. Двое из находившихся на КП офицеров погибли. Через несколько минут с передовой возвратился маршал А.М. Василевский. Вместо соболезнования он отчитал генералов: на дворе открыто стояли джипы, они-то и демаскировали командный пункт. Несомненно, «ценность книги состоит в том, что автор на многочисленных документальных фактах опроверг попытки фальсификации событий штурма. Показал, что приходилось вести бой за каждый метр земли, брать с боем каждую постройку, каждую огневую точку, что бой был не на жизнь, а на смерть». А.П. Дарьялов хотел, чтобы «каждый житель нашего города задал себе вопрос: а достоин ли я святой жертвы, принесённой нашими отцами и дедами? Ведь не ради себя, а ради своих потомков шли они без колебаний на кровавую битву с фашизмом». Вот поэтому, по мнению автора, мы должны сверять свои помыслы с величием их бессмертного подвига.

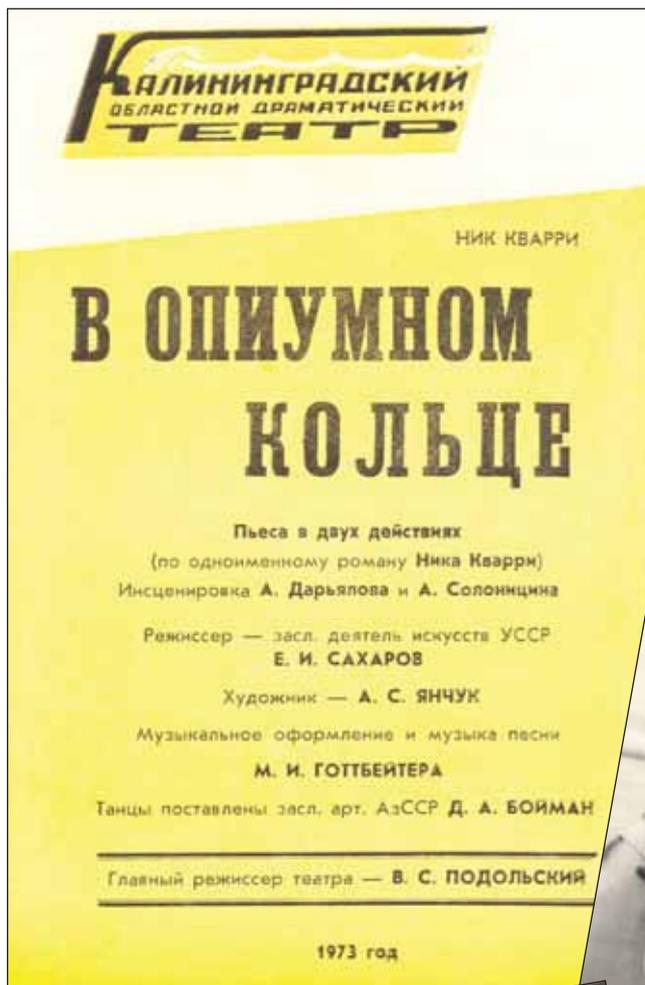
IV. Борьба за человека

Многие произведения А. Дарьялова посвящены разоблачению «прелестей» капиталистического мира. Его тревожит всё нарастающая идеологическая война, в которую втягивается молодёжь, принимающая на веру «идеальный» мир денег, ложных ценностей.

Одним из лучших произведений писателя является книга «Человек без Родины». В основу повести положены подлинные события. Она рассказывает трагическую историю человека, покинувшего Родину. Действия повести разворачиваются в период «холодной войны» между Советским Союзом и капиталистическими странами. Эти времена остались в памяти современников как эпоха обострившейся борьбы двух идеологий — коммунистической и буржуазной. Идеологическая война двух образов жизни сопровождалась и экономической блокадой социалистического лагеря. Советские люди выступали в этой борьбе выдержанными и закалёнными бойцами. Глубокая вера в идеалы социализма, громадный патриотизм народа-победителя во Второй мировой войне, идея строительства коммунистического общества равноправия и равных возможностей формировали советского человека как личность, готовую на самоотверженный труд, беззаветно преданную своей стране.

Капиталистическое общество предлагало свои преимущества. Общество потребления в контрасте с советской действительностью могло привлекать человека, впервые попавшего на капиталистический Запад. Некоторые из таких «зачарованных», оказавшись за границей, просили политического убежища и пытались найти своё место в новом для себя мире. Но человек, выросший и воспитанный одной семьёй, с трудом приживается в семье, имеющей другие устои и традиции отношений. Так было и с эмигрантами. Судьба советского моряка, по повести Альгиса Саулуса, оставшегося в Западной Европе и решившего отказаться от своей Родины за капиталистические привилегии, и является сюжетом книги.

«Хождения Саулуса писатель рисует убедительно, с болью сердца подводя его к нравственному банкротству, трагедии осознания величайшей вины». Во времена идеологического противостояния



двух систем человек не мог свободно перемещаться по миру. Желание уехать из родной страны воспринималось как предательство, сам факт которого капиталистическая пропаганда использовала для подрыва международного авторитета нашей страны. Таким образом, человек, решивший уехать из СССР, заявлял на весь мир о своём отречении от Родины. Герой книги, попав на Запад, испытал огромную тоску и разочарование. Он находит в себе силы изменить своё решение и вернуться на родину. Эту «силу воли моряку придаёт охватившая тоска по Родине, резко противоположная обстановка, в которую он попал по сравнению с той, что грезилась ему в прошлом из рассказа Жоры Рубинчика». Автор проводит эту мысль через всю повесть. Но наиболее удачно она всё-таки выражена в той части, где рассказывается о жизни Саулюса в лагере перемещённых лиц. Тут Альгис Саулюс и другие герои повести показаны в действии, через поступки. Такова сцена встречи Саулюса в одном из ресторанов с сиротами — немецким мальчиком и его сестрой. По-настоящему волнует поступок Саулюса, когда он отдаёт мальчику все свои скудные сбережения, увидев жёсткие контрасты капиталистического мира.

Всё пережитое приводит Саулюса к единственно правильному выводу. Он молит совесть и людей простить его, позволить ему дышать воздухом родины, доверить хоть крохотную частицу родного дела. Альгис возвращается на родину. В этом оптимизм и жизнеутверждающая сила книги. Каждый человек может оступиться, совершить ошибку. Если искреннее раскаяние меняет человека, то и искреннее прощение помогает ему найти опору в жизни.

Книга не потеряла актуальность и сегодня. Предостережение человека от ложного выбора, от поверхностного взгляда на духовные ценности — важная задача. И сегодня мы встречаем людей, которые критикуют жизнь в России, восхищаясь тем, как живут на Западе, перенимая их культуру, образ жизни. В этом, мне кажется, выражается неверие в себя этих людей. Ведь если ты знаешь, как нужно жить хорошо, меняй эту жизнь, докажи, что ты можешь, а не пользуйся тем, что создали другие, критикуя и бурча. В этом и заключается актуальность повести Анатолия Дарьялова «Человек без Родины».

В. А. Дарьялов — сценарист

Могут помнить творчество А. Дарьялова и любители театра. По его сценарию, написанному в соавторстве с А. Солоницыным по роману Н. Кварри, в Областном драматическом театре поставлен спектакль «В опиумном кольце» (режиссёр Е.И. Сахаров). Премьера спектакля состоялась 28 апреля 1973 года.

Роман Н. Кварри написан в детективном жанре. Он о тёмных ликах капиталистического Нью-Йорка. А. Дарьялов и А. Солоницын, воспользовавшись сюжетом романа, решили выйти за рамки канонов детективного жанра. «Авторы инсценировки увидели в романе нечто большее, сумели придать пьесе социальное звучание» (19). Главным для них явилась не детективная интрига романа, а показ представителей мафии — синдиката убийц, вездесущие щупальца которого проникли и в полицию, и в другие учреждения Североамериканских Штатов. Закон и порядок становятся иллюзорными, их подрывают гангстеры политические и уголовные. Это главная тема спектакля.

«Внешняя форма спектакля — детектив. Но при осмысленном просмотре понятно становится, что это политический памфлет с точной политической направленностью. И с иным, трагическим финалом в отличие от счастливой развязки, предложенной Ником Кварри. Сценарий социален, от начала до конца наполнен публицистической страстностью». На фоне нью-йоркских небоскрёбов и неоновых огней рекламы, под звучание гимна Соединённых Штатов перед зрителями вырисовываются портреты Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Роберта Кеннеди. Один за другим они пали от рук убийц. «Голос за сценой напоминает нам проникновенные, предостерегающие речи всех этих деятелей о язвах, разъедающих американское общество, о наркомании, коррупции, росте преступности, о гангстеризме. Смертью своей все трое доказали правоту такого утверждения».

Пьеса воспринималась зрителями как предостережение о том, что в мире, где всё основано на власти денег, человеческая жизнь обесценивается. Уже в те годы А. Дарьялов был обеспокоен тем, что наркомания, преступность, коррупция проникают в жизнь нашей страны, разрушают сознание той части молодёжи, что ищет лёгкой наживы, уходит от решения проблем в мир призрачной западной жизни.

VI. Эти разные краски планеты

Несколько лет работал Анатолий Дарьялов первым помощником капитана теплохода «Муссон». За это время он успел побывать в самых разных странах Европы, Африки и Америки. Его наблюдения, впечатления от многочисленных встреч с самыми разными людьми легли в основу очерков, объединённых в книге «Эти разные краски планеты». В каждом из них дана острая, публицистическая оценка фактов и наблюдений, чётко прослеживается гражданская позиция автора (Приложение, стр. 9).

Здесь можно прочитать о литовском коммунисте, сражающемся в подполье вместе с испанскими патриотами. Познакомиться с капитаном порта Бильбао, закончившим московский институт и свободно говорящим на русском языке. Удивиться истории советского врача «мсье Сержа», спасающего жителей Камеруна от эпидемии на берегу озера Чад. Узнать из первых уст историю басков. Прочитать историю советских моряков, попавших в руки чилийской хунты и чуть не лишившихся жизни, но спасённых своей страной, имеющей огромный международный авторитет.

Наблюдая жизнь в капиталистических странах, автор предостерегает читателя от тех явлений мира денег, которые приходят вместе с рыночной экономикой, коммерческим отношением к жизни, ориентацией на бизнес-успех. Процветающий бизнес не задаётся вопросами морали. Хорошо всё, что приносит прибыль. Так в городах появляются казино (история с «одноруким бандитом»), игровые автоматы, ночные клубы, в продаже появляются товары, моральная и этическая ценность которых сомнительна. Товаром становится информация, невзирая на то, какой ценой она добыта. Война тоже может приносить прибыль и быть кому-то необходима как источник обогащения.

Всё это мы наблюдаем, к сожалению, сегодня у себя в стране. Гражданская позиция писателя заставляет нас взглянуть на эти явления критично, как людей равнодушных, болеющих за судьбу своей страны и будущих поколений, понять суть многих явлений современной жизни.

Читателей всегда привлекали путевые заметки разных авторов. Книга А. Дарьялова интересна тем, что она о людях, встретившихся на пути. Она полна диалогов, судеб, поражает тем, что как бы ни различался политический строй и идеология разных стран, обычные люди легко находят общий язык и взаимопонимание. Потому что истинные ценности — дружба, взаимопомощь, доброта, бескорыстие — понятны на всех языках и вызывают одни и те же чувства у самых разных людей. А различия в образе жизни и интересах жителей планеты — это то, что можно с удивлением узнать, прочитав книгу.

VII. Поэтическое творчество

Поэтическое творчество А.П. Дарьялова продолжает все темы его прозы. Первые стихи были опубликованы ещё в 1951 году. Его главной темой в стихах остаётся любовь к своему городу, родине. Большой цикл стихов посвящён морской теме. Патриотические стихи посвящены теме войны и её отголоскам. Большую долю стихов поэт А. Дарьялов написал под впечатлением своих путешествий по миру.

Удивительно, что все стихи о войне А. Дарьялова полны жизнеутверждающей силы, оптимизма. Стихотворение о могиле неизвестного солдата называется «Жизнь». Потому что солдат, лежащий безымянным в этой могиле,

...Остался жить в цветущей ветке сада,
И в рокоте колхозных тракторов,
И в утренних гудках Калининграда...

Поражает финал стихотворения «Город Моронг»:

Город как город, где всё спокойно,
Где любят работать, творить, смеяться.
Город, где триста советских воинов
Навеки остались в могиле братской.

Звучит как напоминание нам о том, что эта мирная жизнь покоится на подвиге многих советских людей, и не только в нашей стране, как бы ни хотели апологеты Запада умалить их победу. В своих

первых сборниках «автор делает... попытки решать в стихах генеральную тему советской литературы — тему патриотизма...»

Дыхание своего времени, времени великих свершений, ощущается в стихах о покорителях космоса («Его мечта»), о строителях («Здесь будет город»).

Герои многих стихотворений поэта — его земляки-калининградцы. Через их восприятие мы можем увидеть совсем иной мир. Возьмём цикл стихов «Через семь морей». «То, о чём пишет А. Дарьялов, знакомо многим калининградцам. Сотни наших моряков видели бастующих грузчиков в «марсельском порту», «турецкий... пейзаж с американским крейсером в Босфоре» («Босфор»), «Человека без Родины» в Гибралтаре. Многое знакомо калининградцам и «Из польских стихов». Наши земляки часто бывают в Ольштынском воеводстве, бывали они и в городе Моронге» (ныне Мронгово).

Главную тему своего творчества автор выразил в стихотворении, которое так и называется — «Главная тема»:

Хотел бы писать про любовь и ласки,
Хотел бы воспеть простор голубиный.
Но где-то ржавеют стальные каски,
В рыбачьи сети заходят мины.
Хотелось бы песню сложить о солнце,
Весеннего ветра воспеть порывы,
Но знаю, ложится на землю стронций,
Рождённый старым атомным взрывом.
Если пахнет в воздухе дымом,
Я знаю, что темы важнее нету.
Сегодня, сейчас отвести должны мы
Холодный ствол от виска планеты.

А.П. Дарьялов очень любил свой город, восхищался красотой его улиц и садов, любовался кораблями в порту. Для него эта земля стала частью жизни, судьбы, источником вдохновения. В его стихах «живое, искреннее чувство, запечатлевшееся в строках, трогает душу. Его стихи о любимом городе и его людях — поэтически осмысленная и эмоционально пережитая история».

Неизменно прославляя Калининград, он стал автором многих песен о нём. Среди них такие как «Песня о любимом городе», «Калининградские каштаны», «Море зовёт» и др. Песня «Калининградские каштаны» (музыка М. Готтбейтера) даже была отмечена премиями и дипломами фестивалей.

Надо мной свечи белые светятся,
Их огни ты тушить не спеши.
Город стал воплощеньем Отечества
И частицею нашей души.
Если шторм океанский неистовый
Нас в пути повстречает опять,
Нам всё так же зелёными листьями
Будут тихо каштаны шептать.

Сорок лет своей жизни А.П. Дарьялов отдал нашей области, своей — Калининградской — области, чьим патриотом, тружеником и певцом был. Он любил эту землю искренне и восторженно. Много знал о ней и был просветителем своих земляков. «Раздумья об истории и современности, осмысление особой судьбы этой земли и своего места на ней — в произведениях А.П. Дарьялова. В стихах — горечь и радость, грусть и нежность, счастье и боль. И всё это вместе называется любовью. Любовь к земле, на которой мы живём».

Любимым местом нашего края он считал Куршскую косу, воспевал её красоту и уникальность, боролся за её защиту. Своими статьями и публикациями выступал за сохранение уникального уголка нашей земли.

Анатолию Петровичу Дарьялову было 66 лет, когда он умер в Калининграде 10 июня 1996 года. Память о нём всегда с нами. Это был человек активной жизненной позиции с равнодушным сердцем. Ему очень хотелось жить в красивом городе среди красивых и счастливых людей.

Безбрежный русский мир

Парижские берега Князь Александр Трубецкой

История Правительства в Крыму в 1920 году



Являясь сыном офицера Императорской Гвардии и затем Добровольческой армии на юге России, начну свой короткий доклад как свидетель о том, что я слышал в молодости от моего отца и его однополчан.

Они всегда говорили, что, покидая Крым в конце 1920 года, они прощались с землёй Русской.

20 мая 1920 года в Севастополе был подписан правителем и главнокомандующим — генералом П.Н. Врангелем — следующий документ под номером 3226:

Русская армия идёт освобождать от красной нечисти родную землю. Я призываю на помощь мне русский народ.

Мною подписан закон о волостном земстве и восстанавливаются земские учреждения в занимаемых армией областях.

Земля казённая и частновладельческая сельскохозяйственного пользования распоряжением самих волостных земств будет передаваться обрабатывающим её хозяевам.

Призываю к защите родины и мирному труду русских людей и обещаю прощение заблудшим, которые вернутся к нам.

Этот закон П.Н. Врангеля принят правительством как закон о земле на территории Крымского полуострова и Северной Таврии.

На основе этого закона под руководством реформатора и экономиста А.В. Кривошеина началась аграрная реформа.

Фактически закон о земле признавал принадлежность земли крестьянам, предусматривая её выкуп в течение 25 лет.

Закон о волостных земствах включал и реформу местного самоуправления.

Предусмотрен был также закон об областной автономии казачьих земель (для того, чтобы привлечь на свою сторону казачество).

В своих как военных, так и политических действиях, правительство Врангеля стремилось искать сотрудничество со всеми, не повторяя ошибку генерала Деникина, который видел в других врагах большевизма лишь своих конкурентов.

Лозунг Врангеля был: с кем угодно, но за Россию! Причём сам он был монархист.

Правительство Врангеля пыталось развивать внешнюю политику в направлении признания ещё царских обязательств перед другими странами. Их не раз излагал советник по внешним делам П.Б. Струве, который ездил в Лондон, а его помощник, князь Г.Н. Трубецкой, в Париж.

Правительство настаивало также на том, что воссоздание России обязательно проходит через добровольный союз.

Это означало, что рассматриваются для будущего взаимоотношения различных частей России, политическая организация их территорий в федеративном конституционном союзе, разработанном на основе свободного волеизъявления населения на наиболее демократических основах.

Декрет 18 июня предусматривал, что третья часть доходов сельского хозяйства должна сдаваться правительству в качестве части налогового сбора, а также возмещения убытков бывшим владельцам земли. На это опиралась политика министра финансов М.В. Бернацкого. В его программу входило

также создание внешнеторговых корпораций, которые должны были работать с участием финансовых и промышленных партнёров — Франции и Англии.

Такая система должна была обеспечить контроль над обменом товаров (импорт и экспорт), создать почву для выпуска векселей, гарантирующих внешнеторговые операции, и этим самым позволить делать зарубежные займы на солидной основе.

Правительство работало над созданием нового рубля, который должен, благодаря гарантиям, стать выше всех остальных денег, которые на тогдашнем рынке не внушали доверия (керенки, думки, украинские гривны, советские и т.д.).

Был создан проект косвенного налога (на сахар, чай, соль и т.д.).

Другими словами, предлагаемый экономический курс должен был привести к обмену всех старых валют на новую, тем более что шла быстрым темпом девальвация старой валюты.

Правительство Врангеля просуществовало недолго.

Конец Гражданской войны с победой красных поставил точку на развитии этого мудрого, но эфемерного правительства.

Сам Врангель не исключал такого конца с самого начала, с тех пор, как он стал верховным правителем.

Одновременно с некоторыми существенными военными успехами и работой правительства он предусмотрел чёткую организацию исхода своей армии на тот случай, если его усилия не увенчаются успехом. Для этого правительство считало приоритетным ввоз в Крым нефти, продуктов и угля одновременно с боеприпасами, от чего зависела боеспособность флота или его готовность к эвакуации.

Происходило это с определёнными трудностями, так как в военных условиях поставщики опасались, что товары могут быть реквизированы белыми или перехвачены красными.

В заключение нельзя не провести некоторую параллель с ситуацией, которую мы переживаем сегодня. Но есть и существенная разница.

Крым имеет сегодня настоящего союзника: Россия-Мать в федерацию которой Крым вступил.

Это не псевдосоюзники Врангеля, подобные Англии и Франции, которые в основном действовали в своих интересах.

Есть внешний противник. Тогда были красные и некоторые украинские силы. Теперь внешние силы, которым, казалось бы, нечего делать ни в Крыму, ни в Украине, ни в самой Матери-России.

Моим докладом я хотел предложить героическому русскому Крыму вспомнить часто забываемую страницу своей истории, вспомнить, что здесь, хоть и недолго, но существовало настоящее правительство в 1920 году.

Это правительство в самых тяжёлых условиях войны работало на будущее, проводило земельные, финансовые, общественные реформы, а также и мудрую внешнюю политику.

Правительство на юге России было официально признано Францией.

Сознавая реальную ситуацию, П.Н. Врангель и его помощники надеялись, что созданное правительство может стать прообразом для восстановления порядка для всей, тогда неуправляемой, России.



Безбрежный русский мир

Австралийские берега

Протоиерей Игорь Филяновский

настоятель прихода Святой Троицы Московского Патриархата г. Мельбурна

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Памяти Нины Михайловны Максимовой-Кристесен (1911—2001)



После моего назначения настоятелем Свято-Троицкого прихода города Мельбурна, незадолго до нашего отлета, ко мне в руки попала русская версия журнала «Geo». Кто-то из наших сергиево-посадских друзей, зная о предстоящем отъезде, специально принёс на несколько дней номер, целиком посвящённый Австралии.

Традиционный набор познавательных материалов о жизни и истории пятого континента, как водится, был густо сдобрен «глянцевой» зеленью тропических лесов и приторной голубизной морских просторов. Но меня в этой журнальной мозаике сразу заинтересовало несколько статей о жизни и истории австралийской русской общины.

Там я впервые и прочёл о Нине Михайловне Кристесен. Она — основатель первого Русского отделения в Австралии, научного журнала по славистике, литературного конкурса и издательства при Мельбурнском университете. В общем, эпоха в культурной жизни «русской Австралии». Но при всём этом увесистом списке заслуг, который вызывает законное уважение к человеку, им удостоенному, в этой небольшой заметке мне сразу почувствовалось живое дыхание личного отношения незнакомого автора к Нине Михайловне. Было видно, что корреспондент был увлечён своим героем не только как учёным или организатором, но как человеком, которого при общении нельзя не полюбить. Подумалось: «Интересно, удастся ли мне с ней познакомиться?»

Имя Нины Михайловны прозвучало уже в первые часы нашего пребывания в Мельбурне. Секретарь нашего прихода, Марина Толмачёва, встретив нас в аэропорту, повела машину в сереющей мгле раннего австралийского зимнего утра через Мельбурнский университет. Она это сделала намеренно, чтобы показать нашу церковь, где мне предстояло служить. В разговоре выяснилось, что Марина выпускница русского отделения этого университета.

— Так Вы должны знать Нину Кристесен?

— Конечно, она же мой университетский педагог. Хотите с ней познакомиться? Правда, сейчас у неё тяжело болеет муж, и она не может его надолго оставлять. Да и сама она уже пожилой человек. Но моя мама, Галина Игнатьевна Кучина, у них периодически бывает. Как будет удобный случай, мы обязательно к ней поедem. Она живет в Элтаме. Когда-то, в мои университетские годы, мы называли этот район австралийским Переделкино. Там до сих пор живёт много людей, связанных с искусством. Кстати, Нина Михайловна и Клем были соседями Алана Маршалла.

В тот момент имя австралийского классика говорило мне больше, чем имена Нины Михайловны и её мужа. Уже позднее я узнал, что Клем Кристесен был основателем одного из первых австралийских литературных журналов, автором множества стихов и эссе, весьма заметной фигурой в австралийской литературе второй половины ушедшего столетия.

Прошло несколько месяцев, наполненных временем нашего вживания в реалии непривычного уклада жизни и приходского служения на новом месте. И вот, когда калейдоскоп первых впечатлений стал постепенно укладываться в примерную картину нашего предстоящего бытия в Австралии, позвонила Марина и сообщила, что Нина Михайловна готова принять нас у себя дома.

— К сожалению, — прибавила Марина, — мы не сможем с ней долго пообщаться, так как Клем требует её постоянного внимания.

По мере приближения к Элтаму островки зелени за окном машины всё более приобретали черты нетронутой природы. Марина и её мама наперебой делились воспоминаниями о той поре, когда щедрый дом Нины Михайловны был полон студентами, о царившей там непринуждённой атмосфере, о заезжих русских знаменитостях, которые иногда у неё же и останавливались.

«Иду, иду!» — послышался приветливый и, как мне тогда показалось, хлопотливый голос хозяйки дома. Открылась дверь. Мы прошли через веранду, где среди старой мебели стояло несколько картин, которые я не успел разглядеть, через темный и гулкий коридор, и попали в небольшую комнату. Тяжёлые книжные полки до лепного потолка, викторианский приземистый стол, лёгкий запах утреннего кофе из забытой на углу стола чашки.

Когда мои глаза привыкли к притушенному кремовыми шторами свету, я стал украдкой рассматривать Нину Михайловну. Небольшого роста, с короткой седой стрижкой и мягким округлым лицом. Из-под очков лучился усталый, но приветливый взгляд. Она мне показалась похожей на пожилую учительницу из российской глубинки. И вправду сказать, быстрая фигура Нина Михайловны никак не вязалась с чаемым обликом университетского мэтра. Воображение привычно рисует людей такого круга окружёнными портретами бывших учеников и атмосферой воспоминаний об ушедшем. Но уже через несколько минут стало понятно, что расслабленная тишина, сдобренная тягучим мёдом воспоминаний, не так уж часто гостит под крышей этого дома. Заботы о больном муже и текущие обязательства настолько плотно обступили Нину Михайловну, что, несмотря на её преклонный возраст, каждый дневной час уже заранее бывает распisan.

Но сейчас было время для нас. Мы сели в гостиной за накрытый для чая стол, и плавающий разговор постепенно вошёл в то русло, которое я уже предвкушал по дороге в Элтам. Нина Михайловна неторопливо стала отвечать на наши вопросы. Это были рассказы о церковной жизни Харбина её детства, о мытарствах семьи после приезда перед войной в Австралию. О том, как было создано русское отделение в Мельбурнском университете, о поездках Нины Михайловны в Россию. О встречах с А. Керенским, К. Чуковским, С. Рихтером, А. Солженицыным, М. Ростроповичем. О её работе в Оксфорде с И. Берлиным и С. Оболенским. О приездах писателей из Советского Союза в Австралию в годы расцвета русского отделения.

У неё был замечательный русский язык, и речь текла неторопливо, с ровными или, как я для себя отметил, «мирными» интонациями. Это был язык, отразивший в себе одновременно простоту и аристократизм той, уже легендарной, эпохи, когда люди не смотрели в разговор каждые пять минут на часы и не вздрагивали от принятых на телефон сообщений. Они умели слушать друг друга и не утомлялись писать длинные письма. В России мы отвыкли от этой музыки речи и роскоши общения. Да и, похоже, уже смирились с ржавчиной вульгаризмов и навязчивых иноземных вкраплений в наш язык.

Изредка перебивая Нину Михайловну своими нетерпеливыми вопросами, мы постепенно заворожённо умолкли. Ведь она была ныне редким типом рассказчика, который вроде бы и свою жизнь пересказывает, но через почти незримое умаление личной роли в описываемых событиях даёт слушателю прикоснуться к характерам разных людей, а в конечном итоге почувствовать саму эпоху.

Нина Михайловна отбежала на минутку в кухню, и с её разрешения я заглянул в одну из комнат, где в зябкой прохладе неотопляемого помещения хранились номера факультетского журнала славистики за все годы его существования. Бледно-серые обложки десятков книжек со статьями на двух языках по самым широким темам языка и литературы. Целый ряд авторов из Австралии, Новой Зеландии, России, Америки и Европы. Как же ей удалось из факультетского начинания, каких бывают десятки в самых разных университетах, выпестовать научный орган международного масштаба?

Мы продолжили прерванный разговор, но уже было заметно, что Нина Михайловна устала, а впереди её ещё ждёт целый ворох забот. Перед уходом она подарила мне несколько номеров журнала за разные годы. Мы попрощались и шагнули за порог её дома, в густо наполненный птичьим гамом свежий воздух Элтама.

Потом были почти два года общения по телефону. Большею частью по какому-нибудь поводу. Зная о её загруженности и усталости, звонить из праздного любопытства я просто не решался. Говорили о разном: о её детстве, о встречах в Харбине со знаменитым миссионером митрополитом Нестором Анисимовым (я тогда писал о нём небольшой исследовательский очерк), о её литературных пристрастиях, о нашем трагичном зарубежном политическом церковном разделении, которое в ту пору камнем давило на всякое искреннее православное сердце.

Вторая встреча была уже совсем другой. Я приехал с Мариной Толмачёвой. Мы знали, что Нина Михайловна угасает. Она приняла нас в той же комнате. Похудевшая и осунувшаяся, она стала похожа на маленькую усталую птичку. Иногда её взор загорался, как при первой встрече, но потом тень неведомых нам забот опять ложилась на её чело. Поблагодарила за мои очерки, которые она направила к изданию отдельной книгой в Мельбурнский университет. Посоветовала не оставлять исследовательскую работу. И ещё попросила помолиться, за неё и за её мужа. Она явно торопилась успеть подвести итоги.

Мы старались улыбаться, неуклюже делая вид, что всё идёт своим чередом. Нина Михайловна предложила чаю, но мы отказались. Как-то одновременно почувствовали, что несправедливо будет похищать то, уже короткое, время, что отпущено ей Богом на земле. Уходя, я бросил взгляд на пол веранды дома Нины Михайловны. Там, среди нескольких пылящихся картин, стояла копия знаменитой «Герники» П. Пикассо. Взорванный мир Европы середины двадцатого столетия, переданный через хаос фигур и красок. Вопль о том, что уже не будет возврата к той, «допотопной», старой европейской жизни.

«Наверное, это мой последний визит в дом Нины Михайловны», — подумал я тогда.

А через несколько недель Господь забрал к Себе её душу.

У каждого, кто знал Нину Кристесен, в сердце остался свой образ этой удивительной женщины. Для меня Нина Михайловна была цельным и искренним человеком, в котором «не было ни лжи, ни раздвоения». Она несла свою подлинность и в чувствах, и в словах. Несмотря на все трагические страницы биографии, она всегда принимала бытие как благо.

В наш расслабленный век Нина Михайловна стала свидетелем верности человека своему призванию. Для неё это были великий русский язык и русская культура, с которыми она всю жизнь знакомила западный мир.



Безбрежный русский мир

Варшавские берега

Елена Черпакова

Православие в Польше

Людей вне Родины, вне места, где человек родился и вырос, объединяет многое: мечта об Отечестве, язык, литературное наследство, история, обычаи, песни. Православных ещё крепче спланивает церковь. И становится совершенно естественным, что чувство духовности ведёт нас в «Храм божий».

Я и муж Владислав не стали в этом плане исключением. По прохождении всех формальностей, связанных с пребыванием в Польше, поселившись в предместьях Варшавы, мы запланировали посетить православную церковь в польской столице. Это была православная церковь святой Марии Магдалины, расположенной по правому берегу Вислы в районе Прага.

Св. Мария Магдалина для христиан есть символом надежды. Была грешницей, но Бог не замыкал перед ней дороги искупления, пришёл к ней, освободил её от греха и помог ей измениться. Был тёплый летний воскресный день — время службы. Церковь была переполнена прихожанами. По окончании службы прихожане не спешили расходиться, как это принято в католическом костёле, а подходили приложиться к святым иконам, поставить свечку, и одновременно была возможность встретиться и пообщаться со знакомыми. Не удивило меня, что большая часть прихожан говорила на польском языке, но удивило то, что среди них многие были поляками. Позже я узнала, что происходит это потому, что православие в Польше многонациональное: среди них есть белорусы, русские, украинцы, поляки, сербы, греки... И очень часто мы слышим: «Ты кто?», а в ответ: «Я православный». Не скажут, какой национальности, а скажут, что православные.

Для нас этот день стал праздником души, и ярким было чувство благодарности нашим предшественникам, благодаря которым мы имеем возможность не только услышать церковный хор и вдохнуть запах горящих свечей, но и влиться в общий поток, который объединяет нас, православных, живущих в Польше, и переживать славянские традиции и культурное наследие наших народов. Впрочем, русский вклад в православную духовность настолько велик, что возникает естественная потребность более глубокого изучения этой темы. И такой случай представился в Русском центре науки и культуры, где организованы лекции «Вступление в православие» в рамках клуба «Славянские традиции и культура» которые проводит профессор, отец Георгий Тофилюк — ректор Православной духовной семинарии.

Появление Православия на землях, принадлежащих Польше, относится к IX веку. Факт этот подтверждают «Roczniki Kapituły Krakowskiej», в которых первого бискупа Краковского называют славянским именем Прохор. Многовековая история православия в Польше неразрывно связана с миссиями святых Кирилла и Мефодия, Великим Моравским княжеством и Киевской Русью. Мефодиевский обряд на польских землях был широко распространён задолго до официального принятия христианства при князе Мешко I в 996 году.

В то время, когда на земле Польской происходила христианизация, также Киевская Русь приняла крест из рук Константинополя.

Территория Польши — это место встречи двух миссий христианских: православной, которая происходила со стороны Московского государства, и латинской, которая происходила со стороны Германии.

Интересный факт — Русь была крещена незадолго до Великой Схизмы — разделения христианской церкви на Восточную (Православие) и Западную (Католицизм) в 1054 году. Одной из причин разделения было непринятие католиками права священников вступать в брак.

Говоря об истории православия в Польше и поселении первых русских жителей, следует вернуться к тем давним временам, когда польское государство стояло у своих истоков.

Именно тогда, тысячу лет тому назад, во время правления первого польского короля Болеслава Храброго, в непосредственной близости от современной Лодзи, впервые появились русские жители.

Центром русских поселений стал Лютомерск — населённый пункт на древнем торговом пути из Киева в Познань. Со временем пришельцы с Востока растворились в местной среде.

Когда границы Польского государства стали расширяться на восток, то государство прирастало новыми территориями и населением, живущих на тех землях, которое было православного вероисповедания.

В 1303 году патриарх Константинополя выдал согласие на создание в Галиции митрополии, в состав которой входило пять епископств: Хелмское, Владимирское, Пшемьское, Луцкое, Туровское.

Митрополия Киевская в XIV веке распалась на три митрополии: Владимирскую, Галицкую, Литовскую.

Между представителями властвующих родов польских и русских часто заключались супружеские браки, и это усиливало влияние православной церкви.

Речь Посполитая была государством многонациональным, когда у власти находилась королевская династия Ягеллонов — с конца XIV и почти до конца XVI века. Православные составляли около сорока процентов населения страны, и примерно такой же была численность католиков в то время. На фоне бурных исторических событий менялись позиции Православия на земле польской.

В 1653—1656 годах патриарх Никон провёл реформы в Церкви. Защитники старой веры, оставшиеся верными церковным правилам, принятым на Руси в 988 году при князе Владимире, стали называться старообрядцами (староверами) и отделились от русской православной церкви. Не выдержав трудностей и гонений, связанных с невыполнением обрядов «новой» церкви, стали покидать места своего проживания. Первые старообрядцы появились в Польше на Сувальщине во второй половине XVII века. Общество старообрядцев из Августова в настоящее время тесно сотрудничает с варшавским обществом «Русский дом», двери которого открыты для всех русскоязычных и не только.

В 1857 году город Лодзь стал важнейшим текстильным центром Российской Империи, и в нём вновь появились русскоязычные жители. В поимённом списке православных жителей за 1870—1872 годы значится уже 112 человек — в основном это государственные чиновники и члены их семей.

В 1860-е годы здесь появляются первые военные соединения — казачьи сотни. В 1875 году сюда прибыл 37-й пехотный Екатеринбургский полк, к приезду которого была приурочена постройка казарм. Оркестр Екатеринбургского полка участвовал во всех благотворительных концертах в пользу Красного Креста и Христианского Попечительства. По несколько концертов в год давали и другие военные оркестры русской армии.

Когда в июле 1865 года император Александр II подписал разрешение на строительство железной дороги между Лодзью и Варшавой, деятельное участие в строительстве Фабрично-Лодзинской железной дороги приняли русские инженеры. В 1870-е годы с введением преподавания русского языка в город приехали учителя из России. На улицах появились двуязычные польско-русские вывески. Русские купцы открывали магазины. «Выписка из высочайше утверждённых правил для устройства церковных зданий в Привислянском крае» обязывала власти тех городов, в которых имелись только временные церкви, а также в местах расположения войск сооружать новые церкви.

После неудавшегося покушения на Александра II почётные жители города и крупнейшие лодзинские фабриканты решили увековечить чудесное спасение драгоценной жизни Августейшего Монарха постройкой на собственные средства храма во имя благоверного князя Александра Невского. Сам император дал согласие на сооружение церкви и горячо поблагодарил лодзинцев различных вероисповеданий за изъявление «верноподданных чувств». Собор, освящённый в 1884 году, служит лодзинцам и по сей день.

В эти же годы в Варшаве началась полная реконструкция всего города.

Когда 1 ноября 1875 года Сократ Старынкевич получил назначение на должность президента Варшавы, никто не мог предположить, что под его руководством Варшава расцветёт так, как никогда. У рождённого русским Сократа Старынкевича душа была настоящего варшавянина. Будучи православным, он финансировал из городского бюджета реставрацию католических костёлов, а также строительство костёла Всех Святых, одного из крупнейших католических храмов в Варшаве. Он всегда сам лично включался в благотворительную акцию, щедро выделяя средства из своих не очень

больших доходов, не желая никакой рекламы или благодарности. «Имя Старынкевича будет запечатлено... в памяти общества, которое всему учится и ничего не забывает», — писал Болеслав Прус. В честь российского генерала, представителя древнего русского рода и девятнадцатого президента Варшавы названа площадь в самом сердце польской столицы. Но всё же он не очень известен среди ныне живущих, и у его могилы на православном кладбище в Варшаве не собираются толпы...

Изменения в сложившихся отношениях произвёл указ «допустимости» царя Николая II с 1905 года. В результате часть давних униатов, в основном из приходов Седлецких и Любельских покинули в то время православие и перешли в Костёл римско-католический.

Православие в независимой Польше XX века

Очередная дезорганизация общества православного наступила во время Первой мировой войны: большая часть прихожан Церкви православной, проживающих в восточной части земель польских, была эвакуирована вглубь России. Вместе с ними выехало духовенство православное. Православные святые остались без опеки и стали объектом грабежа.

«Беженцы», проживающие в 1915-1922 годах на территории России, стали свидетелями упадка двух авторитетов: царя и церкви.

А по возвращении к своим домам застали новую действительность. Правительство Второй Речи Посполитой относилось к православию, как к остаткам российской оккупации, и неохотно проявляло терпимость к православному вероисповеданию.

Для Церкви и её прихожан настало время великих испытаний. Самой большой проблемой было то, что не было определено статуса Православной Церкви и отношения к ней государства после I Мировой войны. В актуальной политической ситуации — государственной вражды к восточному соседу, — разумно было бы вернуться к старым корням. Единственным выходом была автокефалия. 11 ноября 1924 года Православный Костёл в Польше постановлением Патриарха и Синода Константинопольского получил статус «Польский Автокефальный Костёл Православный» (ПАКП). Невзирая на получение правового статуса, Церковь в Польше испытала много гонений. Кроме того, в силу всех постановлений до 1923 года Православный Костёл утратил бесповоротно 115 святых, 280 объектов недвижимости и около 20 тыс. гектаров земли.

После смерти Юзефа Пилсудского в мае 1935 года правительство Польши возглавил генерал М. Зындрам-Косцялковский, с которым русская колония в Польше не могла связывать каких-либо надежд на улучшение ситуации. Конституция отразила плоды политики государственной консолидации — основой самосознания народа без различия национальности должен был быть «польский национализм». Ужесточилась до предела государственная политика Польши в отношении русских эмигрантов: отделы Русского национального и молодёжных объединений повсеместно закрывались, во многих местностях запретили продажу русских газет и прочей печатной продукции. Продолжалось закрытие и уничтожение православных церквей. А самые трагические события начались в июле 1938 года, когда руководство акцией приняла армия.

Под её надзором специальные бригады поляков приступили к демонтажу церквей. Было разрушено 114 церквей. Многие из них принадлежали к самым ценным памятникам старины: как церковь в Шчебжешине (с 1194 года), в Корнице (с 1578 года), в Белой Подляске (с 1582 года). Похищены или уничтожены церковные предметы культа — иконы, кресты... Кроме 114 разрушенных церквей, около 190 было закрыто или передано в пользование католическим костёлам.

Преследования были закончены только по причине начала II Мировой войны.

Следующие значительные перемены наступили в 1944 году, когда одновременно с наступлением советских войск были освобождены восточные территории Польши. Окончательное урегулирование отношений между государством Польским и Патриархом Московским стало возможным после 25 апреля 1945 года, когда в страну вернулся митрополит Дионисий. К сожалению, народная власть недоброжелательно к нему относилась. А 25 февраля 1948 года его заключили под домашний арест, обвинили в предательстве и отказали в признании государством. На его место была назначена Временная коллегия правления польского автокефального православного костёла под предводительством архиепископа Тыматеуша.

Современные историки подчёркивают, что проведённые государством действия в отношении митрополита Дионисия были неправомерными. Несмотря на это, однако, власти достигли своей цели.

Это было очень трудное время для Православной Церкви, которая выходила из периода II Мировой войны необычайно ослабленной: численность парафий упало с 1979 до 169, церквей — с 1947 до 223, духовных — с 1725 до 190, прихожан — с 4 млн до 350 тыс. человек.

Потери те усугублялись недоброжелательным отношением со стороны государственных властей. В результате аннулировано право обучения теологии православной в Университете Варшавском. А в 1947 году верующим нанесли следующий удар: под предлогом борьбы с бандами украинскими, власти развернули компанию «Акция Висла». Основана она была на принудительном переселении на земли, возвращённые юго-восточной Польше. Акция направлена была на большинство населения православного вероисповедания.

15 июля 1951 года митрополитом Варшавским и всея Польши стал Макарий Окснюка, происходивший из Подлесья. Под новым духовным руководством Церковь приступила к организации своей жизни и деятельности на польских землях.

Православие в современной Польше

Начиная с 1980-х годов Православная Церковь в Польше переживает подъём. Ей были предоставлены права, позволяющие развиваться, и она ими пользуется. Большим событием для Церкви в Польше стало урегулирование в 1991 году — впервые на протяжении столетия — её юридического статуса, равного статусу Римско-католической церкви.

Настоятелем ППЦ в настоящее время является Блаженнейший Савва, Митрополит Варшавский и всея Польши. «Призыв к наследованию Иисуса, к которому направляет Бог каждого из нас, актуален, невзирая на время и место, в котором живёт человек», — говорит он.

За последние два десятилетия построено много новых храмов, восстанавливается жизнь монастырей, созданы православные братства. Православные священники осуществляют свои миссии в армии и полиции, в госпиталях и местах лишения свободы. С начала 1990-х годов в школах введено изучение основ православной веры.

Важной вехой явилось возвращение в 1990-х годах Супральской Лавры (монастырю более 500 лет), которая была захвачена католиками в межвоенный период. Сейчас Благовещенский собор монастыря — одна из жемчужин древней архитектуры Центрально-Восточной Европы — восстанавливается Православной Церковью.

Идёт большое церковное возрождение — возводится много храмов.

Русская икона является даром самого Бога в сочетании с молитвой иконописца и верующих, становится источником духовности. Согласно поверью, она изображает красоту, находящуюся в каждом из нас.

Вместе с православием на Русь пришла традиция иконописи. Иконописец — это слуга Божий, и поэтому будущий художник в первую очередь учит теологию. Однако не каждая икона станет чудотворной. Особого расцвета русская иконопись достигла в период XIV—XV веков благодаря гению Андрея Рублёва.

В «Истории русской церкви» Евгений Голубинский сообщает, что уже в конце XI века в Мельнике была каменная церковь, а в ней чудесная икона Спасителя Избавителя. Мельник является самым старшим исторически документированным православным приходом на Подлесье. На переломе XIX и XX веков Мельник насчитывал 1252 жителя: 845 православных, 250 католиков, 157 евреев.

Мельницкий приход имеет богатые традиции, которые сохранялись многими поколениями. Это колядование в крещенский сочельник, свечение воды в реке Буг; молитва перед памятником жителей Киделец, убитых фашистами; концерты коленд в Мельнике.

В наши дни в Польше лишь несколько человек занимаются иконописанием. Один из них — Ян Григорул, сотрудник Музея икон в Супрасли и иконописец самого старого на польских землях православного монастыря — Супральского монастыря Благовещения Пресвятой Богородицы. В центре культуры «Замек» в Познани состоялся мастер-класс по иконописи. Проводил занятия Ян Григорул. Участники «отправились на экскурсию» в настоящую иконописную мастерскую, где познакомились с основными этапами создания иконы от доски.

Икона и духовная музыка имеют неразрывную связь с теологией, а в соединении с Библией и молитвами ставят человека перед лицом Бога. Это искусство играет значительную роль в переживании единства с Богом.

Ян Григорук знакомил не только с иконописью, но и с музыкальным наследием самого старого в Польше православного монастыря — богослужебным песнопением XVI века в исполнении хора Супрального монастыря.

Также стоит отметить хор духовной музыки Парафии Варшавско-Бельской из Гайновки, которая считается центром Православия в Польше. Нам посчастливилось услышать этот прекрасный хор на торжественном открытии IV Фестиваля сближения культур 17 ноября 2014 года в Российском центре науки и культуры в Варшаве. Хор исполнил не только духовную музыку, но и русские песни «Прощай, любимый город», «Вечерний звон»... Прекрасное исполнение очаровало публику, которая щедро наградила хор овациями.

О возрождении литургической жизни говорит работа в области церковного пения. К примеру, в Свято-Троицком соборе Гайновки ежегодно проводится Международный фестиваль церковной музыки, на который собираются певческие коллективы из Польши, России, Беларуси, Украины и других стран. В Польше действует много церковных хоров, среди них молодёжные и детские.

Русская религиозная философия и её восприятие в Польше

В «Истории русской церкви» Евгений Голубинский сообщает, что уже в конце XI века *«русская религиозная философия была одним из самых интересных интеллектуальных явлений первой половины XX столетия. И по сей день Россия остаётся одним из центров творческой философской мысли»* (Томаш Гербих).

В течение последних 20 лет появилось много переводов на польский язык произведений самых разных писателей, связанных с русской религиозной мыслью. Среди них были переведены и три труда по истории русской мысли — книги Бердяева.

В истории польского отношения к России и русским в XX веке дело обстояло так, что сначала на Россию смотрели в контексте царских времён, потом на Россию смотрели в контексте того коммунизма, который был установлен в Польше, и по этой причине русскую мысль воспринимали как мысль, прежде всего, марксистскую. Сейчас положение коренным образом изменилось. Иначе говоря, благодаря переводчикам, хотя бы Збигневу Подгужецу, который в далёкие времена переводил шедевры русской литературы, поляки увидели, что, кроме этой, навязанной им марксистской мыслительной схемы, которая и России тоже была навязана, существует ещё замечательная свободная русская мысль, мысль христианская.

Николай Сергеевич Арсеньев (1888—1977) — один из лучших историков духовной русской культуры. Профессор кафедры романо-германской филологии Саратовского университета в 1918–1920 годах, он читал курсы также по кафедре философии, создал кафедру истории религии. В марте 1920 года, опасаясь очередного ареста, нелегально перешёл польскую границу и после недолгого пребывания в Варшаве и Берлине обосновался в Кёнигсберге. До 1944 года был профессором Кёнигсбергского университета. Одновременно в 1926—1938 гг. он являлся профессором православного богословного факультета Варшавского университета, членом Палаты Всемирного союза христианских церквей. Н.С. Арсеньев — автор 60 книг и множества статей по богословию.

Лидия Владимировна Довыденко в статье «Внутреннее оформление человека», написанной к 125-летию со дня рождения мыслителя, пишет: «Арсеньев обращается к периоду в истории русской культуры к началу и середине XIX века. Этот изумительный творческий подъём русской художественной и умственной жизни произошёл, по его мнению, в результате великого культурного синтеза, встречи двух духовных начал: русского, напитанного и оплодотворённого духовной традицией Православной церкви, и начала Западного. О романтизме, который пришёл из Германии и акклиматизировался в России. Это мировоззрение оплодотворило мысль ряда величайших русских поэтов-мыслителей. К ним Арсеньев относит Тютчева. Выделяя характерные черты поэзии Тютчева, Арсеньев обращает внимание на его увлечённость красотой, раскрывающейся перед ним и на Западе, и на Востоке.

Высший подъём духовных исканий Тютчева в четырёх строках:

Растленье душ и пустота.
 Что гложет ум и в сердце ноет...
 Кто их излечит, кто прикроет?
 Ты, риза чистая Христа...

Философ говорит о «разумном творческом патриотизме», основанном на вере, и тем самым возвышает, облагораживает национальное чувство. Это возможно лишь при условии жизни «из корней духовных и физических, как дерево растёт из корней».

Этими корнями являются традиции.

Сохранением и развитием православных традиций, распространением православной культуры занимается Фонд имени князя Константина Острожского (Белосток). Его книга «Свет с Востока» вышла в свет на русском и английском языках и снабжена великолепными иллюстрациями польских фотомастеров. Этим Фондом была организована выставка «Православие в Польше». Москва была первым городом, где была показана эта выставка. На ней представлено более 160 фотоснимков самых известных польских фотографов. Целью было показать литургическую и монашескую жизнь, святые места и обыденность, все векторы присутствия Православной Церкви в Польше. Событием стал визит в Москву Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы, целью которого было посещение выставки и научной конференции на ту же тему. По словам Святейшего Патриарха Алексия II, «у нас много общего — близость народов, общность исторических путей».

Верующие Автокефальной Православной Церкви в Польше решили возродить старую традицию пеших паломников в Почаевскую Лавру, в которую испокон веков ходили православные жители Холмщины и Подлясья. После Второй мировой войны, когда эти украинские земли отошли Польше, традиция паломничества прекратилась.

22 июля 2013 года из польского города Гайновка вышел крестный ход в Почаевскую Лавру. Закончилось паломничество на праздник Почаевской иконы Божьей Матери 5 августа.

Прежде всего, крестный ход — это непрерывная молитва. В христианстве молитва не совершается в одиночку. Свои ощущения крестного хода и в одночасье величие и общехристианское значение крестных шествий пытались передать живописцы и литераторы. Художник Илья Репин сам неоднократно бывал в числе пеших паломников и на месте тех «калик переходящих», которых изобразил на своём знаменитом полотне «Крестный ход в Курской губернии» из далёкого XIX века.

Самым значительным событием в 2014 году в Польской Православной Церкви стало с 16 по 23 августа в пребывание в Польше делегации монахов из Афонского монастыря Симонопетра. Гости из Греции привезли с собой мощи святой Марии Магдалины. Святые мощи побывали во многих городах Польши.

Структура Польской Православной Церкви

ППЦ состоит из 6 епархий: Варшавско-Бельской, Белостоцко-Гданьской, Люблинско-Холмской, Вроцлавско-Щецинской, Лодзинско-Познаньской и Перемышльско-Новосондецкой. Принадлежит ей также православный ординариат Войска Польского.

В стране всего 11 монастырей: 5 женских — Гробарка, Турковице, Войново, Замешаны, Зверки — и 6 мужских — Яблечна, Костомлотна, Саки, Супрасль, Уйковицы, Высова. Очень важным местом для верующих является Святая Гора Гробарка.

Учебные заведения: Православная духовная семинария в Варшаве; Христианская богословская академия в Варшаве; кафедра православного богословия Университета в Белостоке; иконографическая школа Бельск Подляски; школа псаломщиков и церковных регионов.

В Польше существует более десяти больших братств. Среди самых известных — Братство святых Кирилла и Мефодия и Братство православной молодёжи. В православной традиции братства стараются различными путями участвовать в жизни Церкви и выполнять разные задачи в тех сферах, куда священнослужитель не может попасть в силу различного рода ограничений. Активно занимаются благотворительной деятельностью, а также организацией паломничеств. Приходские братства акцентируют внимание, прежде всего, на заботе о состоянии храмов.

В Польше проживают около 600 тысяч православных. ППЦ насчитывает около 300 приходов. Это не слишком большое количество, но Православная Церковь имеет те же права, что и Католический Костёл. Конечно, влиять на действия власти православному меньшинству сложнее, чем католикам, но можно реализовать все те проекты, которые реализуют католики. Православная церковь учит, что святость есть привилегия христиан. «Будьте святыми во всех ваших поступках», — призывает Апостол Пётр.

Безбрежный русский мир

Вильнюсские берега

Георгий Почуев

Георгий Иванович Почуев родился в 1945 году. Автор трёх сборников стихов, соавтор более чем двадцати альманахов поэзии в Литве, России, Латвии. Публикации (поэзия и статьи) в газетах «Обзор», «Литовский курьер» (Литва), «Российский писатель», «Московский интеллигент», «Наследник», «Российская федерация сегодня» (Россия), в журнале «Настоящее время», альманахе «Планета поэтов» (№№5 и 6) — издания МАПП, Рига и т.д. Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, литературный эксперт первой категории, победитель Международного конкурса «Поэтический Олимп» в номинации «Литературные эксперты». Присуждена Золотая медаль за победу в этом конкурсе. Живет в Вильнюсе.

Родные на войне. Дань памяти

Чтоб не смириться виновато,
Не быть у прошлого в долгу...

А.Т. Твардовский

Мне не сразу пришла в голову мысль, что я не только имею право, но и обязан написать о том, как были вовлечены мои родные в кошмары Великой Отечественной войны, какие тяжёлые испытания выпали на их долю. Написать о той войне, картину которой я видел через призму воспоминаний моих родных. Через горечь соседей, вернувшихся с войны, вспоминая и боевые эпизоды, и свои ранения, и многое другое. Они просто «в порядке обмена» делились с собеседниками воспоминаниями о пережитом. Но многое из этого врезалось в память и, говоря словами Тиля Уленшпигеля, «стучит в моё сердце».

Принадлежу к тому поколению, которое по дате своего рождения не могло ни участвовать, ни помнить события того времени, когда схлестнулись в смертельной схватке два мира — агрессивных фашистов-завоевателей, с одной стороны, и мир защитников человеческих и национальных ценностей своих народов, с другой. Но я и мои ровесники росли в окружении участников и свидетелей событий, происходивших во время этой жесточайшей войны.

Людей, родившихся в послевоенное время, не надо лишать возможности узнать о том, что пережили предшествующие поколения на той войне. Не все выжившие смогли передать потомкам свои воспоминания, пусть и в виде бесхитростных рассказов, коротких новелл. И те, от кого я услышал их воспоминания, уверен, тоже были бы рады, если бы о них узнали не только их случайные собеседники, или случайные свидетели этих откровений. Поэтому я рад возможности быть передаточным звеном в цепи памяти и поведать то, что чудом сохранилось в моей памяти с детства, — несколько фрагментов мозаики для грандиозной картины всенародного подвига, завершившегося великой Победой.

О героических поступках много написано, а об условиях, в которых оказывались люди во время войны, об их переживаниях — крохи. А без таких, чисто человеческих чёрточек, бытовых фрагментов, малоизвестных деталей людских судеб военного времени картина получается сухой, выхолощенной. Причиной тому — господствовавшее долгое время стремление показать героизм военачальников, фронтовиков, оставляя без внимания действия и переживания «маленьких» людей. А ведь матери, оставшиеся в тылу или на оккупированной территории, тоже проявляли героизм во имя выживания, помощи фронту, во имя спасения детей — генофонда нации. Во времена, когда идеологическая «линия» главенствовала, не очень-то ценились люди, особенно те, кто воевал и просто выживал на оккупированной территории СССР. Но я убеждён, что, сопереживая им, пусть

уже ушедшим, мы вырастим в своих душах нечто такое, что вызовет у нас стремление не допустить повторения трагедии.

...Мы, послевоенные дети, выросли (в числе прочего) на художественных и документальных произведениях «про войну», пропитались их атмосферой. И часто, читая очередную книгу, в которой описывались события той войны, я невольно ловил себя на мысли, что где-то об этом уже слышал — дома от гостей и соседей или во время застолий. В таких компаниях, как минимум, до марта 1953 года первый тост был обязательно «За Сталина».

В наше «детское» время не было телевизоров, других доступных источников информации. У нас дома, правда, на стене висело «радио» — картонный приёмник радиотрансляционной сети, который озвучивал новости страны и музыкальные передачи. Но информация, которую мы слышали по радио, не так привлекала наше детское внимание, как устные рассказы наших близких, пришедших с войны.

...Самыми первыми следами той войны, с которыми я познакомился, были шрам от пули на папиной широкой ладони с татуировкой, и «бомбы» — воронки от авиабомб на болотистом лугу, бывшие обиталищами лягушек. До воронок было рукой подать. Нужно было лишь пересечь железнодорожные пути, которые проходили в нескольких десятках метров от дома. Но папины руки всё же я увидел раньше. Трудно вспомнить, когда он посвятил меня в тайну (да это и не так важно) происхождения шрама на своей ладони и объяснил, что из-за этого ранения у него не сгибается мизинец на этой руке.

...Мама и сестра моя Рая почти с первыми разрывами немецких авиабомб в июне сорок первого года стали беженками, «вписались» в поток людей, не пожелавших оставаться на оккупированной территории. Но, поскольку, как свидетельствуют архивы, гитлеровцы заняли Белоруссию за считанные недели, то и бегство эвакуированных продолжалось примерно столько же. Несмотря на обстановку чрезвычайной нервозности, гул самолётов, обстрелы и бомбёжки, нужно было в походных условиях как-то налаживать быт, заботиться о детях, о пропитании. Мама рассказывала (при мне) своей подруге Дусе Болтриковой, жене местного бухгалтера, многое из истории бегства. О том, как успокаивала причитавших попутчиц, как пристраивала девятилетнюю Раю на телегу; о том, что успели взять с собой перед бегством, о многом другом. Но наиболее отчётливо запомнилось то, что во время остановок в пути мама гадала на своих картах, сначала себе, затем всем желающим, что, как я понимаю, беженкам было необходимо. Из-за катастрофического недостатка достоверной информации приходилось полагаться на божие произволение, а гадание помогало «узнать судьбу». То ли для того, чтобы подготовиться к её ударам, то ли укрепиться в надежде на лучшую долю. И было много желающих узнать свою судьбу. А маме, знавшей премудрости гадания и, кстати, не рассчитывавшей на вознаграждение, давали яйца (это особенно врезалось в мою память), какие-то продукты ещё. Это помогало выживать в тех экстремальных условиях.

...О том, как мой папа (впоследствии кавалер ордена Отечественной войны) попал в партизанский отряд, действовавший какое-то время в районе Барановичей, вернее, о деталях его создания, он не рассказывал. Как не рассказывал и о том, откуда в их отряде появилось противотанковое ружьё — ПТР (он так его называл). Но кое-что о его применении в партизанской войне и о том, по каким мишеням мой отец стрелял из него, мне стало известно из его уст задолго до того, как я увидел это ружьё в кино. Судя по тому, что (по архивным данным) противотанковые ружья отечественной разработки впервые появились в действующей армии в боях под Москвой в ноябре 1941 года, можно предположить, что в партизанский отряд, в котором воевал отец, ПТР доставили по воздуху. О связи с Большой землёй (так условно назывался центр командования партизанским движением) папа говорил. И доставка этого оружия была возможна не ранее, чем в 1942 году. Считаю, что прав, предположив, что его ружьё «спущено с небес». Ещё у отца за голенищем сапога с первых дней войны был длинный финский нож.

...А стреляло противотанковое ружьё (вернее, отец из него) в том числе и по паровозам — во время диверсионных вылазок партизан, нападений на «железку», на поезда. И те поезда, что перевозили боевую технику для немецкой армии, и те, что везли местных жителей, угоняемых в фашистский рейх. ПТР представлял собой очень эффективное оружие (его пули калибра 14,5 миллиметров пробивали броню большинства существовавших тогда танков). А прицельное

приспособление было настолько хорошо, что, как пишут военные историки, «позволяли бойцам с минимальными стрелковыми навыками чувствовать себя на поле боя снайперами». Боевой расчёт этого ружья должен состоять из двух бойцов, но папа таскал его и боеприпасы сам... В условиях партизанской войны это ружьё было большим подспорьем, поскольку позволяло поражать цель с двухсот-трёхсот метров — с относительно безопасного расстояния из засады. Я спрашивал папу, по каким частям паровоза нужно было стрелять. Он ответил, что если пуля ПТРа попадала в котёл (а промазать было невозможно), резко падало давление пара в нём и вместе с ним снижалось до нуля тяговое усилие. Поезд проезжал после выстрела всего несколько метров и становился удобной мишенью для нападавших мстителей.

Насколько тесно история той войны переплетается с современностью, я узнал в один из январских вечеров нынешнего года. На телеэкране я снова увидел до боли знакомый предмет — ружьё ПТР — в руках ополченца Донецкой Народной Республики. Он стрелял по наступающим с запада силовикам украинских вооружённых сил, пытающихся захватить Донбасс, родину моих предков. Теперь я живу в Вильнюсе и со слезами на глазах переживаю за земляков на расстоянии. Что я ещё могу, чем им помочь?

...Надо сказать, что моя семья — в её довоенном составе — оказалась на белорусской земле благодаря тому, что в 1939 году Советский Союз присоединил к себе территорию Западной Белоруссии, бывшей в составе Российской империи с конца восемнадцатого века. Отца, Ивана Емельяновича Почуева, как специалиста железнодорожника направили в эти края из Донбасса. Он налаживал деятельность путевой инфраструктуры — сначала в качестве дежурного по железнодорожной станции, затем начальника станции. Семья (мама Мария Николаевна и сестра Рая) по воле начальства жила на станциях Лесная, Доманово, а после войны — Зельва и Малорита. В начале войны отцу было тридцать три года...

Вообще-то, в моей памяти сохранилось намного больше эпизодов. И о том, как была прострелена немецкой пулей косынка на голове мамы, шедшей с Раей в соседнюю деревеньку (из партизанской зоны), и о том, как Рая проносила партизанам (через оккупированные территории) донесение от подпольщиков (донесение маскировалось под щепку и пряталось под резинку в чулок). И о том, как Рая с мамой, выйдя скрытно на опушку леса, случайно увидели сожжение жителей деревеньки карателями. О том, как они сами уходили от облавы и прятались болоте. О многом другом. Хотя они чудом спаслись, но какого страха натерпелись...

Рассказ о карательной акции достиг моих ушей в том нежном возрасте, когда только формируются и представления о добре и зле, и шкала моральных ценностей. Но знаю точно, что через годы, во время просмотра кинофильма, в котором жителей непокорной деревеньки согнали в сарай и сожгли живыми (убегавших немцы пристреливали), меня объял ужас... Отчётливо помню с раннего детства, что у моей мамы волосы были с сильной проседью «всегда». А я родился в Зельве в год Победы, в сентябре, когда маме (её звали Мария Николаевна) ещё не было тридцати четырёх лет.

Станция Малорита, на которой мы жили после войны, находится примерно в пятидесяти километрах от Бреста — на железнодорожной ветке, двигаясь по которой, можно в тот же день доехать до узловой станции Ковель...

Многое из того, что людям, пережившим войну (включая и моих родителей, и мою сестру) выпало испытать, почувствовать и совершить на войне, они вспоминали неоднократно. Именно это, а также и то, с какими сильными эмоциями озвучивались воспоминания, помогло, очевидно, сохранить в памяти эти новеллы из их жизни в этот период, полной лишений, жертв и крови. И, конечно же, помогло проникнуться чувством благодарности к многострадальному белорусскому народу.

Я не стал ничего выдумывать и додумывать, пытаться вспомнить утраченные детали, пересказывая эпизоды военного времени из жизни моих родных, сохранившиеся в моей памяти. Ведь они и в таком виде ценны как документальные свидетельства. Я лишь изредка дополнял их сведениями из официальных архивов.

Это мои глубоко личные фрагменты мозаики, типичные для той войны, колоссальной по масштабам и в высшей степени трагической, для всех войн, которых мы все — не милитаристы — желаем избежать, и уж тем более, не желаем попасть в мясорубку любой из них. Это фрагменты биографии

моей семьи. И я позволил себе не исключать из повествования невольно появлявшиеся на кончике пера лирические отступления. Но эта лирика — дань любви моим ушедшим родителям и моей сестре Рае, которой на начало войны ещё не исполнилось и десяти лет. Ведь я — не бесчувственный регистратор событий, а младший член своей семьи, со временем ставший старшим для тех, кто родился в ней позже. Эти воспоминания — своего рода скромный букетик цветов на надгробия (находящиеся в Донбассе) самых близких мне людей, которые сражались с врагом, и по божественному соизволению выжили в той войне и передали мне эстафету жизни вместе с ответственностью перед следующими поколениями. В том числе ответственностью выступить в качестве хроникёра событий, в которые, как в жестокий водоворот, были втянуты и старшие члены моей семьи. Вечная им память! Вечная память всем павшим в этой войне! Слава народу, одержавшему победу! Будем помнить всегда — мы и наши потомки, — что благодаря нашим победителям мы отметили её семидесятую годовщину в этом году!



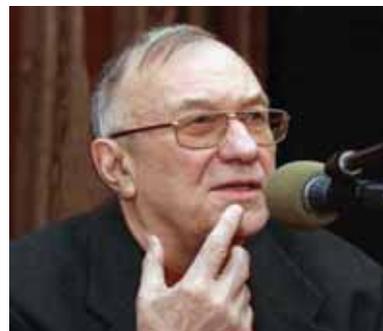
Критика

Станислав Куняев

«И бездны мрачной на краю...»

Отрывок из книги.

В 2014 году в московском издательстве «Голос-Пресс» вышла книга замечательного критика современности, главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Юрьевича Куняева «И бездны мрачной на краю...», посвящённая судьбе и творчеству Юрия Кузнецова. Автор книги делится воспоминаниями и размышлениями о современной поэзии, о «страшном времени», о «душевных, телесных, умственных, исторических, мистических и мифологических пространствах, в которых металась мужественная душа» Юрия Кузнецова. Предлагаем читателю отрывок из этой, более чем актуальной книги интеллектуальных открытий и душевного преображения.



Глава VIII. «Почти античный запах»

Поскольку у нас «всё от Пушкина», то и культ изгойства, или изгнанничества, — тоже от него. Пушкин первым из русских поэтов создал в молодые свои годы образ гонимого поэта, жаждущего прильнуть если не к мировым, то хотя бы к европейским ценностям. Это было в то время, когда он был «изгнан» в ссылку на юг, к Чёрному морю, а потом — в родное Михайловское. Но почему его любовью в южной ссылке стала Италия? Да потому, что её средиземноморская судьба напрямую вытекала из античности, из истории Римской империи, рядом с которой история франков, германцев, скандинавов, кельтов и англосаксов была варварской, сравнимой разве что с историей восточнославянских племён, замешанной на скифских дрожжах. В первой же главе «Онегина» Пушкин, вспоминая, как с Невы он слышал звук рожка и «песню удалую», признаётся в любви отнюдь не к России:

Но слаще средь ночных забав
Напев Торкватовых октав!

А дальше следует пылкое объяснение в любви Средиземноморью:

Адриатические волны,
О, Брента! нет, увижу вас
И вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

Дальше — больше. Пушкин пишет, что ради свидания с «Италией златой» он готов «покинуть скучный брег мне неприязненной стихии» и чуть ли не бежать на Запад:

Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей...

Но вершиной этого культа, в котором он узрел поэтический смысл своего изгнания в Одессу и Бессарабию, у Александра Сергеевича стала мысль о сходстве его судьбы с судьбой великого Публия Овидия Назона. Именно о нём он пишет с благоговением:

Златой Италии роскошный гражданин
В отчизне варваров...
Как часто, увлечён унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою...

Пушкин чувствует себя подобным великому римскому изгнаннику, и это чувство возвышает его в собственных глазах и в глазах современников, собутыльников, молодых офицеров тайного Южного общества, реальных и придуманных любовниц.

«Я повторил твои, Овидий, песнопенья», — говорит он о себе, называя себя «изгнанником самовольным», и гордится, и бравирует своей участью: «Не славой — участью я равен был тебе». И в «Цыганах» он отдал должное памяти Овидия:

И всё несчастный тосковал,
бродя по берегам Дуная <...>
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости...

И, конечно, не удержался он от соблазна сравнить судьбу Овидия с судьбой Боратынского, который в те же годы тоже находился в изгнании, но не на юге, а в холодной Финляндии:

Ещё донныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона.
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.

Пушкин протоптал в русской литературе тропинку от изгнания к славе. А за ним по этой тропинке пошли все, кому не лень. С тех пор как Россия начала расширять «окно в Европу», отношения между Востоком и Западом стали властно влиять на судьбы людей русской культуры. Когда эти отношения были скудными, то ореола изгнанничества или изгойства над их головами не возникало, и никаких дивидендов от своего диссидентства ни Новиков, ни Радищев не имели. Однако ссылка молодого Пушкина сначала на скифский Юг, а потом в Михайловское уже добавила ему известности, но только на родине. А изгнание на Запад Герцена напрямую повлияло на его литературную и политическую судьбу, и он, в отличие от Пушкина, уже обрёл европейское имя. А в XX веке связи с Россией настолько усложнились, что «изгнанничество» стало чуть ли не заветной мечтой нашей либеральной диссидентуры, которая, отказываясь от литературной судьбы на родине, научилась играть уже не в русскую, а в мировую рулетку, получая взамен на Западе возможности, утраченные в СССР: издания, славу и деньги. «Компенсация за гонения» порой доходила и до нобелевских высот, если вспомнить о судьбах Бунина, Пастернака, Бродского, Солженицына. Да и элита второго ряда, вроде Ахматовой или Набокова, а в следующем поколении — Евтушенко, Вознесенского или Аксёнова — была облагодетельствована Западом весьма щедро, несмотря на все «железные занавесы», которые почему-то не могли сдерживать взаимного тяготения друг к другу маркитантов — «людей близкого круга», профессионалов по обмену «общечеловеческими ценностями». Лишь в 30-е годы Европа не могла эксплуатировать в борьбе с Советами идею изгнанничества, поскольку эта идея могла давать всходы лишь на демократической почве, а в Европе 30-х годов эта почва была коричневой. И Ахматова с Мандельштамом в ту эпоху не могли рассчитывать на понимание Европы, волей-неволей, но пришлось им от неё отворачиваться:

Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

Поэтому первая эмиграция — и русская, и еврейская — не могла извлечь никаких выгод из своего неприятия Советской России. И лишь в 60-е годы, когда в «демократической Европе» появилась возможность манипулировать идеей «прав человека» в борьбе с «советским тоталитаризмом», могли появиться нимбы изгнанничества над головами Солженицына, Галича, Копелева, Зиновьева, Гладилина и прочих «шестидесятников», потомков отнюдь не Тютчева и Достоевского, а, скорее, Герцена и Печерина. И не нужно было изгнанникам беседовать с тенями Назона и Данта, Ариосто и Торквато Тассо... Раскрутить Аксёнова или Галича европейским идеологам было легче, нежели прославить целую армию деятелей культуры из первой эмиграции... Лишь Бунин с Набоковым выделились из общей массы северяниных, адамовичей, бурлюков, которые Европе были не нужны. Да к тому же их было столько, что на все «нимбы» средств не хватало. В отличие от Евтушенко и Вознесенского, маскировавших тенью Маяковского свою лоскутную идеологию, куда более органичный поэт Иосиф Бродский вольно или невольно стал примерять своё «изгойство» к советской действительности, оглядываясь на Осипа Мандельштама 30-х годов. И проще всего в этой примерке ему было обратиться к темам и образам мандельштамовского античного Средиземноморья, о чём свидетельствуют его стихи «Декабрь во Флоренции», «Одиссей — Телемаку», «Венецианские строфы», «Письма римскому другу». Изящная и похожая на правду стилизация закономерно выводила его то ли к Кишинёвскому, то ли к Римскому, то ли к Воронежскому изгнаннику:

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мёрзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, будь беспределен...

Эта назоновская тропа вела Иосифа Бродского и в скифские степи, и в псковские дебри, близкие по своему происхождению к дебрям архангельским. Быть изгнанником, терпящим притеснения от имперско-советской римско-петербургской власти, — это же всё равно, что уподобиться самому Овидию или, на худой конец, Пушкину... Это же циклы стихотворений, поэмы, строфы, полные подтекста. Один лишь Коля Рубцов, будучи подлинным изгоем, бубнил где-то в Вологде своё, кондовое, патриотическое:

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом ещё на чём-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком
И буду жить в своём народе.

Но кому он нужен и кто его слышит? А Бродского слышит весь «цивилизованный» романский, англосаксонский и даже скандинавский и, конечно же, средиземноморский мир:

Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
Всё как у поэтов изгнания:
А море Чёрное шумит, не умолкая...

(М. Лермонтов)

море Чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью...

(О. Мандельштам)

Если тебе грозит изгнание и ты примеряешь себе на голову нимб изгоя, то лучше всего аукнуться со знаменитыми изгнанниками, побеседовать с тенями мировой культуры. У Бродского хватило ума и такта окружать себя именно изгнанниками от культуры, а не Лениным из Лонжюмо, что делал функционер Вознесенский, и не Собчаком на Лазурном берегу, на которого молился вечно державший нос по ветру Евтушенко. Уж если судьба толкает на Запад, то надо уходить в окружение литературных призраков, что гораздо пристойнее и, на первый взгляд, даже бескорыстнее.

Почти до середины 30-х годов душа Осипа Мандельштама блуждала на мифических берегах и просторах Средиземноморья, беседовала с тенями Елены Прекрасной и не менее прекрасной Ев-

ропы, приплывшей на спине быка-Юпитера к итальяским берегам, примеряла свою судьбу к судьбам Ариосто и Торквато Тассо, Петрарки и Микеланджело. А уж о традиционной любви к Данту и говорить нечего. И Пушкин, и Блок, и Мандельштам не раз молились на его тень с «профилем орлиным»:

Зорю бьют... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах печатный стих
Неожиданно затих,
Дух далече улетает.

Это был Дант одной из частей «Божественной комедии», которую Александр Сергеевич перевёл вольно и вдохновенно, Дант, с помощью которого Пушкин написал «Подражание итальянскому» о том, как в преисподней её мерзкие обитатели приносят своему владыке «живой труп» Иуды Искариота:

И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожёт уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Право, такой изобразительной экспрессии мог бы позавидовать и сам Юрий Поликарпович! Конечно, Запад соблазнял и его, и Осипа Эмильича теньями Данта, Шекспира, Гёте. Но не будем забывать и о том, что однажды гордый сын Кубани собеседнику, сравнившему его «Сошествие в ад» с «Божественной комедией», ответил: «Данте мелко плавал по сравнению со мной». А если говорить серьёзно, то и Пушкин, и Мандельштам, и Юрий Кузнецов во второй половине своей жизни — каждый по-своему, — но преодолели искушения и соблазны Западного мира. Пушкин благодаря переосмыслению истории в одах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», благодаря погружению в русскую стихию, после освоения «Слова о полку Игореве», народных сказок, Смутного времени, петровских деяний, пугачёвщины и полного неприятия европейской бульварной литературы, хлынувшей в 30-е годы в русскую жизнь. Ещё бы! В его «Современнике» печатались шедевры: «Скупой рыцарь», «Капитанская дочка», «Медный всадник», «Путешествие в Арзрум», повести Гоголя, стихи Тютчева, Жуковского, Боратынского, Лермонтова... Какие имена! Казалось бы, на расхват должен был идти журнал! Ан нет! Всё было тщетно. Грамотная светская чернь уже была увлечена бульварным чтивом Булгарина, трескучими стихами Бенедиктова, ходульной прозой Марлинского и, что обиднее всего, бульварными романами французских сочинителей, о которых поэт с беспощадной язвительностью писал: «Легкомысленная невежественная публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!»

К этому возрасту Пушкин уже полностью расстался не только с кумирами своей юности — Парни, Анакреоном, Вольтером, но даже о Байроне перестал вспоминать и в стихах, и в статьях, и в письмах. В число бульварных писателей, выманивающих себе «репутацию и деньги», он включил даже Виктора Гюго. А в набросках к «Фаусту» вынес западной цивилизации, олицетворённой в виде корабля, возвращающегося из ограбленных колоний с тремя сотнями «мерзавцев», с «бочками злата», с «грузом шоколата», с «двумя обезьянами» и «модной болезнью» — сифилисом, короткий приговор: «Всё утопить».

Осип Мандельштам начал свои признания в любви к античному миру в Коктебеле 1915 года:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины...
...А я пою вино времён —
Источник речи итальянской...

Выстраивая в своей поэзии волшебную модель Средиземноморья в стихах о Данте и Тассо, об Ариосто и Петрарке, он блистательно перевёл несколько сонетов Петрарки, написал книгу «Разговор о Данте»... И вообще, когда читаешь стихи Осипа Эмильевича 30-х годов, кажется, что он

полностью вжился в роль Публия Овидия Назона (как в своё время в неё вжился Пушкин), сосланного в скифские холодные степи и тоскующего по своему сказочному Средиземноморью, по своей «вероломной, низкой, долгожданной» родине: «Овечий Рим с его семью холмами», «Адриатика зелёная, прости», «Нереиды мои, нереиды» и так далее...

Но наступил 1933 год. К власти приходит Гитлер, а Осип Эмильевич, наперекор всему, в это время взахлёб живёт и дышит образами своей духовной прародины Италии.

Вы помните, как бегуны
У Данте Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зелёной вере...

Но этого мало! У него была целая блаженная утопия грядущей жизни средиземноморской Европы, перед которой казалась примитивной картинкой любая другая утопия, в том числе и коммунистическая:

Любезный Ариост, быть может, век пройдёт —
В одно широкое и братское лазорье
Сольём твою лазурь и наше Черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мёд...
(1933 год!)

Средиземноморье для О.Э. было тем же самым земным раем, что и Беловодье для Клюева, а мёд — тем самым мёдом, который вкушал он у Максимилиана Волошина в Коктебеле, когда «золотистого мёда струя / из бутылки текла так тягуче и долго...», который он слизнул языком у Пушкина в Лукоморье:

И я там был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный...

Правда, он поблагодарил Пушкина за божественный вкус этого мёда, уступив ему пальму первенства в создании средиземноморского ареала жизни:

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси...

Когда в 60-х годах я бывал в Коктебеле, то всегда наслаждался стрекотанием цикад...
Мандельштам ещё на что-то надеется, ещё верит в последние вздохи европейского гуманизма:

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно...
(1937)

Забыл, Осип Эмильевич, что Пётр Великий уже «прорубил» это окно — окно в Европу... Читаешь и думаешь, что это написано не русским поэтом (каким О.Э. страстно желал быть и которым, в конце концов, стал), но одним из потомков Овидия, страдающего в изгнании в стране варваров. И недаром в среде либеральной интеллигенции до сих пор бытует легенда о том, что, будучи уже в пересыльном дальневосточном лагере, Осип Мандельштам читал уголовникам у костра не что-нибудь, а свои изысканные переводы сонетов Петрарки. А ведь в это время им уже были написаны честные стихи о Сталине:

И к нему, в его сердцевины
Я без пропуска в Кремль вошёл,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжёл...

Это написано в том же 1937 году, в то же время, когда он продолжал ещё жить образами Италии.

Ещё в 1922 году в его сознании зародились прекраснодушные иллюзии о приближающейся, наконец-то, после кровавой мировой бойни мирной, счастливой, благодатной жизни всех европейских народов, наконец-то объединившихся в одну семью: «Выход из национального распада, из состояния зерна в мешке к вселенскому единству, к интернационалу лежит для нас через возрождение европейского сознания, через восстановление европеизма как нашей большой народности. «Чувство Европы» — глухое, подавленное, угнетённое войнами и гражданскими распрями — возвращается <...> нынешняя Европа — огромный амбар человеческого зерна, настоящей человеческой пшеницы <...>, но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе, о том, как Юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркающая и с розовой пеной усталости у губ, перенести через земные воды драгоценную ношу, нежную Европу, и та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею» (из статьи «Пшеница человечества», 1922). Но как мог Осип Эмильевич забыть о том, что его любимый Александр Блок ещё в 1909 году увидел совсем другое лицо его «лазурной» Европы:

Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!
...Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома.
Всеевропейской жёлтой пыли
Ты предала себя сама!..

Почему он не вспомнил гневное блоковское проклятье обуржуазившейся флорентийской черни, не внял пророчествам Блока в его «Итальянских стихах», а главное — в «Скифах»? Почему он, когда писал статью «Пшеница человеческая», не понял, что европейская почва настолько пропиталась кровью 20 миллионов, погибших в Первой мировой, что земля эта — «всеевропейская жёлтая пыль» — и этот воздух, наполненный смрадом истлевшей крови, могут родить лишь зёрна для муки коричневого помола? Очень поздно, лишь в начале 30-х годов, Осип Эмильевич начал освобождаться от средиземноморских и общеевропейских чар. Он вдруг обнаружил, что

Над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжёлый висит.

Это — об итальянском дуче, «потомке» римских императоров, об «италийских чернорубашечниках». О «сиротах Микеланджело», «облачённых в камень и стыд» и молчащих «в рабстве», он сказал:

Вы, коричневой крови наёмники...
Мёртвых цезарей злые щенки.

Когда-то, ещё во время Первой мировой, Осип Манделштам в стихотворении «Декабрист» писал о прекраснодушном русском западнике, о своём alter ego, в уме которого «всё перепуталось и сладко повторять — Россия... Лета... Лорелея». Но железно-коричневая судьба новой послевоенной Европы заставила его переписать древнегреческий сюжет с Лорелеей по-новому:

И что лиловым гребнем Лорелея
Садовник и палач наполнил свой досуг...

Это уже о другом фюрере, тоже любившем древнегерманские мифы. Поистине к 30-м годам все гуманисты и поклонники священных камней просвещённой Европы заблудились:

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Последний жалобный всхлип об утерянном европейском Рае выпорхнул из груди Осипа Эмильевича в 1937 году в «Стихах о неизвестном солдате», которые столь же темны и загадочны, сколь была озадачена и растеряна душа поэта, пытавшаяся предсказать будущее человечества:

Весть летит светопыльной обною:

— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое,
От меня будет свету светло...

Конечно же, это по-своему переиначенная мысль Пушкина о несбыточном времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Но точка невозврата уже была пройдена. Какой тут Лейпциг, какое Ватерлоо — впереди маячил призрак Второй мировой войны, поскольку просвещённой Европе мало было крови, пролитой в Первой мировой, и будущее человечества должно было решиться в небывалых «битвах народов» — «в белоснежных полях под Москвой», в Великой Ленинградской блокаде, в сверхчеловеческой Сталинградской схватке, в противостоянии тысяч танков на Курской дуге. Память Осипа Эмильевича, державшая в себе Аустерлиц, Ватерлоо, Верден, Марну, была бессильна прозреть будущее. То, что средиземноморская идиллия изжила себя, — это он успел понять, и это дало ему волшебную возможность наконец-то почувствовать себя русским поэтом. Что и произошло после язвительного стихотворения о Сталине, повлёкшего за собой пермскую ссылку, и цикла стихотворений, рождённых не на берегах Адриатики, а на берегах Камы... Затем последовали «воронежское сиденье» со знаменитым «воронежским циклом» и покаянная «сталинская» тетрадь последних двух лет жизни. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он стал русским поэтом не потому, что писал на русском языке, а потому, что душа его перенесла прививку русской истории с её пониманием по-пушкински. Но жаль ему было расстаться с последними иллюзиями!

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых ещё воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Юрий Кузнецов, отец которого погиб на Великой Отечественной в Крыму, во время штурма Сапун-горы, уже по другому относился не только к новейшей истории, связанной с именами дуче и фюрера, он заглянул поглубже — на несколько веков назад, и в стихотворении о любимом итальянском поэте Осипа Эмильевича предварил текст чрезвычайно важным (чего никогда не делал ранее!) историческим документом, видимо, понимая его большую значимость даже по сравнению с поэтическим текстом. Петрарка: «И вот непривычная, но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистой реки; не будь они своим покупателям милее, чем мне, не радуй они глаз больше, чем мой, не теснилось бы бесславное племя по здешним узким переулкам, не печалило бы неприятными встречами приезжих, привыкших к лучшим картинам, но в глубине своей Скифии вместе с худою и бледною Нуждой среди каменного поля, где её (Нужду) поместил Назон, зубами и ногтями рвало бы скудные растения. Впрочем, об этом довольно».

Петрарка. Из письма Гвидо
Сетте, архиепископу Генуи.

1367 год, Венеция

Так писал он за несколько лет
До священной грозы Куликова.
Как бы он поступил — не секрет,
Будь дана ему власть, а не слово.

Так писал он заветным стилем,
Так глядел он на нашего брата.
Поросли б эти встречи быльём,
Что его омрачали когда-то.

Как-никак, шесть веков пронеслось
Над небесным и каменным сводом.
Но в душе гуманиста возрос
Смутный страх перед скифским разбродом.

Как магнит, потянул горизонт,
Где чужие горят Палестины.
Он попал на Воронежский фронт
И бежал за дворы и овины.

В сорок третьем на лютном ветру
Итальянцы шатались, как тени,
Обдирая ногтями кору
Из-под снега со скудных растений.

Он бродил по тылам, словно дух,
И жевал прошлогодние листья.
Он выпрашивал хлеб у старух —
Он узнал эти скифские лица.

И никто от порога не гнал,
Хлеб и кров разделяя с поэтом.
Слишком поздно других он узнал.
Но узнал. И довольно об этом.

Всего лишь несколько лет О.Э. не дожидаясь до того, чтобы встретиться на «Воронежском фронте» возле «молодых ещё воронежских холмов» с пришельцем от «всечеловеческих, яснеющих в Тоскане», с суперменом, то есть сверхчеловеком и одновременно гуманистом Петраркой, одетым в серую, мышинового цвета форму солдата Третьего рейха. У Александра Блока хватило мужества осудить дантовскую Флоренцию, превратившуюся в начале XX века во «всеевропейскую жёлтую пыль», но — дитя Серебряного века! — он преклонил колена перед образами идиллической Италии, воспетой искусствоведем Петром Муратовым, перед Италией, глядевшей на него с полотен Рафаэля и Фра Беато Анжелико, перед сладкозвучием сонетов Петрарки... Средневековая Италия казалась ему утраченным раем. Он не знал или не хотел знать, что на знаменитых площадях Венеции и Флоренции процветала торговля восточнославянскими и скифскими рабами. Он, написавший в 1907 году знаменитый цикл «На поле Куликовом», не знал или не хотел знать, что генуэзская пехота участвовала в походе Мамай на Русь и в битве на Куликовом поле, надеясь в случае победы отправить очередные шеренги пленных скифов и славян на работоторговые рынки Венеции, Генуи и Флоренции, где их могли покупать и покупали для своих низменных нужд великие гуманисты эпохи Раннего Возрождения вроде Петрарки или Микеланджело. Ведь рабы нужны во все времена, что в XIV веке, что в XX-м...

Но особенно ценно то, что Юрий Поликарпович, прежде чем написать стихотворение о Петрарке — участнике Второй мировой, подобно Осипу Эмильевичу, переболел подобными же античными и средиземноморскими наваждениями, и его молодая душа трепетала от счастья познания другого мира, и в первую половину жизни он жаждал стать, несмотря на все свои кубанские корни, не то чтобы «человеком Запада», но скорее мировой культуры. «Душа, ты рванёшься на Запад, а сердце пойдёт на Восток», и в его «средиземноморских» стихах замелькали имена Гомера, Софокла, Пифагора...

В туманном юношеском сне
Из этой пустоты
Явилась женщина ко мне —
Елена! Это ты!

Облик ахейской красавицы Елены Прекрасной, похищенной Парисом, слился у него с обликом похищенной быком-Юпитером девушки Европы, которая объясняется в любви к поэту:

Она безутешно рыдала
На звёздной спине у него.
И имя твоё повторяла,
Пока не забыла его.

В конце жизни, вспоминая о своих юношеских увлечениях Западом, Юрий Кузнецов поведал о тайне этих увлечений в стихотворении «Любовь поэта» с эпитафией из Овидия: «Странно желание любви, чтобы любимое было далеко».

Поэт творит из ничего... И жаль,
Что Данте и Петрарка не без дыма.
Не женщин, а магическую даль
Они живописали одержимо...
Я тоже предпочёл быть вдалеке,
Когда любил Европу в синем море,
Плывущую на царственном быке...
Какая страсть и грёзы на просторе.

Эта тоска по Европе понятна. Она — результат исторической усталости, возникшей после непрерывной многовековой защиты своих скифских просторов от постоянных нашествий с трёх сторон света — с Запада, с Юга, с Востока... Всё было, как у Пушкина в «Сказке о Золотом петушке»:

Ждут, бывало, с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать!

Разве что, слава Богу, с Севера никто не посылал к нам солдат удачи. Но что делать! Как сказал тот же Пушкин: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какою нам Бог её дал». Но ведь до пушкинской мудрости дорасти непросто, непросто пересмотреть свои взгляды на мировую историю, на Запад, на Европу, в которой давно уже нет никаких «золотых людей», никаких «священных камней», никакого «духом высокого Средневековья». Один бизнес. К тому же, по словам Пушкина, Европа «в отношении к России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна». Если в молодости Юрий Поликарпович ещё мог потребовать у выродившихся европейцев: «Отдайте Гамлета славянам», если мог ещё восхищаться злодейской решительностью леди Макбет, если мог аплодировать Марии Антуанетте, якобы вставшей после гильотины на помосте и швырнувшей в толпу французской черни свою окровавленную золотоволосую голову («но от свободы, равенства и братства / я вынес только королевский жест»), то в поэме «Сошествие в ад» он уже крушит направо и налево былых кумиров европейской цивилизации. Впрочем, началось это задолго до «Ада». В поэме с несчастливым названием «Дом», отразившей историю европейского «Дранг нах Остена», Кузнецов несколькими эпическими взмахами «орлиного пера» начертал многое из того, что легло в основу «Ада»:

Европа! Старое окно
Отворено на запад.
Я пил, как Пётр, твоё вино —
Почти античный запах.
Твоё парение и вес,
Порывы и притворство,
Английский счёт, французский блеск,
Немецкое упорство...

В последних строчках — явная переключка со «Скифами» Блока, к которому Кузнецов сменил гнев на милость: он словно поблагодарил Блока за то, что тот дал ему ключ к Европе:

Нам внятно всё: и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Нам гораздо легче понять упрощённую европейскую душу, нежели европейцам — нашу: русскую, «загадочную». Потому-то они на протяжении всей своей истории пытаются «упростить» нас. Отталкиваясь от этого, можно уже писать:

Нам чужая душа — не потёмки
И не блеск Елисейских полей...

Длинная мысль поэта искала в исторической тьме своё завершение и, в конце концов, нашла его в том, что Европа в конце своего пути выходит не на мифологический, а на кровавый путь разрешения тысячелетнего спора с Россией.

И что же век тебе принёс?
Безумие и опыт.
Быть или не быть — таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.

Из любви к Европе и к её «высокому средневековью» Юрий Поликарпович написал стихотворение о том, как заморская синица принесла в клюве золотой волос его возлюбленной. Этот сюжет он взял из знаменитой ирландской саги о Тристане и Изольде.

Он, этот вопрос, не славянский и, тем более, — не русский. Наконец-то поэт вернул Европе этот гамлетовский вопрос! «Отдайте Гамлета славянам!» — зывал он. Да зачем им Гамлет? Да и славяне, которых Россия всегда спасала от мусульманского, романского и германского оккупанта, только и мечтают сегодня, чтобы Европа приняла их в свою семью, чтобы вместе с германцами и англосаксами править оставшимся многоплеменным «нецивилизованным» миром. Поддавшись этому соблазну, они рано или поздно отшатываются от России, о чём 150 лет тому назад предупреждал Достоевский: «Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации». И поэт продолжает свой разговор с Европой, в которой даже многие славянские народы объединились для похода на Россию под знамёнами тысячелетнего Рейха:

Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают язычки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор.

Да, в 1941 году многовековой «культурный» разговор России с Европой закончился, и об этом именно написана поэма Кузнецова «Дом». «Нет воли к жизни на земле, а воля к власти есть» — это о Фридрихе Ницше и его книге «Воля к власти».

Вместе с Ницше Юрий Кузнецов засунул в жерло своей поэтической мясорубки и Гамлета с его навязшим в зубах вопросом, и Киплинга с его легионерами, шагающими по Африке, и эхо бессмертного сталинского приказа № 227 с его звучащими до сих пор словами «Ни шагу назад!», и крики наших солдат, идущих в атаку:

Как тьма разодраны уста,
— Ура! — гремит по краю
— За нашу Родину! За Ста...
Степан, ты жив? — Не знаю.

Ну, какие после всего этого могут быть споры и счёты с Данте, с Шекспиром, с Ариосто, «когда мы бездну перешли»? Когда на место античных героев стали Сергей Радонежский и связист

Путилов, Пересвет и Федора-дура? Вот тогда и пришло окончательное прощанье Юрия Кузнецова с Западом и его Средиземноморьем. Момент истины наступил. Вся Европа, объединённая расистской волей «сумрачного германского гения», ринулась на Восток... «Мерцают язычки штыков / в пыли, в пыли, в пыли...» Кузнецов окончательно сделал выбор, демонстративно повторив мысль Пушкина из стихотворения «Клеветникам России»:

Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Осип Эмильевич не дозрел до такого рода обобщений. Европа приказала «Быть!» своим «озлобленным сынам», своим гамлетам, швейкам, роландам, петраркам, уленшпигелям, гаргантюа и пантагрюэлям, кандидам и даже дон кихотам, влившимся в испанскую Голубую дивизию: «Быть!».

...Вспоминаю, как после XX съезда КПСС, в разгар мутной хрущёвской оттепели, летом 1956 года мы, студенты МГУ, проходили военные сборы на берегах Волги в Гороховецких лагерях. Маршировать нас учили нещадно, каждый вечер мы чувствовали, как высохшая на гимнастёрках соль чуть ли не царапает наши спины. Выдерживать маршевые нагрузки нам помогали маршевые песни. Но подо что мы, в то оттепельное время стремившиеся разрушить «по инициативе партии» все «железные занавесы» и официальные патриотические догмы, маршировали в столовую, на стрельбище, в баню? Под маршевую песню «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»? Под «Марш энтузиастов»? Под марш «Артиллеристы, Сталин дал приказ»? Увы... Мы маршировали, надрывая свои молодые глотки, под марш «иностраннных легионеров» или экспедиционных корпусов, завоёвывавших для белой Европы богатства Южной Америки, Африки, Вест-Индии, Малайзии и прочих земель, заселённых «недочеловеками», под марш апологета белой англосаксонской расы Редьярда Киплинга:

День-ночь-день-ночь — мы идём по Африке.
День-ночь-день-ночь — всё по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог.
Отдыха нет на войне солдату...
И только пыль, пыль, пыль...

Несомненно, что Юрий Кузнецов, учившийся в середине 60-х годов в Краснодарском пединституте, знал этот манифест западной воли к власти, талантливо переведённый знаменитым поэтом сталинской империи Константином Симоновым. Понять и выразить всемирно-исторический смысл столкновения двух миров — европейско-арийского и русско-славянского — было под силу только поэтам мифологического склада. В двадцатом веке такого рода поэтом наряду с Кузнецовым был, видимо, Даниил Андреев, зревший, как дух Германии спланивает нашествие «двунадесяти языков» Европы на нашу Родину:

Как призрак, по горизонту
От фронта несётся он к фронту.
И с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью...

В то время (конец сороковых годов) ещё никто из поэтов, кроме Андреева, не понимал мистического смысла минувшей войны:

Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые.
И смотрят загадочным взором
И Ангел, и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края, без меры,
В поля, необъятные оку, —
К востоку, к востоку, к востоку...

И слово-то нашёл поэт точное «легионеры», интернациональный легион фашистской Европы, готовившейся к завоеванию евразийского востока несколько столетий, со времён «духа высокого Средневековья»... Историческая заслуга Юрия Кузнецова заключается в том, что он в стихотворении «Петрарка» и в поэме «Дом» «пошёл поперёк» и сломал традицию поклонения наших западников Ренессансу Европы с его великими художниками, скульпторами, архитекторами, религиозными реформаторами; сломал культ, в фундамент которого было немало вложено и Карамзиным, и молодым Пушкиным, и Гоголем с его «Арабесками», и Брюлловым, и Поленовым, и Серовым, а в XX веке — и Осипом Мандельштамом, не говоря уж об Иосифе Бродском.

Но вспомним, кроме людей культуры, другие знаменитые имена, которыми до сих пор гордится Европа: Колумб, Кортес, Писарро, Васко да Гама, Америго Веспуччи, Джеймс Кук. Многие из них изображены на полотнах и в печатных хрониках того времени в рыцарских доспехах, в шлемах, со щитами, копьями и мечами. И, конечно, с крестами. Но все они — завоеватели, конквистадоры, о которых поэт — современник Блока — писал:

Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сыплется золото с кружев
Розоватых брабантских манжет.

Но ещё с большей жестокостью, нежели бунты на борту, они подавляли бунты туземцев и аборигенов в Америке, Африке и Вест-Индии. Наверное, они, если умели читать, ценили любовные сонеты Петрарки. Но если бы Осип Мандельштам дожил до 1941 года и до того, чтобы прочитать письмо Петрарки епископу Генуи, он, живший на воронежской земле, посыпал бы свою голову пеплом. Несколько лет тому назад я случайно попал в воронежский городок Россось, где итальянские дивизии вермахта находились два с лишним года. Зашёл в музей Великой Отечественной войны, переполненный стендами, экспонатами, выставками с множеством фотографий итальянских чернорубашечников в немецкой форме, посланных на Восток дуче на завоевание колоний для Италии. На стендах множество их писем к родственникам в Геную, в Рим, во Флоренцию, где они жалуются родным на жуткую жизнь честных солдат, выполняющих свой долг в этой варварской стране. На фотографиях — несчастные, обросшие щетиной, исхудавшие лица потомков Ромула и Петрарки. Заблудились они в этих скифских степях, тоскуют они по своим детям и жёнам, оставшимся в Тоскане. Музей этой «итальянской славы» создан, как мне было сказано, на итальянские деньги. Здесь стоят в качестве экспонатов их мундиры, их пилотки, их котелки, их оружие, из которого они убивали скифов, не пожелавших стать рабами флорентийцев и веронцев. Я вышел из музея, плюнул на порог и вспомнил стихи Михаила Светлова:

Чёрный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...
Молодой уроженец Неаполя!
Что в России оставил ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
.....
Разве среднего Дона излучина
Иностранным учёным изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далёких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!..

В молодости Михаил Светлов, бывший по убеждениям троцкистом, призывал деятелей мировой революции к походу на реакционные буржуазные режимы Европы, «чтоб землю в Гренаде / крестьянам отдать». Но прошедший школу сталинского построения социализма «в одной отдельно взятой стране», он переродился в советского патриота, который исповедовал совсем другое:

Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.

Вот такие трагические шутки шутит история с людьми. В росошанском музее нет его «Итальянца», а это стихотворение должно там быть на самом большом стенде, на самом видном месте.

С росошанской землёй, с «молодыми воронежскими холмами» связана судьба ещё одного замечательного русского поэта — Алексея Прасолова (1930–1972).

Его детство и отрочество прошли в оккупации. По некоторым сведениям, на его глазах потомки Нибелунгов и Петрарки изнасиловали его мать.

Вспоминая время оккупационного рабства и освобождение воронежской земли от «европейских гуманистов», Прасолов написал в 1965 году одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений об эпохе Великой Отечественной, перекликающееся и со стихотворением Светлова о несчастном итальянце, и со стихотворением Юрия Кузнецова о Петрарке, попавшем на Восточный фронт:

Ещё метёт во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупам труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.

Свозили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотру,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упёртых в белую метель.

А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мёртвой переклички их
Нарушить не хотел.

Какую боль, какую месть
Ты нёс в себе в те дни! Но здесь
Задумался о чём-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.

Какое христианское стихотворение написал Прасолов в 1965 году! Нам, оказывается, мало «одной победной правоты»!

А «шорох бескровных губ» (перекличка мёртвых!), а сверкающие «гвозди их сапог», а «руки талые вдоль тел» — этого выдумать нельзя, это нужно видеть и пережить. «Свозили немцев поутру». Конечно, там, в этой горе трупов были не только немцы, но и потомки римских цезарей, и румыны, и венгры и прочие гуманисты-сверхчеловеки, но все они были в одной форме, и в сознании подростка все они были «немцами». «Какую боль, какую месть ты нёс в себе!» — это, видимо, воспоминание о том, как просвещённые сыны Запада надругались над его матерью.

Европа... «почти античный запах»...
Но от обмороженных потомков Петрарки, заблудившихся в воронежских степях,
пахло мочой, кровью, гноем, солдатским потом, а не «пленительной смесью»
«из грусти пушкинской и средиземной спеси»

(О. Мандельштам).

При всём при том Юрий Поликарпович более чем холодно относился к творчеству Осипа Эмильевича. «Терпеть не мог Мандельштама, не признавал его как поэта <...> заявлял: ваших мандельштамов не читал и не собираюсь» (из воспоминаний Ю. Кабанкова). Я думаю, что это было сказано «ради красного словца», чем Юрий Поликарпович иногда грешил, потому что в уже упоминавшихся воспоминаниях о нём Петра Чусовитина Кузнецов цитирует Мандельштама: ««Где вы, четверо славных ребят из железных ворот ГПУ» — поразительные по расхристанности строчки»... А ведь Кузнецова «поразить» чем-то было трудно. Но он прочитал это наизусть. Запомнил. Хотя и ошибся: в оригинале «славных ребят» не «четверо», а «трое». Вероятно, гордыня не позволила ему признаться, что он читал какого-то Мандельштама, однако в средиземноморском цикле Осипа Эмильевича есть такое стихотворение:

Гончарами велик остров синий —
Крит зелёный, — запёкся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиньих
Плавников их подземный удар?..
Не удержусь от соблазна сравнить это стихотворение с кузнецовским:
Из земли в час вечерний, тревожный
Вырос рыбий горбатый плавник.
Только нету здесь моря! Как можно!
Вот опять в двух шагах он возник.

Вот исчез. Снова вышел со свистом.
— Ищет моря — сказал мне старик.
Вот засохли на дереве листья —
Это корни подрезал плавник.

Помню, как этим стихотворением восхищался Палиевский, не разглядевший в кузнецовском «переводе» мандельштамовский «подстрочник», может быть, потому, что Пётр Васильевич слишком скептически относился к творчеству Осипа Эмильевича. «Жидовский нарост» на Тютчеве», — шутил Пётр Васильевич, не желавший понять, что Осип Мандельштам мечтал о «крупнозернистой» эпической жизни и сокрушался:

Тому не быть: трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Точно так же сокрушался об «измельчании» мира и современности молодой Юрий Кузнецов: «Но этот мир лишился глубины, и никому уже он не приснится», «А нынче, где он бог Пигмалиона» и т.д. Поиски «крупнозернистой жизни» шли у поэтов в одном направлении, несмотря на то, что эпическая струя из Кастальского источника, казалось бы, окончательно пересыхала, а само русло превращалось в какую-то сточную канаву рифмованной риторики или пошлого постмодернизма. Но это ли не свидетельство того, что Юрий Поликарпович не только знал стихи своего собрата по Парнасу, но и брал приглянувшиеся ему «недоразвитые образы», «доразвивал» их и очищал от русскоязычного косноязычия. И ничего в этом недостойного я не вижу, поскольку Поликарпович был одним из самых образованных поэтов своего поколения. Книжная часть жизни была для него источником глубочайших впечатлений. Ведь мог же он, прочитав книгу В. Розанова «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови», написать стихотворение «Мне снились ноздри!»; мог, услышав от Петра Палиевского одну из мистических средневековых легенд, вдохновиться и создать поэму «Змеи на маяке»; мог одну фразу из «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева «развер-

нать» в целое стихотворение «Я скатаю родину в яйцо». Он всё «чужое» легко и естественно делал «своим». Более того: у Осипа Мандельштама есть тёмная, косноязычная поэма о мире после Первой мировой войны. У Юрия Кузнецова есть стихотворение «Встреча» — о мире после Второй мировой. Один из отрывков мандельштамовской поэмы звучит так:

И друж|ит с человеком калека —
Им обоим найдётся работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка:
— Эй, товарищество — шар земной!

Удивительно, что Осип Эмильевич не разглядел того, что в почве униженной до предела и разорённой Германии после Версальского мира уже прорастают коричневые семена возмездия, созревшего в душе потомков Одина, возмездия, остриё которого направлено на спесивых англосаксов, унтерменшей-славян, и конечно же, в первую очередь на мировое еврейство. Унижать «сумрачный германский гений» — опасно.

В мировом литературоведении есть такое понятие, как «бродячие сюжеты». Может быть, поэтому стихотворение Кузнецова звучит, как вариация мандельштамовского сюжета?

На мосту, где двоим разойтись — ни малейшего шанса,
Одноногий поляк увидал одноногого Ганса.
— Ой, вы, ноги мои! — Тот без левой, а этот без правой,
Тот хромал Сталинградом, а этот гордился Варшавой.

— Доннерветтер! — Пся крев!
— повстречались глухие проклятья.
Чтобы им разминуться, они обнялись, словно братья.
Ноги стали на место — сошлись на мгновенье дороги,
И опять разошлись... ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, вот твои ноги!

Но насколько у Поликарповича всё получилось зримее, чувственнее, объёмнее, афористичнее! Словом, как говорит древняя римская пословица, «победителей не судят»... Но и о первоисточнике грешно забывать. И перекличку слов «товарищество» и «человечество» надо помнить. Кто-то из критиков проницательно заметил, что Ю.К. использовал порой символы и образы других поэтов для своих мифологических построений... Вот тут-то ему и пригодились некоторые «мандельштампы». А откровениями, наваждениями, сновидениями творчество Осипа Эмильевича насыщено в не меньшей степени, нежели творчество Юрия Поликарповича... Но «стихотворное тело» наваждений Кузнецова куда полнокровней, куда телесней, а потому его наваждения, даже неразгаданные, куда более властно, нежели мандельштамовские «темноты», захватывают нас в свои горячие объятья. «Дух дышит, где хочет» — и поэт, посланец духа, берёт, где хочет и что хочет.

В зимнем воздухе птицы сердиты,
То взлетают, то падают ниц.
Очертанья деревьев размыты
От насевших здесь сотням птиц.

Суетятся, кричат — кто их дразнит?
День слонится в прозрачной тени.
На равнине внезапно погаснет
Зимний куст — это снова они.

Пеленою полнеба закроют,
Пронесутся, сожмутся пятном,
И тревожат, и дух беспокоят.
Что за тень?... Человек за окном.

Человека усеяли птицы,
Шевелятся, лица не видать.
Подойдёшь — человек разлетится,
Отойдёшь — соберётся опять.

Лет пятьдесят тому назад, я, будучи в турпоездке в Швеции, посмотрел страшный фильм Хичкока «Птицы». Прочитав стихотворение Кузнецова, я второй раз испытал тот же ужас... Вы скажете, что это от Хичкока? Ну и что? «Когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не ведая стыда», как сказала нелюбимая Юрием Поликарповичем Анна Андреевна. Весьма проницательный и знающий современную поэзию критик в обширной статье «Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова» не без оснований писал о прямой зависимости автора от прочитанных книг: «Юрий Поликарпович фактически к любому из попадавшихся ему на глаза литературных произведений относился единственно как к СЫРЬЮ для своего персонального поэтического творчества, переделывая и «усовершенствуя» первоначальные тексты в соответствии со своей художественной логикой».

Прочитав примеры такого «своеволия», которые приводит критик, можно почти согласиться с ним, как и с ещё одним критиком, не без оснований утверждавшим, что «Кузнецов порой переписывает сам себя»... Но согласиться с такого рода суждениями о творчестве Кузнецова можно лишь на первый взгляд, потому что Александр Сергеевич Пушкин не раз занимался такого же рода «аннексией», но каждый раз из-под его пера выходили шедевры. Вспомним поэму «Анджело», которая родилась из итальянских хроник, вошедших в сюжет драмы Шекспира «Мера за меру»; вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке», сюжет которой Пушкин позаимствовал из сборника сказок братьев Гримм, или «Сказку о Золотом петушке», рассказанную в «Легенде об арабском звездочёте» Вашингтоном Ирвингом. Я уж не говорю о «Песнях западных славян», которых бы не было, если бы Александр Сергеевич не прочитал книгу Проспера Мериме, но которые, тем не менее, считаются произведениями самого Пушкина! И «Пир во время чумы», и «Каменный гость» тоже в своей основе опираются на европейские легенды и хроники.

Что же касается использования поэтами одних своих сочинений для создания других, то опять сошлюсь на авторитет Александра Сергеевича. В 1830 году, находясь в Болдино, Пушкин написал знаменитое стихотворение «Бесы», в котором прошу обратить внимание на следующие строки: «мутно небо, ночь мутна», «Эй, пошёл ямщик!», «что там в поле? — кто их знает? пень иль волк?» А в 1836 году Александр Сергеевич закончил «Капитанскую дочку», в начале которой её герои в оренбургских степях попадают в метель, буквально списанную Пушкиным со своего стихотворения «Бесы»: «Ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то чёрное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри, что там чернеется?». Ямщик стал всматриваться. «А Бог знает, барин, — сказал он, садясь на своё место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек». Словом, переписал Пушкин сам себя.

Так что не будем придирааться ни к Александру Сергеевичу, ни к Юрию Поликарповичу — поэтам виднее, где, что и у кого взять взаймы, а порой — и без отдачи.



Критика

Григорий БЛЕХМАН

«Написать бы о чём-нибудь светлом...»

Поэт Сергей Зубарев

Это стихотворение сразу бросилось в глаза, когда ещё даже не читал, а просматривал его стихи, выставленные на сайте Николая Зиновьева:

Написать бы о чём-нибудь светлом:
Как росу птицы пьют поутру,
Как весной в новых платьицах ветлы
В пруд глядят и шумят на ветру.

И о том, как в некошенных травах
Зреет звонкая песня косы,
О любимой писать мне по нраву,
Забывая в тот миг про часы.

Или просто о вечере влажном
И про крик перепёлки во ржи...
Но пройдёт инвалид в камуфляже,
И растают стихов миражи.

Неудивительно, что бросилось в глаза, потому что не заметить такое стихотворение вряд ли возможно. Особенно его неожиданный поворот к двум последним строчкам, где так много и о нашей жизни, и об отношении к тому, что нас окружает.

Удивительно другое — до нынешнего лета я не знал о том, что существует такой поэт, и узнал об этом случайно, получив по электронной почте письмо с вопросом: где можно купить мой сборник стихов? В конце стояла подпись — Сергей Зубарев, а дальше — г. Анапа. Поскольку в Анапе моих сборников, скорее всего, нет, я попросил Сергея прислать точный адрес, сказав, что вышлю книжку бандеролью. Заодно попросил рассказать немножко о себе.

Он написал, что родился в 1954 году в Челябинске, служил во флоте — на десантном корабле, с 1966 года живёт на Кубани, работает машинистом-оператором котельных установок. И как бы между прочим, что тоже пишет стихи, и если мне это интересно, может прислать сборник, а пока со стихами из этого сборника я могу познакомиться на сайте Николая Зиновьева. О том, что это уже второй его сборник (первым был «ГРЕШНОЕ с ПРАВЕДНЫМ»), что он уже пять лет как член Союза писателей России, не сказал. Да и у кого бы в Москве я ни спрашивал об этом поэте, никто его не читал, что, впрочем, неудивительно, поскольку мы уже давно, к сожалению, не самая читающая страна. А лет тридцать (и более) назад, думаю, такой поэт был бы у нас широко известен и востребован.

Вот такое знакомство и привело к тому, что я получил от автора его книгу «ДУША, КАК ВЫЖЖЕННОЕ ПОЛЕ», изданную в Таганроге издательством «Нюанс» в 2010 году.

Сборник назван первой строчкой одного из стихотворений, в него вошедшего:

Душа, как выжженное поле.
И вместо полевых цветов
Горят огнём здесь угли боли,
Роняя искры лепестков.

Вот догорят они...И что же?
С души развеется зола?

И вновь душа, как раньше, может,
С цветущим полем будет схожа,
Полна и света, и тепла?

Но что-то говорит: и впредь
Те угли будут тлеть и тлеть...

Будут, конечно, *тлеть*, хотя бы потому, что мы помним, чем заканчивается стихотворение, приведённое здесь первым. Да и много ещё от чего этим *углям тлеть и впредь*, поскольку давно сказано: «поэт — человек без кожи, и душа его обнажена и незащитна».

Но пока — немножко о другом. О том, *что* в каждом из нас живёт, сколько бы мы ни жили:

Колышется шёлк занавески
Окна, отворённого в сад.
В саду том поют «Арабески»,
И яблоком зреет закат.

И мы в том саду молодые
С друзьями сидим у костра
И слушаем песни чужие,
А нам бы свои петь пора.

Ещё мы беспечны, как дети,
И часто смеёмся навзрыд,
Нам «солнце цыганское» светит,
И сад до утра серебрит.

Вокруг тишина и раздолье,
И песня взмывает в зенит.
Не водка, а вольная воля
Нам юные души пьянит.

Рассветным хмельным поцелуем
Нас всех обжигает заря.
Мы верим в судьбу удающую,
Что в мир мы приходим не зря.

А если кто станет нестойким
Его я судить не берусь...
В стране ещё нет перестройки,
И крепок Советский Союз.

Неправда ли, когда читаешь, такое чувство, будто и о тебе написано. И ещё — очень важное поэт сказал о себе в двух начальных строчках последнего четверостишия, потому что: «Не судите, да не судимы будете».

А о том, какое место любовь занимает в душе этого человека, мы видим с первых же стихотворений его сборника:

Эта ночь была не для весталок,
Не для строгих схимников-аскетов.
За окном гроза дождём хлестала,
Лепестки срывая с мокрых веток.

Поцелуйи незрелым тёрном
На губах слова любви вязали.
Страсть ваяла. Глиною покорной
Перед ней влюблённые предстали.

Дождь уже устал стучаться в окна,
А грозе нет ни конца, ни края.
Захмелевший сад, насквозь промокнув,
Для влюблённых был подобьем рая.

Чтобы так сказать о любви, нужен не только талант почувствовать это, но и способность ТАК выразить.

Согласимся, что лирическая одарённость поэта очевидна. И дальше уже вместе с ним находишься во власти самого главного нашего чувства, о котором поэт, рассказывая о себе, продолжает:

Когда заневестились вишни,
Фату расплескав на ветру,
Не случай, скорее Всевышний,
С тобою нас свёл ввечеру.

В закатном притушенном свете,
Казалось, присутствовал хмель.
И ожил славянский наш цветень,
И замер латинский апрель.

«Сюжет, — скажет кто-то, — банален.
Их сотни на Млечном пути!..»
В тот вечер ещё мы не знали,
Что вместе теперь нам идти.

Всё было за долгие годы:
И жар, и осенняя стынь,
И соты душистого мёда,
И розы, и тёрн, и полынь.

За всё перед Богом ответим:
За холод душевный и пыл.
И скажем спасибо за цветень,
Которым он нас одарил.

В пяти четверостишиях — жизнь и те её самые дорогие для нас моменты, когда вдруг почувствуешь, что:

...И ожил славянский наш цветень,
И замер латинский апрель...

* * *

Но вот — совсем другая тема, которая его, конечно же, никогда не отпустит, потому что он — сын участника Великой Отечественной войны, воевавшего в составе Воздушно-десантной бригады, да и сам Сергей — бывший морской десантник:

Жизнь солдата — это книга,
Где в соавторах война.
И в огонь бросают мигом,
Только дашь приказ, страна.

Ты, конечно, не святая,
Но я тоже не святой.
Жизнь свою перелистаю
До страницы страшной той,

Где придёт пора прощаться,
Покидая белый свет,
На вопрос: «А было ль счастье?»
Не успею дать ответ.

Заклубится над воронкой
Лёгким облачком дымок.
И напишут похоронку —
Жизни краткий эпилог.

А теперь приведу, на мой взгляд, одно из лучших стихотворений, что я читал о войне у послевоенного поколения поэтов:

То ли ангел-хранитель устал,
То ли где-то на марше отстал,
Что случается, в общем, нередко,
Но в то утро, не зная о том,
Под осенним промозглым дождём
Без него уходил ты в разведку.

Сколько раз выполнял ты приказ,
Не сумел лишь единственный раз
Возвратиться по лезвию бритвы, —
А закат был кровав, как на грех,
Ты остался лежать среди тех,
Чьи Господь не услышал молитвы.

Дождь прошёл. И в кровавую грязь
Снег посыпался с неба, кружась,
Ветер в поле завыл диким зверем.
Хлопья снега летели к земле —
Это ангел в нахлынувшей мгле
На себе рвал в отчаянье перья.

Не правда ли, полное ощущение, что написано *изнутри*, будто сам всё это пережил на войне. Что значит — дар почувствовать и передать.

* * *

Мы уже отмечали неожиданные повороты в стихах Сергея Зубарева. Эта неожиданность — тоже особый дар, потому что придаёт изюминку выражению любой мысли, будь то в стихах или в прозе. И вот очередная такая «изюминка» — в стихотворении «Спряжение глаголов»:

Жизнь уроки давать не устанет,
И спрягаем опять и опять:
«Обманул, обманула, обманет...»
Да не всем сдать экзамен на «пять».

Вот и я в ожиданье подсказки
Выдыхаю: «Украли, украл...»
Светлым дымом растаяли сказки,
Все, которые в детстве слышал.

Будто леший ведёт всех по кругу —
Души травят на жалкий уют.
Сквозь прицелы глядят друг на друга
И гадают: «Убили? Убьют?..»

Что же держит тогда в мире этом,
Где и честь отдаётся рублю?
Безглагольное чудо рассветов
И глагольное: «Любишь?
— Люблю!»

Помимо того, о чём уже сказал, хочется ещё и повторять, и повторять последнее четверостишие. Ведь оно действительно о том, что *держит нас в этом мире*.

Продолжая разговор об «изюминке», должен заметить, что чем короче стихотворение, тем труднее его написать. Многие поэты, например, пытаются писать четверостишия, но лишь единицам это удаётся. Потому что короткое стихотворение требует оригинальности мысли, а это — врождённое.

И поскольку Сергей Зубарев такой оригинальностью наделён, в его четверостишиях нет банальности. Поэтому с удовольствием привожу несколько из них, произвольно открывая книжку на разных страницах:

Под девизом благим
Разделили страну пополам:
Недра им,
Дым Отечества нам.

* * *

Как ни крути, любая власть
Рифмуется со словом «красть».
Не оттого ли казнокрады
Свою не сдерживают страсть.

* * *

Исходя из текущих моментов
И желания быть на виду,
Он играл на любых инструментах
И плясал под любую дуду.

* * *

Если в самый корень зрить —
Словом можно и убить.
Только в жизни всё бывает,
И молчанье убивает.

Думаю, уважаемый читатель уже оценил степень эlegantности, с которой поэт иной раз хочет кратко выразить свою мысль. Эти и другие его четверостишия с первого же прочтения входят в память именно благодаря тому, о чём мы только что говорили.

* * *

К сожалению, Сергею пришлось пережить самое горькое, что только может случиться с человеком:

Мы купали тебя в череде,
Чабрецом набивали подушку...
И в окно загулявшей звезде,
Ты казался уснувшей игрушкой.

Был спокоен и светел твой сон,
Говорила об этом улыбка.
И улыбке твоей в унисон
Улыбались мы с мамой над зыбкой.

А о чём мы мечтали тогда?
И не вспомнить... О чём-то хорошем.
За окошком всходила звезда,
Среди сотен таких же горошин.

И взошла золотая! Взошла,
Чтобы стать путеводной звездой.
И как ночь наступала, лила
Свет с небес тридцать лет над тобою.

Что случилось, нам знать не дано.
Ты ушёл вдруг в преддверии лета...
И в душе, и на небе темно
Без тебя и без звёздочки этой.

* * *

Озеро из выплаканных слёз
Задымилось к вечеру туманом...
Ветер материнский плач разнёс
По садам, по рощам и полянам.

И поникли вешние цветы,
И умолкли в одночасье птицы,
Чтоб от ежедневной суеты
В материнском горе раствориться.

* * *

Прости, отец, что у твоей могилы
Подолгу не стою. Всё потому,
Что всякий раз я слёз сдержать не в силах,
Спешу к сыночку — внуку твоему.

Прости меня, отец... Вот и опять
Иду к нему. Меж вами метров пять...

Между стихотворениями ставил звёздочки, потому что комментировать это невозможно, да и не нужно.

Не знаю, в силах ли кто сдержать свои слёзы, читая эти скупые на внешние эмоции, но полные внутренней боли строчки. Потому что такая мужская сдержанность, чтобы не показать своё горе постороннему, у которого, может, своего хватает, и эта деликатность даже в таком страшном положении приводит к абсолютному сопереживанию.

У Сергея есть и другие стихотворения об этом горе, но нет сил приводить те строчки, потому что его боль входит в тебя полностью.

Конечно, слава Богу, что есть ещё и младший сын, который требует заботы, и она хоть немного, но оттягивает боль:

...Младший сын мне не даёт уйти,
Он с собою вносит в дом надежду.
Господи, где силы обрести?
Чтобы не сломаться мне в пути.
Жизнь и смерть... А я всё маюсь между.

Но, может быть, не только это заставляет жить дальше и позволяет *обрести силы*. За несколько лет до трагедии Сергей написал так:

Засыпаю с молитвой о близких,
Просыпаюсь и снова молюсь.
Ты, беда, серым волком не рыскай.
Ты, душа, серым зайцем не трусь.

В лютый холод ты пламенем веры
Согревайся и знай наперёд,
Что Господь испытанья сверх меры
Никогда никому не пошлёт.

Две последние строчки, если они не выношены, не выстраданы, так не напишешь, потому что в них — результат душевной работы человека, поэзию и мироощущение которого, думаю, мы уже успели почувствовать и полюбить.

* * *

Как и у многих поэтов, есть у Сергея Зубарева размышления о своём творчестве, точнее, о его сути, хотя, как и каждого творческого человека, его одолевают постоянные сомнения в собственной состоятельности, как поэта, но время от времени приходят и радости поэтических находок:

Пусть замыслы сгорели без остатка,
Пусть золотой строкой не прозвенел,
А всё ж душе не раз бывало сладко,
Когда листок бумаги из тетрадки
Невинной чистотой своей белел.

Ночь таяла, как восковой огарок.
Душа искала нужные слова.
И вот стихи ложились без помарок,
Последний стих, как поцелуй, был жарок...
О, как тогда кружилась голова!

* * *

Прости меня, Поэзия, прости!
Что запеваю в полночь неумело.
И за синицу, сжатую в горсти,
И за тоску о журавле о белом.

Спаси меня, Поэзия, спаси!
От суеты, уныния и лени.
Как перед светлым храмом на Руси,
Я пред тобою преклонил колени.

Храни меня, Поэзия, храни!
От словоблудья, немоты, запоя...
Я обжигаюсь о твои огни
Душою всей. Но я и жив тобою.

Для этого человека Поэзия — всегда с большой буквы, потому что — раз и навсегда: *«Как перед светлым храмом на Руси, я пред тобою преклонил колени»*. И читая всё, что он написал, может ли кто-нибудь усомниться, что помимо дарования, щедро отпущенного ему природой, Поэзия для него — это способ жить. Как воздух. Оттого у него и нет легковесных строчек и даже слов. Но слушаем самого поэта:

«Не рассыпай слова. Сомкни уста!» —
Невидимый мне кто-то шепчет рядом.
И душу пеленает немота,
Как зимний сад безмолвье снегопада.

В тетради, как в саду, белым-бело.
Душа молчит, и все напрасны муки.
Какой такую вьюгой замело
Цвета и боли, запахи и звуки?

Лишь встрепенусь над белизной листа,
Куда слетают стайкой снегириной
Слова из сердца, но «Сомкни уста!» —
Я слышу вновь. И горстка жалких льдинок

В бессилье горьком падает на лист,
На нём своих следов не оставляя.
Душа молчит. И лист убог и чист,
И крик немой, как запятая злая...

Стихотворение называется «Немота», и становится понятным, как поэт относится к каждому слову, которое решает оставить на листе бумаги.

* * *

А теперь мне хотелось бы вернуться к самому началу сборника и привести стихотворение, которое идёт там первым:

Не плачь, Любовь моя! Ещё тот день нескоро
Когда с тобою мы расстанемся навек
Коль суждено пройти больничным коридором
Его не миновать. Как, впрочем, и аптек.

Не надо о плохом... Смотри, какая осень! —
Сад в золотом огне, — а ей всё сходит с рук.
Гусиное перо — случайно ль? — с неба сбросит.
Там стаи белых птиц торопятся на юг.

Вот с крыльев отряхнут прощальный свет заката
И что-то прокричат, и скроются во мгле.
И будет ночь тиха, и чай заварен с мятой, —
Чего ещё желать? — бумага на столе.

Дрожит и ждёт стихов о юности беспечной.
Строка к строке, и стих забродит как вино —
Мы молоды опять, летим дорогой Млечной...
А мотыльки летят в раскрытое окно

На лампы яркий свет. Им обжигает крылья
Горячее стекло. Так будет вновь и вновь.
Летающие вослед все рухнут от бессилья.
Когда-нибудь и мы... Не плачь, моя Любовь.

Думаю, нет смысла здесь что-то комментировать, потому что, как в предшествующем стихотворении слово «Поэзия», так и в этом слово «Любовь» идут с большой буквы. Человек сказал о себе главное.

Может быть, поэтому при всей горечи многих стихов Сергея Зубарева, его вдохновение несёт в этот мир свет.

Конечно, хочется приводить ещё и ещё стихи сразу полюбившегося мне поэта, но, поскольку у каждого своё восприятие, то лучше сделать так, как советует Николай Зиновьев в предисловии к этому сборнику: *«Берите, читайте, наслаждайтесь чистым чувством, выраженным таким же чистым русским языком... поэта Божьей милостью».*

К этому остаётся лишь добавить, что тем, кто сборник достать не сумеет, можно почитать стихи Сергея на сайте Николая Зиновьева, открыв страничку (раздел) «Друзья».

Думаю, никто не пожалеет.

2012 год



Наши друзья

Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»: haos216@mail.ru Почтовый адрес: 690003, Владивосток, ул. Авраменко, д.17, кв. 65

Литературный журнал «Наш современник»: nash-sovremennik.ru

Журнал «Великоросс»: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_29/article_1253/

Журнал «Экоград» Москва: <http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/zhurnal-berega-pobedil-v-konkurse-zhurnalistikogo-masterstva-slava-rossii>

Виртуальный салон искусств «Преголя-арт»: <http://pregolia-art.com>

Международный пресс-клуб: <http://www.pr-club.com/>

Русский народный дом: <http://rusnardom.ru/russkaya-literatura/poeziya/intervyu-yunnyi-morits/>

Журнал «Воин России»: voin-rossii.ru

Журнал «Новая Немига литературная»

Портал Переправа <http://pereprava.org/>

Общество Русско-Американской дружбы «Добрая Воля» в Вашингтоне www.raga.org

Русская народная линия <http://www.ruskline.ru>

Журнал «Подъем» — <http://www.podiem.vsi.ru>